



Гость Дракулы

*и другие истории
о вампирах*



Санкт-Петербург
Азбука-классика
2007

УДК 82/89

ББК я43

Г 72

Перевод Сергея Антонова, Людмилы Бриловой,
Натали Лоховой, Владича Неделина, Надежды Рыковой,
Светланы Шик, Серафимы Шлапоберской

Оформление обложки Валерия Гореликова

Г 72 **«Гость Дракулы»** и другие истории о вам-
пирах: Сборник / Пер. с англ., нем., фр. —
СПб.: Азбука-классика, 2007. — 368 с.

ISBN 978-5-352-02214-6

Они избегают дневного света и выходят из своих укрытий лишь с наступлением сумерек. Они осторожны, хитры и коварны; они не отражаются в зеркалах, могут как тень скользить мимо глаз смертного и легко менять свой облик — например, оборачиваться летучей мышью или каким-либо хищным животным. Они испытывают регулярную потребность в свежей крови, посредством которой продлевают свое необычное существование. Их можно узнать по гипертрофированным клыкам. Их можно остановить с помощью распятия или связки чеснока. Их можно убить, вбив им в грудь осиновый кол. Они — вампиры, истинные мифологические герои Нового времени, постоянные персонажи современной литературы и кинематографа. В настоящую антологию включены классические произведения о вампиризме, созданные в XIX — начале XX века английскими, французскими, немецкими и американскими писателями (от Джорджа Гордона Байрона до Брэма Стокера). Ряд текстов публикуется на русском языке впервые или же представлен в новых переводах. Издание сопровождается развернутым предисловием и комментариями, раскрывающими историко-литературные, социокультурные и философские аспекты вампирической темы.

© С. Антонов, состав, вступительная
статья, перевод, комментарии, 2007

© Л. Брилова, перевод, 2007

© Н. Дохова, перевод, 1999, 2007

© Н. Рыкова (наследник), перевод, 1957,
2007

© С. Шик, перевод, 2007

© С. Шлапоберская (наследник), перевод,
1999, 2007

© В. Пожидаев, оформление
серии, 1996

ISBN 978-5-352-02214-6

© «Азбука-классика», 2007

ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ

Заметки о вампирической парадигме в западной литературе и культуре

Певцы кладбищ и полуночи просят извинения. В данный момент они отвлечены интереснейшей беседой с одним новопоявившимся вампиром, из чего в будущем может развиться новый род поэзии.

*Иоганн Вольфганг Гете**

Они избегают дневного света и выходят из своих укрытий лишь с наступлением сумерек. Они осторожны, хитры и коварны; они не отражаются в зеркалах, могут как тень скользить мимо глаз смертного и легко менять свой (квази)человеческий облик — например, оборачиваться летучей мышью или каким-либо хищным животным. Они испытывают регулярную потребность в свежей крови, посредством которой продлевают свое за(вне)гробное существование. Их можно узнать по гипертрофированным клыкам. Их можно остановить с помощью распятия или связки чеснока. Их можно убить, вбив им в грудь осиновый кол.

Такими — или примерно такими — предстают вампиры в сегодняшнем массовом культурном сознании. Этот клишированный, местами даже карикатурный образ обрел законченность благодаря кино, продолжающему весьма активно и прибыльно его воспроизводить. Именно кинематограф — «едва ли не единственный видеоряд вампирического в современной культуре» — утвердил вышеперечисленную «компактную атрибутику»¹, которая позволяет зрителю без труда идентифицировать жанр фильма и распознать соот-

* Пер. Б. Пастернака.

¹ Секацкий А. Прикладная метафизика. СПб., 2005. С. 123.

ветствующий сюжет (даже если название ленты не содержит прямого указания на «кроваво-клыкастую» тему). Разумеется, многие основополагающие элементы этого видеоряда (а также связанные с ними мотивы, ситуации, сюжетные ходы) переключались на экран из художественной литературы: к моменту появления кино романы, повести, рассказы, пьесы и поэмы о вампирах исчислялись десятками, а в 1897 году (через два года после того, как знаменитый поезд братьев Люмьер прибыл на вокзал Ла Сьота) вышел в свет «Дракула» Брэма Стокера, превративший популярную тему «страшной» беллетристики в актуальный и многоаспектный культурный миф Новейшего времени. И все же за общепринятые представления о вампирах и вампиризме ответственно в первую очередь кино, и то, что кинематограф и Дракула (по сути, синоним понятия «вампир» в современном западном сознании) появились на свет почти одновременно, по-своему символично и в известной степени закономерно². Вампир — герой, которого по определению должна *любить камера*, — сопутствующая ему зловещая, кроваво-могильная атрибутика так и просится на экран; неудивительно, что с возникновением кино она очень скоро стала основной эффектного, экспрессивного зрительного ряда и что

² Эта связь, как уже отмечалось, символически маркирована в нашумевшей экранизации стокеровского романа, осуществленной в 1992 году Фрэнсисом Фордом Копполой, в которой Дракула и Мина Меррей (реинкарнация его умершей возлюбленной) впервые встречаются и узнают друг друга *в кинотеатре*. В прочтении режиссера Дракула оказывается метафорой и — в исторической перспективе — ровесником кинематографа (см.: Максимов А., Одесский М. Появление вампира: Фрэнсис Форд Коппола и «Дракула Брэма Стокера» // Искусство кино. 1993. № 10. С. 24). Еще отчетливее сближены эти темы в более позднем фильме Элайаса Мериджа «Тень вампира» (2000) — экстравагантной фантазии о первой киноадаптации «Дракулы» Фридрихом Вильгельмом Мурнау в 1922 г.

постепенно на его фоне исходный вербальный образ несколько потускнел. В современной же культуре — культуре визуальной *par excellence* — кинематограф закономерно выступает главным проводником интересующей нас темы.

Принято считать — и для такого вывода есть определенные основания, — что кинематограф, сыгравший решающую роль в превращении вампира в привлекательный культурный символ и популярный товарный знак, осуществил тем самым *банализацию* вампиризма, с неизбежностью выдвинув на первый план его *зрелищно-развлекательные* элементы и, напротив, редуцировав и приглушив иные, более сложные смысловые грани этого феномена. Действительно, во множестве фильмов данной тематики (особенно в бесчисленных лентах категории «Б») яркий, эффектный, но в то же время нарочито стилизованный, временами почти утрированный визуальный ряд выглядит явным опрощением полиморфного и многопланового литературного прототипа. И все же соотношение словесной и экранной ипостасей вампирского образа представляется не столь однозначным. Прежде всего, вампирическая парадигма в западной культуре претерпела за время своего существования несколько серьезных сдвигов, и, если мысленно очертить траекторию исторического развития этой темы, она окажется причудливо-извилистой и многократно пересекающейся с другими сюжетно-персонажными рядами. Изменчивость культурного образа вампира во многом обусловлена изменчивостью его трактовок: с начала XVIII столетия и вплоть до настоящего времени «эта фигура вовлечена в непрерывный процесс реинтерпретации»³. Во-вторых, между вампирской литературой и вампирским кино существовал весьма влиятельный по-

³ *Mighall R. A Geography of Victorian Gothic Fiction: Mapping History's Nightmares. Oxford; N. Y., 1999. P. 210.*

средник — европейский театр, интенсивно эксплуатировавший эту тему на протяжении всего XIX века и работавший некоторые постановочные ходы и зрительные эффекты, которые позднее были использованы кинематографистами. В-третьих, современная литература о вампирах активно перенимает стилистические и повествовательные приемы соответствующего киножанра, поэтому здесь следует говорить не об одностороннем, а о *взаимном* влиянии. И наконец, налицо внутренняя неоднородность самого вампирского кино, которое распадается на несколько «поджанров», заметно различающихся по своим эстетико-смысловым установкам и по степени интегрированности в традицию (фольклорную, литературную, кинематографическую), что соответствует дифференцированности культурного опыта и художественных ожиданий современной аудитории.

Эти немаловажные нюансы избранной темы мы стремились учитывать в нижеследующих заметках, представляющих собой попытку охарактеризовать основополагающие черты культурного образа вампира, который, несмотря на обилие исследований⁴, нуждается, на наш взгляд, в дальнейшем описании и изучении. Выполняя функцию предисловия, эти заметки по определению ориентированы на материал рассказов и повестей, включенных в настоящую антологию. Однако

⁴ Сколь-либо подробный обзор научных и критических работ о вампирической теме в литературе и культуре вряд ли возможен на этих страницах. Укажем на высокоинформативный Интернет-ресурс, аккумулировавший огромное количество ссылок по теме: <http://www.lib.usc.edu/~melindah/eurovamp/criticis.htm>, — и несколько полезных энциклопедий и библиографий: *Riccardo M. V. Vampires Unearthed: The Complete Multimedia Vampire and Dracula Bibliography*. N. Y., 1983; *The Vampire in Literature: A Critical Bibliography* / Ed. by M. L. Carter. Ann Arbor; L., 1989; *Bunson M. Vampire: The Encyclopaedia*. L., 1993; *Altner P. Vampire Reading: An Annotated Bibliography*. L.; N. Y., 1994; *Мэлтон Дж. Г. Энциклопедия вампиров*. Ростов н/Д, 1998.

мы старались по возможности не упускать из виду и другие произведения, в силу разных причин оставшиеся за рамками настоящей книги, но являющиеся ничуть не менее значимыми элементами вампирической парадигмы (в частности, нам представлялся неизбежным и необходимым разговор — хотя бы краткий — о романе Стокера), а также принципиально важные вехи соответствующей кинематографической традиции, насчитывающей на сегодняшний день не одну сотню фильмов. Ни в коей мере не претендуя на полноту охвата материала и окончательность выводов, мы надеемся, что предлагаемые заметки не только дадут читателю общее представление об историографии темы и формах ее художественной репрезентации, но и привлекут внимание к некоторым социокультурным, психологическим и философским ее аспектам (в которых, как кажется, и скрыты истинные причины массового интереса к вампирам — «особой манифестации сущего, пугающей и одновременно манящей»⁵).

Рождение звезды

...Из этого понятия может родиться сюжет, который под пером писателя, богато одаренного фантазией и обладающего поэтическим тактом, способен всколыхнуть то ужасное и таинственное, что живет в глубинах нашей собственной души...

*Эрнст Теодор Амадей Гофман**

Тот «новый род поэзии», о котором с плохо скрытым сарказмом отзывается во второй части «Фауста» Гете, к 1829 году (когда, собственно, и сочинялась содержащая эти слова сцена имперского маскарада) уже проторил

⁵ Секацкий А. Указ. соч. С. 120.

* Пер. С. Шлапоберской.

себе путь в различные национальные литературы Европы. Историческая ирония ситуации заключается в том, что его зачинателем сегодня принято считать — и не без основания — именно Гете. Несмотря на многочисленные упоминания в медицинских трактатах и теологических «рассуждениях» XVIII века (к некоторым из них, специально посвященным феномену вампиризма, мы еще обратимся в дальнейшем), в *художественную* литературу вампирическая тема проникла лишь в конце столетия — благодаря гетевской балладе «Коринфская невеста» (1797, опублик. 1798), заглавная героиня которой возвращается с того света и совершает обряд кровавой инициации, выпивая кровь у своего недавнего жениха. «И покончив с ним, / Я пойду к другим, — / Я должна идти за жизнью вновь!»⁶ — этот голодный возглас коринфской вампириши не только обещал медленное угасание ее будущим жертвам, но и возвестил о появлении в европейской словесности нового персонажа, который всего через несколько лет принялся развивать свой литературный успех — теперь уже в лоне английской поэзии. Поэмы «Кристалль» (1798—1799, опублик. 1816) Сэмюэля Тейлора Кольриджа, «Талаба-разрушитель» (1799—1800, опублик. 1801) Роберта Саути и «Гяур» (1813) Джорджа Гордона Байрона внесли известную лепту в вампирический культурный сюжет, и ниже нам еще представится случай о них вспомнить.

И все же подлинный дебют вампира как литературного героя состоялся не в поэзии, а в повествовательной прозе. Он связан с рождением жанра «готического» или «черного» романа, который утвердился в европейской словесности рубежа XVIII—XIX веков как дискурс о загадочном, непостижимом, сверхъестественном и ужасном, тревожащих сознание человека Нового вре-

⁶ Гете И. В. Коринфская невеста // Эолова арфа: Антология баллады. М., 1989. С. 288. — Пер. А. К. Толстого.

мени, как сенсационная форма сублимации коллективных и индивидуальных страхов. В зловещих, леденящих душу историях, которые наводнили европейскую словесность в преддверии эпохи романтизма, сказалась, по справедливому замечанию Р. Д. Стока, «жажда Божественного, не находившая удовлетворения в истинной религии»⁷; «готический» роман принес человеку порубежной эпохи, одолеваемому чувством метафизического «беспокойства», своеобразное возмещение редуцированной Веком Разума трансцендентности, он явился средством «литературной компенсации, противостоявшей Просвещению, подавлению жажды Другого»⁸. И хотя, по наблюдению знатока и коллекционера «страшной» беллетристики Монтегю Саммерса, в традиционном «готическом» романе фигура вампира, как ни странно, не возникала ни разу⁹, тем не менее именно этот жанр сделал приход подобного персонажа в литературу не только возможным, но и практически неизбежным. Литература «тайны и ужаса» разработала специфические хронотопические структуры (различные виды закрытых пространств — старинные замки, монастыри, подземелья, лабиринты, склепы и т. п., отмеченные своеобразной «консервацией» времени и выступающие «средоточием посмертной жизни»¹⁰ — в фигуральном, а нередко и буквальном смысле слова) и соответствующие характерные мотивы и ситуации — заточение героя/героини в подземелье, погребение за-

⁷ Stock R. D. The Holy and the Daemonic from Sir Thomas Brown to William Blake. Princeton, 1982. P. 116.

⁸ Лахман Р. Дискурсы фантастического // Культуральные исследования: Сб. науч. работ. СПб.; М., 2006. С. 186. — Пер. Н. Борисовой.

⁹ См.: Summers M. The Vampire: His Kith and Kin [1928]. New Hyde Park, N. Y., 1960. P. 277–278; Саммерс М. История вампиров. М., 2002. С. 362–364.

¹⁰ Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С. 86.

живо, блуждание по темным, запутанным коридорам в тщетных поисках выхода и проч. Эти мотивы и сюжетные ходы олицетворяют идею затерянности человека в непонятном, чуждом, даже враждебном ему мире, где возможна встреча с призраками, духами умерших и вообще сверхъестественным, непостижимым, потусторонним, потенциально угрожающим жизни героя и потому вызывающим суеверный страх. В подобной системе образно-смысловых координат «мерцающая» на границе бытия и небытия, метафизически неустойчивая природа вампира не могла со временем не проявиться. Можно сказать, что «готическое» инопространство ¹¹ стало отправной точкой для рождения собственно вампирического сюжета, в котором традиционная изоляция героя служит всего лишь завязкой основных событий, подготавливая главную тему — тему *вторжения* вырвавшегося на свободу *монстра* в благоустроенный человеческий мир. «Готику», ввергающую человека в негативные состояния темноты, тесноты, отсутствия выхода, одиночества и угрозы смерти, справедливо определяют как «стиль клаустрофобии чувств» ¹². В рассказах и повестях о вампирах (и родственных им историях о зомби) демонстрируется, если угодно, обратная сторона этой клаустрофобии, ибо здесь ее испытывает не столько герой, встречающий монстра, сколько сам монстр, отчаянно рвущийся из тесноты склепа на волю; соответственно, и угроза смерти в повествованиях такого рода зачастую не связана с пребыванием героя во мраке подземелья — она сопутствует ему везде, где бы он ни находился; воплощенная в фи-

¹¹ Определение С. Зенкина. См.: Зенкин С. Н. Французская готика: В сумерках наступающей эпохи // *Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIX веков*. М., 1999. С. 6 и сл.

¹² Палья К. Личины сексуальности. Екатеринбург, 2006. С. 331. — Пер. С. Бутиной.

гуре вампира и являющаяся неотъемлемой частью вампирской жизненной программы, эта угроза обращена вовне, в привычный, хорошо знакомый человеку цивилизованный мир.

Тело как улика

О, горький жребий наш! Бежит за часом час,
А беспощадный враг, сосущий жизнь из нас,
И крепнет, и растет, питаясь нашей кровью.

*Шарль Бодлер**

Рассматривая вампира в качестве одного из репрезентативных героев «черной» беллетристики, следует сразу оговорить его сущностное отличие от иных сверхъестественных персонажей этой разновидности литературы, с которыми он нередко ставится в единый перечислительный ряд. Речь, конечно, в первую очередь идет о призраках, изначально, с момента возникновения «готического» романа обосновавшихся в его сюжетно-пространственных мирах. Призраки, или тени умерших, с древних времен ассоциируются — в силу своей спиритуальной природы — с легкостью, проницаемостью, бесплотностью¹³; отсюда их традиционное изображение в виде смутных, зыбких, расплывчатых фигур, создающее особый текстуральный эффект, который Цветан Тодоров назвал эффектом фантастического и который предполагает онтологическую двойственность увиденного и засвидетельствованного персонажем загадочного явления¹⁴. Колебаниям

* Пер. В. Левики.

¹³ См.: *Гарушвили Л. И.* Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской Европы. М., 1998. С. 127—129.

¹⁴ См.: *Тодоров Ц.* Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 18 и сл. По наблюдению С. Зенкина, в кинематографе, где подобную неуверенность персонажа в реальности увиденного передать практически невозможно (в силу зримости и на-

героя (и, соответственно, читателя) в интерпретации необычной встречи как нельзя лучше способствует обстановка, в которой является призрак. Это почти неизменная *полуосвещенность*, *частичное* затемнение места действия — одно из главных средств создания повествовательной неопределенности в подобных сценах начиная с романов «королевы готики» конца XVIII века Анны Радклиф (полагавшей, что пугающие объекты, представленные в неясных, полумрачных формах, вызывают страх, который смешан с удовольствием, апеллирует к воображению, развивает и обогащает эмоциональный мир человека и, безусловно, поддерживает читательский интерес к развитию интриги)¹⁵.

Репрезентация вампирического (и в литературе, и тем более в кино) в его предельных и наиболее показательных проявлениях зримо отличается от двусмысленного, полумрачного изображения призраков — в первую очередь, вследствие принципиально иной природы изображаемого объекта. Эфирности привидения противопоставляется несомненная и не уступающая властно напоминать о себе *телесность* вампира. Вампир, как уже отмечалось выше, манифестирует древний архетип монстра, у которого, в отличие от призрака, «обязательно есть *зримое тело*, и мир сверхъестественного непосредственно, вне знаковых процессов, вписан в это тело, миметически представлен в его искаженных чертах и несообразных жестах»¹⁶. В многочисленных рассказах о привиде-

глядности, заложенных в самой природе кино), упомянутые приемы изображения призраков «используются скорее в условно-пародийной функции — как *цитаты из литературы*» (Зенкин С. Эффект фантастики в кино // Фантастическое кино. Эпизод первый: Сб. ст. М., 2006. С. 56).

¹⁵ См. подр.: Антонов С. А., Чамеев А. А. Анна Радклиф и ее роман «Итальянец» // Радклиф А. Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное. М., 2000. С. 395–397.

¹⁶ Зенкин С. Эффект фантастики в кино. С. 56. — Курсив наш. — С. А.

ниях — так называемых ghost-stories, получивших особенно широкое распространение в английской прозе Викторианской эпохи, — встреча с призраком нередко разоблачается как иллюзия, обман чувств, плод воображения мистически настроенного и чересчур впечатлительного персонажа или, как уже говорилось, подается таким образом, что герой (а с ним и читатель) вплоть до финала сомневается в достоверности увиденного; в любом случае эта встреча обычно не предполагает никакой реальной опасности для человека. Иное дело — встреча с монстром, который, будучи воплощением тератологического природного сдвига и *одержимости чужим телом*¹⁷, порождает пограничные, угрожающие естественному ходу вещей и самой жизни героя ситуации, выступая в них в качестве инструмента исследования пределов человеческой идентичности. Встреча с ним — это *чувственно переживаемый, травматичный* опыт познания *Иного*, потенциально предполагающий различные трансформации «своего» в «чужое» и наоборот и широкий спектр возможных идентификационных толкований. В случае вампира это означает опосредованное укусом приобщение жертвы к кругу себе подобных, включение ее в цепную реакцию одержимости свежей кровью; по формулировке А. Секацкого, вампир стремится «преодолеть телесную разобщенность смертной природы», «разомкнуть малые круги кровообращения, чтобы слить их в единый круг циркуляции, теплокровный Океанос, вампирион»¹⁸. «Взломанное» тело жертвы с кровавыми отметинами на горле само по себе, таким образом, является недвусмысленным подтверждением агрессии монстра, *уликой*, свидетельствующей об удавшемся нападении

¹⁷ Такая интерпретация фигуры монстра принадлежит М. Б. Ямпольскому. См.: Ямпольский М. Демон и лабиринт (Диаграммы, деформации, мимесис). М., 1996.

¹⁸ Секацкий А. Указ. соч. С. 123, 138.

нии вампира. Понятно, что здесь уже не приходится говорить о какой-либо иллюзорности или онтологической двойственности сверхъестественного события — чудовищное присутствие неоспоримо наглядно и зачастую изображается во всей своей шокирующей натуралистичности (особенно в современном хоррор-кино, которое, поддаваясь «соблазну визуального», демонстрирует все большую склонность «к показу ужасов как чисто физических, телесных — иными словами, *видимых*»¹⁹). Резюмируя сказанное, можно констатировать, что культурная мифология вампиризма и сложившиеся со временем формы ее художественной репрезентации подтверждают известное определение современного хоррора как «*телесного*» жанра, который в основном имеет дело с чудовищами (в отличие от классического «готического» романа, где от мира сверхъестественного представляли главным образом призраки), изображает приключения тел и апеллирует к эмоционально-физиологическим реакциям публики — в противовес, например, научной фантастике, повествующей о приключениях разума и трактуемой как когнитивный, «мыслительный» жанр²⁰.

Разумеется, описанные выше принципы репрезентации вампирического не являются непреложными — это не эстетическая догма, а скорее изобразительная тенденция, допускающая существование ряда компромиссных вариантов. В анналах «черной» беллетристики XIX—XX веков можно отыскать немало произведений, в которых присутствие этого феномена обозначено лишь намеком, подано под флером таинственной неопределенности (более приличествующей бестелесным призра-

¹⁹ Грант Б. К. «Совершенствование чувств»: Разум и визуальное в фантастическом кино // Фантастическое кино. Эпизод первый. С. 24. — Пер. Т. Доброничкой.

²⁰ См. подр.: Williams L. Film Bodies: Gender, Genre and Excess // Film Genre Reader II. Austin, Texas, 1995. P. 140—158.

кам, чем хищным голодным монстрам), и в таких случаях весьма непросто решить, с чем (или, вернее, с кем) именно довелось столкнуться героям данной повести либо новеллы²¹. Еще труднее отделить рассказы о вампирах от рассказов о зомби и оборотнях, от повествований о летаргии и некрофагии и т. п. — антураж, мотивный ряд, нарративные приемы в подобных сочинениях во многом совпадают с соответствующими элементами поэтики вампирских историй, а сами эти фантастические персонажи образуют вереницу гротескных образов, объединенных, вопреки всем внешним различиям, своей монструозной телесностью, своей двойственной — человеческо-нечеловеческой — природой. Однако несомненное своеобразие темы, которой посвящена данная книга, все же требует дифференциации этих формально сходных друг с другом повествований, и для выявления различий между ними необходимо более подробно охарактеризовать экзистенциальный статус и психофизический облик главного героя настоящих заметок.

²¹ Характерный пример такого рода, приводимый М. Саммерсом в его книге о вампирах, — новелла английского писателя и ученого, мэтра викторианской «готической» литературы М. Р. Джеймса «Граф Магнус» (1904). «Кем является действующий в ней оживший мертвец — призраком или вампиром? Писатель так и не внес в этот вопрос никакой ясности. Поступил он так совершенно намеренно; в том-то и состоит суть его удачной выдумки, что искусно создаваемая неопределенность усиливает отвращение и ужас, вызываемые объектом изображения», — констатирует автор книги (*Саммерс М. Указ. соч. С. 352—353. — Пер. Р. Ш. Ахунова цитируется с уточнением по оригиналу*). Справедливости ради следует заметить, что подобные сюжетные загадки в «готических» историях чаще все же разрешаются: в середине или финале повествования автор прямо указывает или же исподволь наводит героя/читателя на «таинственное» либо «ужасное» объяснение событий, избавляющее от необходимости гадать далее, кто возник на пути персонажа — бесплотный вестник иного мира или кровожадный (в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова) монстр.

Приключения трупа

Вы их, Бог знает почему, называете *вампирами*, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: *упырь*; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира*.

Алексей Константинович Толстой

Глаза его потускнели, но они глядят вверх. Горе тому, кто пройдет мимо этого трупа! Ибо кто может противиться его очаровывающему взгляду?.. Улыбаются окровавленные губы, словно у спящего человека, мучимого нечистой совестью... Много слез из-за него было пролито при его жизни. Еще больше прольется после его смерти.

*Проспер Мериме**

Прежде всего, неизбежно приходится констатировать, что герой этот имеет длительную и сложную культурную генеалогию. Общеизвестно, что задолго до проникновения в художественную литературу феномен вампиризма нашел отражение в мифологии и фольклоре, в легендах и верованиях различных народов мира, в многочисленных исторических хрониках и демонологической иконографии. Оставляя в стороне уходящие в глубину тысячелетий предания о Лилит (вавилонской дьяволице, пьющей кровь новорожденных), об античных ламиях и стригах, а также всевозможные ритуалы, суеверия и запреты в отношении крови, с древних времен бытующие в различных нехристианских культурах, имеет смысл задержать внимание на фигуре непосред-

* Пер. Н. Рыковой.

ственного предшественника литературного вампира — упыря или вурдалака, чей монструозно-зловещий образ складывается в европейском общественном и культурном сознании в XVII—XVIII веках.

В этом образе соединились представления об одержимых дьяволом живых мертвецах, широко распространенные в западноевропейской христианской демонологии Средних веков, легенды о вервольфах, людях-оборотнях, которые способны превращаться в волков, а после смерти, согласно балканским и карпатским поверьям, становятся кровожадными зомби²², и, наконец, слухи и сообщения о конкретных случаях вампиризма — с указанием названий мест, имен участников событий и страшных подробностей, призванных придать рассказанному правдоподобие. На рубеже XVII—XVIII столетий число подобных сообщений нарастает с такой пугающей быстротой, что они вызывают в странах Восточной Европы массовую панику, а в Западной Европе начинают фиксироваться на бумаге — в различных отчетах, трактатах, «размышлениях» и «рассуждениях», авторы которых стремятся тем или иным образом прояснить природу этого загадочного явления. Филип Рор в «Историко-философском рассуждении о жующих мертвецах» (1679) объясняет феномен оживающих трупов вторжением дьявольской силы. С ним полемизирует Михаэль Ранфт в «Книге о мертвецах, жующих в могилах» (1728), утверждающий, что дьявол не может проникать в тела усопших. В декабре 1731 года предметом официального расследования австрийских оккупационных властей в Сербии становится дело крестьянина Ар-

²² К одному из восточноевропейских названий этих существ (по-видимому, к сербохорватскому «вукодлак», или «вудкодлак») восходит слово «вурдалак», введенное в русский язык Пушкиным. См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964. Т. 1. С. 338—339, 365—366.

нольда Паоля, который умер в 1727 году в результате несчастного случая и, став вампиром, в последующие несколько лет истребил значительную часть населения родной деревни; весной следующего года эта история попадает во французскую и английскую прессу и таким образом обретает всеевропейскую известность. Именно с 1732 года слово «вампир» (искаженное славянское «упырь», в древнерусском языке письменно зафиксированное еще в 1047 году) начинает систематически употребляться в английском, французском и немецком языках и очень скоро проникает в литературу («Путешествия трех английских джентльменов», 1734, опубли. 1745)²³. Вампиризм превращается в популярную тему интеллектуальных спекуляций медиков, философов и богословов: один за другим выходят в свет вампирологические тексты — «Физическое рассуждение о кровососущих мертвецах» (1732) Иоганна Кристиана Штока, «Рассуждение о людях, ставших после смерти кровососами, в просторечии именуемых вампирами» (1732) Иоганна Кристофа Роля и Иоганна Гертеля, «Рассуждение о вампирах в Сербии» (1733) Иоганна Генриха Цопфа и Карла Франциска Ван Далена, «О вампирах» (1739) Иоганна Кристиана Харенберга, «Рассуждение о вампирах» (1744) Джузеппе Даванцати и многие другие. Наиболее подробным и обстоятельным среди этих сочинений был двухтомный труд французского монаха-бене-

²³ М. Саммерс (указ. соч. С. 32) отмечает распространённость этого слова в литературном лексиконе 1760-х годов, приводя в пример «Гражданина мира» (1760—1762) Оливера Голдсмита, где оно использовано — в обличительном контексте — уже в качестве общепонятной фигуры речи: «Корыстный судья воистину гиена в образе человеческом. Начав с тайного глотка, он уже закусывает в дружеской компании, а обедает на людях, затем начинает обжираться и наконец принимается сосать кровь, как вампир» (*Голдсмит О. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. М., 1974. С. 206. — Пер. А. Ингера*).

диктинца, известного толкователя Библии дома Огюстена Кальме (1672—1757) «Рассуждения о явлении ангелов, демонов и духов, а также призраков и вампиров, в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии» (1746), который на долгое время сделался едва ли не главным источником сведений о вампиризме для авторов, обращавшихся к этой теме в исследовательских или художественных целях.

Примечательно, что создателями вышеперечисленных трактатов (большинство их написано на латыни) являются немецкие, итальянские, французские — словом, *западноевропейские* — авторы, которые, однако, в основном рассматривают случаи вампиризма, имевшие место в Сербии, Венгрии, Богемии (то есть Чехии) и других *восточноевропейских* странах. Иначе говоря, они воспринимают это явление (и стремятся представить его читателям) как экзотически-жуткий феномен таинственной, «варварской», *чужой* культуры восточноевропейских земель, которой противопоставляют «просвещенный» *взгляд извне*, из цивилизованной, свободной от средневековых суеверий части Европы. Идеологичность подобной трактовки очевидна, несмотря на объективные этнические, социальные, религиозные, фольклорные различия, разделяющие Западную и Восточную Европу и предопределившие активное бытование в последней вампирских легенд и поверий. Для сюжета настоящих заметок, впрочем, важна не идеологическая подоплека западноевропейской квазинаучной и богословской вампирологии XVIII века, а сам факт изначальной дистанцированности взгляда. Заданный в этих сочинениях принцип «видения со стороны» породил впоследствии устойчивый художественный прием — в многочисленных романах, повестях и рассказах XIX—XX веков вампиры зачастую предстают *иностранцами*, путешествующими по свету в поисках новых жертв; в этих персонажах «культурно-бытовая инаковость естественно сочетается

с инаковостью метафизической, с абсолютной трансцендентностью Чужого»²⁴. Путешествие самих потенциальных жертв в незнакомые «варварские» земли — другой характерный мотив вампирских повествований (такова, в частности, завязка событий «Дракулы» Стокера) — также представляет собой ситуацию значимого межкультурного «переключения».

Из второго тома трактата Дома Кальме, непосредственно посвященного вампиризму, напрямую заимствовал сведения для своей знаменитой мистификации «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» (1827) французский писатель-романтик Проспер Мериме. Из тридцати песен и баллад, составивших этот сборник, в семи прямо или косвенно говорится о вампирах («Храбрые гайдуки», «Прекрасная Софья», «Ивко», «Константин Якубович», «Экспромт», «Вампир», «Кара-Али, вампир»), кроме того, в сердцевину цикла помещен очерк «О вампиризме» с пространной цитатой из книги Кальме (включающей историю Арнольда Паоля) и мнимыми воспоминаниями автора о своем путешествии в Далмацию, Боснию и Герцеговину в 1816 году, во время которого он якобы сам стал свидетелем пришествия вампира. Общеизвестно, что некоторые из этих прозаических баллад, выданных Мериме за французские переводы славянских песен, впоследствии были переложены стихами на русский язык Пушкиным и составили (вместе с песнями, восходящими к другим источникам) поэтический цикл «Песни западных славян» (1833—1834, опубл. 1835); в трех из шестнадцати стихотворных баллад, входящих в пушкинский цикл, идет речь о вампирах. Именно «Песни западных славян» ввели в русский язык слово «вурдалак» (как уже говорилось выше, иска-

²⁴ *Зенкин С. Н.* Французский романтизм и идея культуры: Аспекты проблемы. М., 2001. С. 54.

женное сербохорватское «ву(д)кодлак», обозначавшее волка-оборотня), которое последовательно употребляется Пушкиным в значении «вампир» и впрямую соотносено с традиционным «упырем» славянского фольклора. «Западные славяне верят существованию *упырей* (vampire)», «*Вурдалаки, вудкодлаки, упыри* — мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей»²⁵, — поясняет автор в примечаниях к текстам баллад, опираясь в этих кратких характеристиках на сведения из очерка Мериме.

Можно сказать, что упомянутый очерк (включенный в настоящую антологию) зафиксировал, как и книга Мериме в целом, *долитературное* — условно говоря, *фольклорно-этнографическое* — представление о вампирах, в известной мере архаичное для эпохи романтизма, когда формируется принципиально иной, близкий современному, образ этих таинственных существ. В трактовке, сложившейся в западноевропейском культурном сознании XVIII века и унаследованной Мериме, вампир — это порожденный суеверной народной фантазией неупокоившийся *мертвец*, который при жизни сам подвергся нападению вампира, либо был отлучен от Церкви или похоронен в неосвященной земле, либо, уже находясь в могиле, стал жертвой вторжения в его тело демонической силы. Так или иначе, это тело, не подвергаясь тлению, продолжает вести активную посмертную жизнь: одержимый сверхъестественным голодом, вампир способен поедать свои погребальные одежды и даже свою плоть — многочисленные примеры такого рода приводят Михаэль Ранфт и другие авторы трактатов о «жующих мертвецах» (включая дома Кальме, у которого Мериме и заимствует сведения о жутких звуках, доносящихся из могил, и о покойниках,

²⁵ Пушкин А. С. Песни западных славян // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1977. Т. 3. С. 290, 294.

грызущих «все, что их окружает, даже собственные тела»²⁶. Однако чаще, гонимый все тем же голодом, вампир покидает место своего захоронения и совершает нападения на живых людей (нередко на собственных родственников), высасывая их кровь. Лишенный каких-либо человеческих эмоций и привязанностей, вампир-зомби вызывает лишь ужас, отвращение и желание тем или иным способом его уничтожить²⁷.

Заметим, что у авторов, под пером которых складывался этот малопривлекательный образ, «сверхъестественная» и «демоническая» трактовка вампиризма зачастую вызвала скептическую усмешку, желание предложить ему иное, рациональное толкование или же, по выражению Мериме, вовсе «послать к чертям вампиров и всех тех, кто о них рассказывает». Создатели вампирологических трактатов неоднократно пишут о погребенных заживо жертвах летаргического сна, пытавшихся по пробуждении выбраться из гроба и принятых суеверными крестьянами за оживших покойников; выдвигаются и другие, сугубо медицинские объяснения, призванные лишить эту тему суеверного налета и ввести ее в рамки просветительского здравомыслия. Проспер Мериме, как уже говорилось, наследует этой традиции и,

²⁶ В этой трактовке темы, таким образом, не делается различия между собственно вампиризмом (жаждой свежей крови) и некрофагией — различия, довольно существенного для современной семиотики вампирического. Частный случай смешения двух понятий — традиция публиковать безымянный рассказ Эрнста Теодора Амадея Гофмана, повествующий именно о некрофагии, под условным названием «Вампиризм»; в настоящую антологию гофмановский рассказ включен лишь с целью сделать более зримой разницу между этими исторически связанными, но впоследствии далеко разошедшимися темами.

²⁷ Эта трактовка образа воспроизводится в повести А. К. Толстого (впоследствии переведшего на русский язык «Коринфскую невесту» Гете) «Семья вурдалаков», написанной на рубеже 1830—1840-х годов; в его же повести «Упырь» (1841) нарисован иной, романтический портрет вампира.

описывая случай вампиризма, коему он якобы сам был свидетелем, усматривает в странном поведении «жертвы» следствие истерии, а не губительного укуса монстра. Добавим, что ироничный и вольнодумный век Просвещения, едва слово «вампир» закрепилось в европейском культурном лексиконе, перетолковал его в качестве социального иносказания, используя для критики деспотических институтов «старого режима»: почти одновременно с Голдсмитом, заклеившим этим словом продажных судей, Вольтер в посвященной вампирам статье (ок. 1770) из «Философского словаря» называет так «монахов, которые едят за счет королей и народа»²⁸. В романе о Фаусте, опубликованном в 1791 году младшим современником Гете Фридрихом Клингером, вампиризм напрямую связывается с абсолютистской монархией, в буквальном смысле выпивающей жизненную энергию угнетенных сословий: Клингер описывает, как французский король Людовик XI скупает у крестьянской бедноты младенцев и пьет их кровь — «в безумной надежде, что его старое, дряхлое тело помолодеет от свежей и здоровой детской крови»²⁹. Эта аллегорическая интерпретация темы в дальнейшем глубоко укоренится в общественно-политической речевой практике и, наложившись на новые социально-экономические реалии XIX века, породит известную формулу Маркса о присутствии капиталистическому производству «вампировой жажде живой крови труда»³⁰.

Однако, вопреки просветительской рационализации и публицистическому снижению, монструозный образ вампира-зомби, локализованный в балкано-славянских этно-

²⁸ Цит. по: *Lecouteux C. Histoire des Vampires: Autopsie d'un mythe*. Paris, 2002. P. 9.

²⁹ *Клингер Ф. М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение* в ад. СПб., 2005. С. 172. — *Пер. А. Лютера под ред. О. Смолян*.

³⁰ *Маркс К. Капитал: Критика политической экономии*. В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 267. — [*Пер. Н. Ф. Даниельсона*].

культурных координатах, прочно утвердился в западноевропейском сознании XVIII столетия. В начале XIX века он оказался востребован литературой «тайны и ужаса» с ее инопространственной топикой, подвижной диспозицией реального и фантастического и проблематизацией человеческой идентичности. Включенная в новые, посткласические структуры субъективности, телесности, воображаемого, которые формировались в рамках «готической» прозы, фольклорно-этнографическая фигура упыря/вурдалака претерпела серьезную метаморфозу, обернувшись вскоре личностью совершенно иного масштаба. Характер перемены, как это нередко бывает, можно описать в пушкинских определениях: «красногубый вурдалак» из «Песен западных славян» превратился в «задумчивого Вампира», героя тревожных снов Татьяны Лариной.

Первая кровь

Мы драмы мрачные с ним под вечер читали,
Склонялись вместе мы над желтым мертвецом,
Высокомерие улыбки и печали
Сковали вместе нас таинственным кольцом.
Но это черное и гибкое созданье
В конце концов меня приводит в содроганье.
«Ты дьявол», — у меня сложилось на губах.

*Морис Роллина**

Окованной навек глухими снами,
Дано ей чутать боль и помнить пир,
Когда, что ночь, к плечам ее атласным
Тоскующий склоняется вампир!

Александр Блок

Обстоятельства рождения этого героя выглядят почти случайностью, хотя, как мы постарались пока-

* Пер. И. Анненского.

зять выше, оно было обусловлено серьезными изменениями, происходившими на рубеже XVIII—XIX веков в западной литературе и культуре, — в первую очередь, помещением в зону художественно-философской рефлексии ключевой для новоевропейского сознания проблемы Другого. Столь же закономерной представляется изначальная связь вампирского литературного мифа с парадигматической личностью эпохи романтизма — властителем дум Европы начала XIX столетия лордом Байроном.

В конце мая 1816 года Байрон, навсегда покинувший родину и находившийся в добровольном изгнании, прибыл в Швейцарию, где впервые встретился с другим английским поэтом-изгнанником — Перси Биши Шелли. Вместе с Шелли по Европе путешествовали его гражданская жена Мери Годвин, дочь знаменитого философа Уильяма Годвина, и ее сводная сестра (точнее, падчерица Годвина) Джейн Клер Клермонт, экзальтированно влюбленная в Байрона и мечтавшая о новой встрече с ним. Байрона же сопровождал в качестве личного врача и секретаря Джон Уильям Полидори — молодой медик англо-итальянского происхождения, не лишенный (несмотря на постоянное присутствие рядом первого поэта Англии) собственных литературных амбиций и имеющий самое непосредственное отношение к сюжету настоящих заметок. Встретившись в женевской гостинице «Англия», путешественники вскоре перебрались в окрестности швейцарской столицы — Байрон и Полидори поселились на старинной вилле Диодати, расположенной в селении Колоньи у южной оконечности Женевского озера, а чета Шелли и Клер Клермонт — в коттедже Мезон Чеппиус в десяти минутах ходьбы от виллы. Лето выдалось дождливым, и зачастую непогода с самого утра запирала двух именитых англичан и их спутников в стенах виллы Диодати, заставляя коротать время в разговорах о литературе, философии и науке

и чтении книг. Среди последних оказалась «Фантасмагориана, или Собрание историй о привидениях, призраках, духах, фантомах и проч.» (1812) — французский перевод первых двух томов пятитомной немецкой «Книги привидений», изданной И. А. Апелем и Ф. Лауном в 1811—1815 годах. В один из июньских вечеров (согласно дневнику Полидори, 17 июня) Байрон, впечатленный «готическими» сюжетами «Фантасмагорианы», предложил собравшимся устроить литературное состязание и каждому сочинить «страшную» повесть. Идея была встречена с энтузиазмом.

Самый значительный и эффектный плод этого состязания сделался со временем классикой английской и мировой словесности, вдохновил целый ряд продолжений и переложений, вызвал к жизни обширную научную литературу, инспирировал множество киноверсий и породил собственный культурный миф, равновеликий и во многих отношениях параллельный вампирскому мифу. Спустя несколько дней, проведенных в тщетных попытках сочинить леденящий душу рассказ, Мери Годвин (более известная ныне как Мери Шелли) создала первоначальный набросок романа, впоследствии вошедшего в историю литературы под названием «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1816—1817, опубл. 1818). Эта книга — не только оригинальный философский роман и отправная точка европейской научно-фантастической литературы, но и один из ярчайших образцов «готической» прозы, предвосхитивший многочисленные зомби-истории современной хоррор-культуры и, кроме того, косвенно затрагивающий интересующую нас тему³¹.

³¹ В тексте «Франкенштейна» обнаруживаются две открытые манифестации вампирической темы. В предисловии к второй редакции романа (написанном, правда, значительно позднее самой книги, в 1831 году) упомянута входящая в «Фантасмагориану» вампирская повесть «Семейные портреты» — «о грешном родоначальнике семьи», обреченном запечатлеть смертельный по-

Шелли и Байрон, по словам Мери, «наскучив прозой», вскоре «отказались от замысла, столь явно им чуждого». Клер Клермонт не принимала участия в состязании, а Полидори «придумал жуткую даму, у которой вместо головы был череп»³², но, не сумев развить сюжет, вынужден был предать свой вымысел забвению. Однако в те же июньские дни им было задумано — а в конце лета написано — другое произведение в «готическом» духе: основываясь на устном рассказе Байрона, который он удержал в памяти, Полидори создал небольшую повесть «Вампир», получившую вскоре все-европейский резонанс и сделавшую vampirism модной литературной темой, каковой он остается и по сей день. Весьма вероятно, что толчком к написанию этой повести стало посещение виллы Диодати писателем Метью Грегори Льюисом, автором скандально знаменитого «готического» романа «Монах» (1796), случившееся в середине августа, спустя два месяца после памятного литературного состязания. «Увиделись с могильщиком Аполлона³³, сообщившим нам множество тайн своего ремесла. Беседуем о привидениях»³⁴, — пишет 18 августа

целуй на лицах своих спящих детей, «которые с того дня увядали, точно цветы, сорванные со стебля». Второй раз образ вампира возникает в словах Виктора Франкенштейна о порожденном им чудовище: «Существо, которое я пустил жить среди людей... представлялось мне моим же собственным злым началом, вампиром, вырвавшимся из гроба, чтобы уничтожать все, что мне дорого» (*Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей. М., 1965. С. 29, 95. — Пер. З. Александровой*).

³² Там же. С. 30.

³³ Отсылка к поэтической сатире Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1809), где Льюис назван «поэтом гробов», который «в царстве Аполлона подрядился в могильщик...» (*Байрон Дж. Г. Английские барды и шотландские обозреватели // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980. С. 307. — Пер. С. Ильина*).

³⁴ [*Шелли М.*] Женевский дневник // Шелли [П.-Б.] Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972. С. 326. — Пер. З. Александровой.

та 1816 года Мери Шелли в дневнике, который она вела вместе с Перси во время их пребывания в Женеве, и приводит далее несколько рассказанных Льюисом жутких — вполне в духе «Фантасмагорианы» — историй, в основном с немецким колоритом. Впоследствии, кстати, Байрон говорил Томасу Медвину (волею судьбы ставшему его первым биографом), что свою историю о вампире, которую использовал Полидори, он рассказывал именно во время августовского визита Льюиса на виллу³⁵; однако другие биографы полагают, что в памяти поэта соединились два вечера, проведенные в разговорах на сходные темы.

Думается, нет необходимости излагать здесь содержание повести Полидори — она не раз переводилась на русский язык, а ее новый, не публиковавшийся ранее перевод следует непосредственно за настоящим предисловием. Однако принципиально важно заметить, что в лице демонического лорда Рутвена, становящегося причиной гибели молодых героев повествования — романтически настроенного Обри, его сестры и прелестной гречанки Ианфы, — читателю явлен образ вампира, который заметно отличается от прежнего, бытовавшего в культурном сознании предыдущего столетия. Вместо фольклорного упыря, оживленного чужеродной злой силой и лишенного всяких человеческих чувств и привязанностей, на страницах повести выведен блистательный, утонченный и порочный аристократ, разочарованный скиталец, циничный соблазнитель юных, неопытных душ. Лорд Рутвен, каким изобразил его Полидори, «вызывает ужас и обостренный интерес. От него бегут в страхе и к нему возвращаются под воздействием непонятной влекущей силы. Он не выбирает жертв из

³⁵ См.: *Medwin Th. Conversations of Lord Byron, Noted during a Residence with His Lordship at Pisa in the Year 1821 and 1822. L., 1824. P. 120.*

числа ближайших родственников, как делали славянские вампиры. У него вообще нет родственников. Он подвижен, обольстителен, его жертвой может стать каждый. <...> Он близок ко двору, на него возлагают важную дипломатическую миссию. Его внешность и манеры безупречны и не меняются, даже когда он умирает от разбойничьей пули в горном ущелье. Он — чудовище, но его принадлежность к высшему кругу общества не вызывает сомнений. Он подвержен модным аристократическим порокам и следит за движением золота по зеленому сукну карточного стола с не меньшим вниманием, чем за током крови по венам своих жертв»³⁶. Он не боится дневного света (в отличие от своих многочисленных кинематографических собратьев, которым не по нраву солнечные лучи), его жертвы — опять-таки вопреки и классической, и современной трактовке вампиризма — не обращаются в вампиров, а попросту умирают. В согласии с фольклорной традицией Рутвен представлен как мертвец, необъяснимым образом вернувшийся к жизни, однако, за исключением «мертвенного взгляда серых глаз», ничто в его облике и поведении не выдает в нем выходца с того света — наоборот, он отличается *сверхвitalностью*, которая одновременно и ужасает, и притягивает окружающих. Эта сверхвitalность имеет в изображении автора повести отчетливо эротические черты, и можно утверждать, что Полидори первым — по крайней мере в прозе — соотнес вампиризм с темой сексуальной страсти, отмеченной двойственностью страха/влечения; развитием этой метафоры (о которой мы в дальнейшем поговорим более подробно) стала викторианская литературная вампириана, увенчанная «Дракулой» Стокера, а впоследствии ее приняли активно экс-

³⁶ *Лецинский А.* Избранный круг 1816 года // Три старинные английские повести о вампирах. СПб., 2005. С. 128, 127.

плуатировать кинематограф и «черная» беллетристика XX века. В повести Полидори, таким образом, намечены смысловые контуры позднейшей культурной мифологии вампиризма, принципиально отличной от фольклорно-этнографической трактовки темы³⁷: вампир обретает способность к временной, тактической социализации и амбивалентный эротический шарм. Здесь же берет начало расхождение вампирских и зомби-историй — в современной хоррор-культуре они существуют как два независимых друг от друга и одинаково влиятельных жанра, различающихся главным образом психологией их главных героев: в противовес механически-бесстрастному живому мертвецу, представляющему собой «бессмысленный труп», облик вампира выдает его одержимость мрачными страстями³⁸, которая за-

³⁷ Это различие, однако, не исключает возможности сочетания обеих трактовок в рамках единого произведения — как, например, в повести русского прозаика Ореста Сомова «Киевские ведьмы» (1833), где на сугубо фольклорном материале проигрывается романтическая ситуация добровольного подчинения героя жене-вампирише (кстати, не умершей, а предавшейся нечистой силе), изображенная подчеркнуто эротизированно: «Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слились в один долгий, жаркий поцелуй... <...> Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем как Федор истаявал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: „Сладко ли так засыпать?“ — „Сладко...“ — отвечал он чуть слышным лепетом — и уснул навеки» (*Сомов О. М. Киевские ведьмы* // *Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820—1840 гг.)*. Л., 1991. С. 186). Возможен и другой вариант, при котором различные культурные образы вампира соприисутствуют в едином сюжете, но воплощаются в разных персонажах: примером здесь может служить одна из сцен знаменитого романа Энн Райс «Интервью с вампиром» (1976) (подробнее об этом см. далее).

³⁸ Наблюдение кинокритика С. Добротворского. См.: *Добротворский С. Н. Ужас и страх в конце тысячелетия. Очерк экранной эволюции* // *Добротворский С. Н. Кино на ощупь*. СПб., 2005. С. 67.

ставляет подозревать в нем неожиданное для столь экстраординарного существа посястороннее, эмоциональное, *человеческое* измерение.

Наделяя подобными страстями своего лорда-вампира, Полидори несомненно ориентировался на психологический и даже внешний облик героев байроновских поэм — и на образ самого Байрона, каким он сложился в сознании его современников. Общеизвестно, что блистательный и беспримерный литературный успех Байрона, его радикальные политические взгляды и резкие заявления, его многочисленные любовные победы, сенсационные слухи о его частной жизни, драматичные и скандальные обстоятельства его развода и его добровольно-вынужденное изгнание, преломившись сквозь призму его произведений, способствовали скорому рождению эффектного романтического образа поэта, в котором оказались нераздельно соединены возвышенные духовные стремления и глубочайшая, почти демоническая порочность. Блоковское «Он — Байрон, значит — демон»³⁹ написано спустя столетие, когда представление о Байроне-имморалисте, ниспровергателе моральных устоев, дьяволопоклоннике, искусителе и совратителе невинных душ уже давно сделалось культурным клише, однако и в первой трети XIX века личность автора «Чайльд-Гарольда», «Гяура», «Корсара», «Лары» воспринималась многими как олицетворение темных, запретных, безумных страстей и чудовищных нравственных преступлений, окутанных мрачным покровом тайны. Свою лепту в этот зловеющий образ внес и скандально известный роман леди Каролины Лэм «Гленарвон» (1816), в сюжете которого, среди прочего, отражена история ее недолгих, но бурных любовных отношений с Байроном, имевших

³⁹ Блок А. А. Возмездие // Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 321.

место в 1812 году. В заглавном герое романа Кларенсе де Рутвене, лорде Гленарвоне — ирландском террористе, убийце, похитителе и совратителе женщин — налицо портретное сходство с именитым поэтом; вопреки своей порочности Гленарвон наделен неотразимой привлекательностью — которой он, несомненно, обязан неугасшей страсти сочинительницы к Байрону, очень скоро доведшей ее до безумия.

Именно из «Гленарвона» Полидори заимствовал фамилию Рутвен, тем самым напрямую ассоциировав героя своей повести с героем книги Каролины Лэм и его прославленным прототипом, очевидным, пожалуй, любому осведомленному читателю того времени; некоторые обстоятельства пребывания Рутвена в лондонском высшем свете непосредственно отсылают к биографии Байрона и перипетиям его отношений с Каролиной (ряд таких параллелей отмечен в комментарии к «Вампиру» в настоящем издании). И конечно, «в зеркале повести Полидори, пусть не вполне верно, с искаженными контурами, отражается мир подлинной байроновской поэзии — с демоническими героями-имморалистами, с философией „высокого зла“, с великой любовью и великим страданием»⁴⁰. Поэтому, даже если бы «Вампир» не был связан с именем Байрона при первом своем появлении в печати, он все равно воспринимался бы как произведение байронического толка; Полидори, по сути, лишь зафиксировал на бумаге закономерное и неизбежное обращение романтического «демона», ассоциировавшегося с поэзией и личностью Байрона, в новоевропейского вампира, реализовав тем самым глубинную внутреннюю потребность «готической» литературы в этом герое.

⁴⁰ Вацуро В. Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. (АРС. Российский журнал искусств. Темат. вып.). СПб., 1992. С. 44.

Случилось, однако, так, что «Вампир» предстал на суд читателя не просто как байроническое, но как *байроновское* произведение. 1 апреля 1819 года в «Нью мансли мэгэзин», принадлежавшем издателю Генри Кольберну, были напечатаны три тематически взаимосвязанных текста; первый и третий, как явствовало из вступительной редакционной заметки, оказались в распоряжении сотрудников журнала минувшей осенью, а второй, по предположению современных исследователей, был написан редактором Алариком Уоттсом в качестве пояснительного комментария к публикации. Первым текстом был анонимный «Отрывок письма из Женевы с историями из жизни лорда Байрона etc.», в котором рассказывалось о пребывании знаменитого поэта и его спутников в Швейцарии и в том числе — о чтении ими «Фантасмагорианы» и последующем литературном состязании на вилле Диодати. В конце письма автор выражал надежду на то, что его корреспонденту «будет чрезвычайно любопытно ознакомиться с набросками, вышедшими из-под пера столь гениального человека, равно как и тех, кто находился под его непосредственным влиянием»⁴¹. Далее следовали заметки Уоттса, в которых давался беглый очерк легенд и преданий о вампирах начиная с древних времен, довольно подробно излагалось дело Арнольда Паоля, цитировалось «величественное и пророческое проклятие»⁴² в адрес заглавного героя байроновского «Гяура», произносимое матерью убитого им Гассана⁴³, упоминались «Талаба-разру-

⁴¹ Preliminaries for «The Vampire» // «The Vampyre» and Other Tales of the Macabre. Oxford; N.Y., 1997. P. 240. — Пер. наш. — С. А.

⁴² Ibid. P. 242.

⁴³ «Но перед этим из могилы / Ты снова должен выйти в мир / И, как чудовищный вампир, / Под кровлю приходить родную — / И будешь пить ты кровь живую / Своих же собственных детей. / Во мгле томительных ночей, / Судьбу и Небо про-

шитель» Саути и трактат Огюстена Кальме, а также приводился перечень именований вампиров у различных народов мира. Третьим текстом, венчавшим собой всю эту подборку материалов, был «Вампир» Полидори, преподнесенный читателям как «повесть лорда Байрона». Как стало известно впоследствии, решение напечатать «Вампира» под именем Байрона принял — накануне публикации — сам Кольберн, стремившийся поправить серьезно пошатнувшиеся финансовые дела журнала, представив читающей публике новое сочинение прославленного автора. Его расчет оправдался: повесть вернула «Нью мансли мэгэзин» на путь коммерческого успеха, кроме того, в апреле того же года «Вампир» был напечатан отдельной книгой в Лондоне (также под именем Байрона) и анонсирован к публикации в Париже журналом «Вестник Галиньяни».

Историки литературы расходятся во мнениях относительно того, какую роль играл в этой истории сам автор повести. Известно, что в середине сентября 1816 года Байрон, раздраженный заносчивостью и литературными претензиями Полидори, уволил его, снабдив напоследок деньгами и рекомендациями, и в Италию, куда оба намеревались направиться, каждый из них поехал своим путем. В апреле 1817 года Полидори вернулся в Англию и обосновался в Норвиче, где открыл медицинскую практику; однако, не преуспев на

клиная, / Под кровом мрачной тишины / Вопьешься в грудь детей, жены, / Мгновенья жизни сокращая. / Но перед тем, как умирать, / В тебе отца они признать / Успеют. Горькие проклятья / Твои смертельные объятья / В сердцах их скорбных породят, / Пока совсем не облетят / Цветы твоей семьи несчастной» (Байрон Дж. Г. Гяур // Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 3. С. 28. — Пер. С. Ильина). Комментаторами не раз отмечалась явная переключка этих строк с сюжетом повести «Семейные портреты», входящей в «Фантасмагориану», и с ее описанием в предисловии к «Франкенштейну» М. Шелли, цитированным нами выше.

этом поприще, он вскоре решил заняться литературой. Обстоятельства, в результате которых осенью 1818 года в редакции «Нью мансли мэгэзин» оказалась рукопись «Вампира», до сих пор остаются не до конца проясненными. Основываясь на различных косвенных свидетельствах, одни исследователи считают (вслед за Байроном), что появление повести в печати под байроновским именем состоялось с согласия Полидори и что именно им было написано пресловутое «Письмо из Женевы», отрывок из которого предварял текст «Вампира» в журнальной публикации и первых книжных изданиях⁴⁴; другие оспаривают эту точку зрения, полагая автором письма второстепенного литератора Джона Митфорда⁴⁵, из-под пера которого впоследствии вышла «Частная жизнь лорда Байрона» (опубл. 1828).

Как бы то ни было, в апреле 1819 года «Вампир» Джона Уильяма Полидори, вдохновленный устным рассказом Байрона, начал под именем последнего свой триумфальный путь по Европе. Волею случая бывший врач и секретарь знаменитого поэта, не столько надеясь на успех своего дебюта, сколько нуждаясь в деньгах, способствовал рождению нового литературного героя и связанного с ним культурного мифа. Его небольшая повесть «запустила цепную реакцию, которая вознесла этот миф к высотам художественной психологии и низвергла в бездны садистической вульгарности, сделав вампира (наряду с чудовищем Франкенштейна) наиболее сложной и притягательной фигурой, когда-либо порожденной „готическим“ воображением»⁴⁶.

⁴⁴ См.: *Grudin P. D. Demon Lover*. N. Y., 1987. P. 74–77; *Ваширо В.* Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации. С. 39, 41; *Он же.* Готический роман в России. С. 499, 504.

⁴⁵ См.: *Macdonald D. L. Poor Polidori: A Critical Biography of the Author of «The Vampire»*. Toronto, 1991. P. 184, 276.

⁴⁶ *Twitchell J. The Living Dead: A Study of the Vampire in Romantic Literature*. Durham, NC, 1981. P. 103.

Первая кровь, часть вторая

Но что за образ, весь кровавый,
Меж мимами ползет?
За сцену тянутся суставы,
Он движется вперед,
Все дальше, — дальше, — пожирая
Играющих, и вот
Театр рыдает, созерцая
В крови ужасный рот.

*Эдгар Аллан По**

Байрон пришел в негодование, когда узнал, находясь в Венеции, что в Англии под его именем вышла в свет не принадлежащая ему повесть. «Черт бы побрал „Вампира“! Что мне известно о вампирах? Вероятно, какое-нибудь мошенничество книготорговцев; разоблачите его в торжественном печатном заявлении»⁴⁷, — пишет он 24 апреля 1819 года своему другу Дугласу Киннэрду, довольно точно угадывая суть происшедшего. 27 апреля он узнает от своего издателя Джона Меррея об авторстве Полидори, с чьих слов редактору журнала (речь идет об Аларике Уоттсе) и стало известно о причастности Байрона к происхождению замысла «Вампира». В этом же письме сообщается, что не кто иной, как Генри Кольберн изъял редакторскую преамбулу (где разъяснялся истинный характер байроновского участия в создании повести) и представил «Вампира» читателям всецело как сочинение Байрона. В тот же день поэт направляет издателью парижского «Вестника Галиньяни» протестующее письмо, решительно отрицая свое авторство и даже какое-либо знакомство с содержанием пресловутой повести: «Если книга умна, было бы недостойно отни-

* Пер. В. Брюсова.

⁴⁷ Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. М., 1963. С. 161. — Пер. З. Александровой.

мать у подлинного автора, кто бы он ни был, его заслуги; если же нелепа, то я хотел бы отвечать только за собственную глупость, и ничью более. <...> Помимо всего прочего, я испытываю личное отвращение к „вампирам“, и весьма отдаленное знакомство с ними побуждает меня ни в коем случае не обнародовать их секретов»⁴⁸.

Полидори по настоянию байроновского друга Джона Кэма Хобхауза в открытом письме Кольберну, опубликованном в «Курьере» 5 мая, вынужден был публично рассказать об истинных обстоятельствах создания повести, имевшей неожиданно шумный успех. Тем временем Байрон получил от Меррея экземпляр «Вампира». «Нет надобности говорить, что он *не мой*», — констатирует он в письме своему издателю 15 мая. С этим же письмом он направляет Меррею сохранившийся у него набросок собственной повести, начатый в памятную ночь на вилле Диодати и оставшийся незавершенным, — дабы издатель сам мог оценить, «сколь она похожа на то, что издал м-р Кольберн»⁴⁹. Байрон позволяет Меррею напечатать ее — и 28 июня подлинная байроновская повесть, озаглавленная «Фрагмент» и датированная 17 июня 1816 года, публикуется под одной обложкой с поэмой «Мазепа» и «Одой Венеции».

Фабула байроновского «Фрагмента» (в современных изданиях нередко публикуемого под названиями «Погребение» или — как, например, в настоящей антологии — «Огаст Дарвелл») соответствует завязке «Вампира»: путешествие двух англичан в средиземно-

⁴⁸ The Works of Lord Byron. A New, Revised and Enlarged Edition, with Illustrations. Letters and Journals: In 6 vols. L., 1900. Vol. 4. P. 286—287. — Рус. пер. цит. по: Вацуро В. Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации. С. 42.

⁴⁹ Байрон Дж. Г. Дневники. Письма. С. 164, 165.

морские страны, во время которого один из них оказывается при смерти и берет со своего спутника торжественную клятву, что тот будет молчать о его кончине. Вампирическая природа Огаста Дарвелла нигде не явлена открыто (что формально подтверждает декларированное Байроном отсутствие интереса к этой теме), однако инфернально-демоническая суть его образа, обозначенная в тексте немногими выразительными штрихами, делает этого героя непосредственным предшественником лорда Рутвена. И все же различия двух произведений налицо. «Повествование Байрона энергично и стремительно; самый рассказ от первого лица увеличивает психологическое напряжение. Атмосфера таинственного и страшного спущается во „Фрагменте“ постепенно; воображение читателя скользит по тонкой грани между реальным и потусторонним. Это тот тип ведения рассказа, который называют суггестивным, подсказывающим, намекающим. Полидори попытался сохранить его — но успел лишь отчасти: он огрубил сюжет, выпрямил и упростил психологические характеристики; рассказ его, наполненный устрашающими приключениями, выглядит более затянутым и вялым, чем, казалось бы, почти лишенные внешних событий страницы байроновского „Фрагмента“»⁵⁰. Иначе говоря, отрывок Байрона по своей поэтике близок к традиционной «готической» прозе: в нем выведен «герой с суггестивно обозначенной, но не реализовавшейся окончательно в тексте сверхъестественной природой», а стиль и даже само заглавие напоминают о жанре «готического» фрагмента, который утвердился в английских журналах с 1770-х годов как специфическая форма короткого, сюжетно незавершенного повествования, призванного создавать атмосферу страха

⁵⁰ Вацуро В. Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации. С. 44.

и тайны⁵¹. Между тем «Вампир» скорее предсказывает более позднюю литературу «ужаса» (в частности, французскую «неистовую» словесность) с ее ориентацией на внешне броские, натуралистические, театрализованные эффекты и мелодраматические сюжетные ходы. Связанные друг с другом общими обстоятельствами возникновения и фабульными параллелями, произведения Байрона и Полидори тяготеют тем не менее к стадильно разным пластам «готической» литературы.

Появившись в печати, байроновский «Фрагмент» не вызвал к себе никакого интереса, хотя и был перепечатан в 1819 году издательством Галиньяни в качестве приложения к повести Полидори и разъяснением относительно авторства обоих произведений; разъяснение, однако, было внутри книги, а на титульном листе значилось: «Вампир, повесть высокочтимого лорда Байрона». В том же году вышли в свет два французских перевода повести (Анри Фабера и Амедея Пишо), также под именем Байрона и уже без каких бы то ни было пояснений. В 1819—1821 годах несколько разных переводов «Вампира» были опубликованы в Германии; именно как байроновскую знал эту повесть Гофман, предваривший свой безымянный рассказ (уже упоминавшийся нами выше) беседой «Серапионовых братьев» о «вампирическом Байроне»⁵². Во Франции перевод Фабера стал поводом для пространной рецензии писателя-романтика Шарля Нодье, расценивавшего появление подобной книги и ее успех у читателя как элементы «романтического рода» в литературе, ведущим представителем которого, разумеется, признавался Байрон. По словам рецензента, эта повесть «рекомен-

⁵¹ Вацуро В. Э. Готический роман в России. С. 506, 84.

⁵² Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 4, кн. 2. С. 400. — Пер. С. Шлапоберской.

дует себя читателям именем ее автора, известностью его путешествий, полных приключениями, его романтическим характером, его гениальностью. <...> *Вампир*, своей ужасной любовью, будет тревожить сны всех женщин⁵³; и вскоре, без сомнения, это чудовище, вышедшее из гроба, передаст свою неподвижную маску, свой замогильный голос, свой мертвенно-серый взор... Мельпомене бульваров — и тогда какой только успех не ждет его!»⁵⁴ Этому предсказанию помог сбыться сам Нодье — в феврале 1820 года при его содействии публикуется двухтомный роман Сиприена Берара «Лорд Рутвен, или Вампиры» (написанный, как ясно уже из названия, по мотивам повести Полидори), а вскоре Нодье, Ашиль Жоффруа и Пьер Франсуа Кармуш переделывают его в мелодраму, с огромным успехом представленную в июне на парижской сцене. В 1823 году восторженным зрителем этой постановки стал двадцатилетний Александр Дюма, впоследствии

⁵³ Согласно правдоподобному предположению ряда исследователей, именно к этим словам Нодье восходят знаменитые строки из третьей главы «Евгения Онегина»: «Британской музы небылицы / Тревожат сон отроковицы, / И стал теперь ее кумир / Или задумчивый Вампир, / Или Мельмот, бродяга мрачный, / Иль Вечный Жид, или Корсар, / Или таинственный Сбогар» (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 5. С. 52–53. — Курсив наш. — С. А.). Пушкин, по-видимому, знал «Вампира» во французском переводе Фабера. Первый русский перевод повести, сделанный с английского оригинала П. В. Киреевским, появился в 1828 году и содержал, помимо текста Полидори, «Фрагмент Байрона, заметки о вампиризме из «Нью мансли мэгэзин» и краткое резюме «Отрывка письма из Женевы», сообщавшее, что повесть о вампире — это устный рассказ знаменитого поэта, записанный по памяти его личным врачом; таким образом, массовый русский читатель изначально воспринимал «Вампира» как псевдобайроновское произведение.

⁵⁴ Цит. по: Измайлов Н. В. Тема «вампиризма» в литературе первых десятилетий XIX в. // Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию академика М. П. Алексева. Л., 1976. С. 514.

подробно описавший свои впечатления в мемуарах. След увлечения «Вампиром» легко обнаруживается и в его «Графе Монте-Кристо» (1844—1846), заглавный герой которого изображен в ряде сцен сквозь призму романтически интерпретированного вампиризма; более того, в этих сценах романа Монте-Кристо напрямую именуется лордом Рутвенем, причем это сравнение, подхваченное другими персонажами, принадлежит лично знавшей Байрона итальянской графине Г. (едва ли не намек на знаменитую возлюбленную поэта Терезу Гвиччиоли). «Байрон клялся мне, что верит в вампиров; уверял, что сам видел их; он описывал мне их лица... Они точь-в-точь такие же: черные волосы, горящие большие глаза, мертвенная бледность...»⁵⁵ — рассказывает графиня, «удостоверяя» личным опытом ставшую к тому времени устойчивой ассоциацию персоны Байрона с вампирической темой. Спустя еще пять лет Дюма в соавторстве с Огюстом Маке написал по мотивам «Вампира» Нодье—Жоффруа—Кармуша одноименную пьесу; эта «фантастическая драма в пяти актах и десяти картинах» была представлена на сцене театра «Амбигю комик» в декабре 1851 года. К тому времени, впрочем, вампиры уже основательно обжились и обустроились на подмостках французских и европейских театров: после триумфа инсценировки Нодье им посвящаются десятки пьес самых разных жанров — «готические» драмы, мелодрамы, фарсы, бурлески, водевили, оперные и балетные постановки, в которых активно применяются неожиданные технические изобретения, экзотические костюмы, грим, декорации и реквизит, всевозможные оптические эффекты и т. п. Их ниспровергают критики, полагая безнравственным представление на сцене подобных сюжетов и

⁵⁵ Дюма А. Граф Монте-Кристо: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 402. — Пер. Л. Олавской и В. Строева.

персонажей⁵⁶, — но восторженно принимает публика, жаждающая яркого, броского, зрелищного, провокационного и пугающего. Истории о вампирах, тем более рассказанные не с книжных страниц, а с театральных подмостков, предоставляют все это в избытке.

К тому времени, когда вампиры и вампиризм сделали модной темой европейской литературы и театрального репертуара, почти всех ее зачинателей, коротавших в 1816 году ненастные вечера на вилле Диодати, уже не было в живых. В 1817 году по дороге на Ямайку умер от желтой лихорадки Метью Грегори Льюис; в 1821 году, так и не вкусив литературной славы от изданного под чужим именем «Вампира», однако успев напечатать свой единственный роман «Эрнест Берчтольд, или Современный Эдип» (1819) (также задуманный и начатый памятным летом 1816 года), отправился Джон Полидори. В июле 1822 года в средиземноморском заливе Специя утонул Шелли, в апреле 1824 года в Греции лихорадка, ставшая причиной

⁵⁶ По поводу «Вампира» Нодье—Жоффруа—Кармуша один из рецензентов писал в 1820 году: «Лорд Рутвен хочет за кулисами изнасиловать или загрызть юную невесту, которая бежит от него через весь театр: можно ли назвать подобную ситуацию нравственной? <...> Вся пьеса косвенно представляет Бога как слабое или отталкивающее существо, которое оставило мир на растерзание духам ада». Спустя три десятилетия тон оценок не слишком изменился: в 1852 году критик Генри Морли высказался о представленном в Лондоне «Вампире» Диона Бусико следующим образом: «Против „старого доброго призрака“ никто не возражает. Однако оживший труп, который разгуливает в цивильной одежде... который каждые сто лет омолаживается, продлевая свою гнусную жизнь путем высасывания крови из молодой девушки после обольщения ее с помощью манипуляций, напоминающих пародийный вариант гипноза, и которого, несмотря на все его благоприобретенное долголетие, можно досрочно убить, дабы лунный свет снова вернул его к жизни, — при виде подобного пришельца с того света любому терпению приходит конец» (цит. по: *Саммерс М.* Указ. соч. С. 384, 409).

смерти Льюиса, пресекла и жизнь Байрона; сравнительно долго прожили лишь Мери Шелли и Клер Клермонт. Литературное состязание, участниками которого им довелось стать в молодости, постепенно уходило в прошлое вместе с вдохновившей его романтической эпохой; однако, как и порожденные им литературные произведения, оно со временем сделалось влиятельным элементом «готической» культурной мифологии, связующим вампирическую и франкенштейновскую парадигмы. Известное по дневникам, воспоминаниям и другим свидетельствам, чью надежность подчас невозможно проверить (как в случае с «Отрывком письма из Женевы», даже автор которого окончательно не установлен), и имеющее отчетливый — хотя, возможно, и не осознававшийся его участниками — металитературный смысл⁵⁷, это состязание в XX столетии превратилось в объект постмодернистской художественно-биографической игры. Знаменитый «готический» вечер на вилле Диодати по меньшей мере четырежды изображался на киноэкране, и если в классической «Невесте Франкенштейна» (1935) Джеймса Уэйла участники состязания представлены как вдохновенные гении романтизма, то в более поздних версиях они оказываются инициаторами безумного, фантасмагорического ночного действия, полного экстравагантных, эпатазирующих и жутких подробностей. Самой известной из этих киноверсий является «Готика» (1986) британского режиссера-поставангардиста Кена Рассела, иронически смещающая акценты традиционных, «правильных» жизнеописаний и изображающая Клер Клермонт истеричной, страдающей эпилепсией нимфоманкой, Мери Шелли — запуганной собственными и чужими страха-

⁵⁷ Сама ситуация затворничества молодых людей, развлекающих друг друга занимательными историями на загородной вилле, вполне очевидно проецируется на «Декамерон» Боккаччо.

ми невротичкой, Перси Шелли — визионером-безумцем и нарколептом, Полидори — морфинистом, закомплексованным неудачником и отвергнутым любовником Байрона, а самого Байрона (в роли которого демонически хмурится ирландец Гэбриел Бирн) — одержимым сексом и кровью вампиром. Действие фильма, включающее в себя и чтение «Фантасмагорианы», и вызывание духов, строится как вереница гротескных, пограничных между явью и сном эпизодов, фиксирующих постепенное погружение героев в кошмар, в темные глубины собственного подсознания. «Готика» демонстрирует намеренный отказ от каких бы то ни было претензий на правдоподобие и осуществляет игровой пересмотр знаменитых биографий, преломляя их сквозь призму литературных произведений, порожденных ими художественных мифов, скандальных околобиографических слухов о Байроне и его окружении, жанровых конвенций хоррор-кино и фирменных расселовских галлюцинаторных фантазий. Как и в других своих фильмах, режиссер проявляет здесь присущее ему незаурядное изобразительное мастерство (временами приводящее к явной избыточности стиля), искусно вплетая реальные факты и образы, запечатленные культурной памятью, в визуальную ткань картины⁵⁸. В аналогичной манере свободного оперирования фактами (хотя и не столь эпатажно) сделаны и другие киновариации на тему виллы Диодати — «Лето призраков» чешского эмигранта Ивана Пассера и «Грести по ветру» испанца Гонсало Суареса (оба фильма сняты в 1988 году).

⁵⁸ Так, в «Готике» «оживают» знаменитый «Ночной кошмар» (1781) Генри Фюзели, под влиянием которого, как предполагается, написана сцена смерти Элизабет Франкенштейн в романе Мери Шелли, и гротескное видение, представшее мысленному взору Перси Шелли во время декламирования Байроном отрывка из «Кристабели» Кольриджа, — обнаженные женские груди с глазами вместо сосков.

Не осталась в стороне от этого сюжета и позднейшая художественная литература. Едва ли есть смысл даже бегло упоминать на этих страницах его многочисленные отголоски в сочинениях различных авторов, но два сравнительно недавних примера представляются показательными для характеристики современного восприятия темы. «Тайная история лорда Байрона, вампира» (1995) английского писателя Тома Холланда, продолженная романом «Раб своей жажды» (1997), реанимирует образ демонического лорда, заданный некогда Полидори, открыто и, так сказать, программно, что ясно из самого названия книги; в изображении Холланда Байрон, волею судьбы ставший «императором вампиров», мучительно тяготится бременем своего бессмертия и тем проклятием, которое он навлек на собственный род. Сочинения Байрона и подробности его биографии, широко используемые Холландом, вплетены в извилистый двухвековой сюжет, в перипетиях которого то и дело без труда угадываются коллизии «Интервью с вампиром» Энн Райс (в «Рабе своей жажды», в свою очередь, привлекается материал «Дракулы» и даже присутствует Брэм Стокер в качестве одного из рассказчиков). Пресловутый «готический» вечер на швейцарской вилле предстает всего лишь проходным эпизодом в судьбе главного героя «Тайной истории...», уже вступившего на кровавую стезю вечной жизни, хотя все ключевые моменты этого вечера (разговор поэтов о «жизненном принципе», натолкнувший Мери на идею «Франкенштейна», чтение «страшных» рассказов, вышеупомянутое кошмарное видение Шелли) в описании Холланда сохранены.

Иное дело — роман молодого аргентинского прозаика Федерико Андахази «Милосердные» (1998). Вилла Диодати здесь — основное место действия, а литературное состязание и рождение «Вампира» — кульминационная точка повествования; более того, месяцы, прове-

денные знаменитой пятеркой в Швейцарии, автор называет «летом, изменившим развитие мировой литературы», а повесть Полидори — произведением, открывшим «новые горизонты», «краеугольным камнем» вампирического жанра. Импульсом к написанию этого романа, несомненно, стало своеобразное, связанное с ситуацией двойного авторства происхождение «Вампира», чья генеалогия, по словам писателя, является «всего лишь ключом, который позволяет сделать... невероятные открытия, имеющие отношение к самому понятию литературного отцовства»⁵⁹. Реализуя это обещание, автор «Милосердных» рассказывает гротескно-пародийную историю об экстравагантной сделке, которую прибывший в Швейцарию доктор Полидори заключает с таинственной и, как вскоре выясняется, монструозной Анеттой Легран, пишущей ему пространные письма. Обделенный талантом и мучительно завидующий дарованию и славе Байрона, презираемый и высмеиваемый всеми обитателями виллы, Полидори соглашается обменять свое мужское семя (в силу причудливой игры природы как воздух необходимое уродливой, крысopodobной Анетте и двум ее сестрам для продолжения собственного существования) на текст некоей повести, обнародовав которую под своим именем, он обретет чаемый литературный успех. Поразив насмешников своим «детищем» (каковым, разумеется, оказывается «Вампир») и мысленно приготовившись стать «щедрым и плодовитым начинателем новых творений слова, сколь загадочных, столь и великих», новоявленный «автор» вскоре испытывает жестокое разочарование: его «муза мрака» внезапно исчезает, а когда доктор находит ее опустевшее убежище, он обнаруживает ворох писем, из которых следует, что к гению Анетты Легран ранее прибегали — на

⁵⁹ Андахизи Ф. Милосердные. М., 2003. С. 215, 195, 11–12, 18. — Пер. М. Смирновой.

тех же условиях — и другие искатели литературной славы. Среди них — его наниматель лорд Байрон, создатель «Пиковой дамы», Шатобриан; Полидори находит также «три письма от некоего Э. Т. А. Гофмана, с полдюжины от какого-то Людвига Тика»⁶⁰. Шокирующее открытие подвергает байроновского секретаря в безумие, от которого ему не суждено очнуться до самой смерти.

«Милосердные» — как, впрочем, и «Тайная история...» Холланда — написаны человеком, почти наверняка смотревшим расселовскую «Готику» (и, похоже, скандально знаменитых «Уродцев» (1932) Тода Браунинга) и перенявшим продемонстрированные в ней принципы работы с романтическим культурным материалом. Подобно Расселу, Андахизи интегрирует этот материал в постмодернистское пространство раскованно-рискованной игры смыслами: буквализуя традиционную метафору творчества как *порождения* художественного произведения, он переводит «связь музыки и вдохновения со страстью... на гротескно-иронический язык сексуально-физиологических отправления. <...> Фаустинский пакт с дьяволом оборачивается пактом на сексуальное донорство, которое в качестве воздаяния обеспечивает творческое самовыражение писателя или поэта»⁶¹. Намеренно эпатажный в самом своем замысле и в ряде эпизодов напрямую смыкающийся с порнографическим дискурсом, роман Андахизи деконструирует метафоры и другие риторические фигуры романтизма (в том числе метафору вампиризма, очевидным аналогом которого выступают сексуальные коллизии книги), вскрывая и радикализируя их потаенные смыслы.

⁶⁰ Там же. С. 196, 210, 213.

⁶¹ Литвиненко Н. А. «Милосердные» Федерико Андахизи: Трансформация топосов романтизма // Романтизм: Искусство. Философия. Литература. (Материалы международной конференции). Ереван, 2006. С. 46, 47.

Другие

Недоброй красоты жестокая загадка
На колдовском лице читается у ней,
И в вас ее глаза, что скальпеля острой
И мягче бархата, вонзаются украдкой.
Скрыто в ней одной все зло миропорядка.
Она вампир, пленять умеющий людей,
А после кровь из них сосущий тем больней,
Что яд он точит с губ, когда целует сладко.

*Морис Роллина**

Ее стенанья яростны и грубы,
Ее глаза зловещи и унылы,
И страшны угрожающие зубы
На розоватом мраморе могилы.

Николай Гумилев

Ознаменовавший радикальный сдвиг вампирической парадигмы, «Вампир» Байрона/Полидори предопределил широкое распространение этой темы в европейских литературах. Вскоре после публикации рецензии на французский перевод этой повести Шарль Нодье выпустил в свет собственное произведение, в котором присутствуют вампирические мотивы, — прозаическую поэму «Смарра, или Ночные демоны» (1821). Стилизованный под античность и полный аллюзий на греко-римскую классику сюжет осложнен у Нодье реминисценциями южнославянского фольклора и мрачно-гротескными романтическими образами, создающими атмосферу гнетущего, неотступно преследующего человека страшного сна. Среди грезящихся повествователю фантастических чудовищ властвует Смарра — злой дух, демон кошмара. В описании Полемона, одного из героев поэмы, это существо подчеркнуто нечеловеческой, inferнально-хтонической природы, напоминающее инку-

* Пер. Ю. Корнеева.

ба средневековой демонологии, в котором вместе с тем различимы черты и повадки вампира: «...он... раскрывает диковинно изрезанные крылья, взмывает вверх, падает вниз, раздувается, съеживается и, вновь сделавшись мерзким карликом, сияющим от радости, вонзает мне в сердце тонкие стальные когти, с коварством пиявки пьет мою кровь, разбухает, поднимает огромную голову и хочет». В дальнейшем вполне вампирическое действо — также с участием Смарры — засвидетельствовано и самим рассказчиком: «Шрам Полемона сочился кровью, а Мероя, хмелея от наслаждения, вздымала над головами алчущих подруг растерзанное в клочья сердце солдата, только что вырванное из его груди. Она отнимала, отвоевывала это сердце у жадных до крови ларисских дев. Отвратительную добычу царицы ночных ужасов охранял быстrokрылый Смарра, паривший над нею с грозным свистом. Сам он лишь изредка прикасался кончиком своего длинного хоботка, закрученного, как пружина, к кровоточащему сердцу Полемона, дабы хоть на мгновение утолить мучившую его нестерпимую жажду...»⁶² Вампиризм наряду с другими «ужасами» предстает в «Смарре» порождением ночных кошмаров, которые носят откровенно литературный, условно-игровой характер: заметим, что в первом издании книга мистификаторски представлялась читателю как «романтические сновидения, переведенные со словенского графом Максимом Оденем» (очевидная анаграмма фамилии Нодье), а в предисловии к изданию 1832 года писатель, раскрыв свое авторство, определил «Смарру» как «целтон, пастиш классиков», «вымысел Апулея, украшенный... розами Анакреона»⁶³.

⁶² *Нодье III*. Смарра, или Ночные демоны // *Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIX веков*. С. 97, 104. — *Пер. В. Мильчиной*.

⁶³ Там же. С. 81.

В подобном «сновидческо-литературном» ключе тема вампиризма решена и у другого французского романтика и родоначальника декаданса — Теофиля Готье, перу которого принадлежит новелла «Любовь мертвой красавицы» (1836), включенная в настоящую антологию. История священника Ромуальда, влюбившегося в куртизанку-вампиришу, охватывает трехлетний период, в продолжение которого герой новеллы ведет двойную, «сомнамбулическую» жизнь: днем он скромный и набожный кюре, проводящий время в покаянных молитвах и умерщвлении плоти во французской глуши, ночью же — светский щеголь, богатый и знатный любовник обольстительной Кларимонды, живущий в ее огромном дворце в Венеции и, сам того не подозревая, жертвующий ей свою кровь, которая продлевает ее посмертное существование. «То я казался себе священником, которому каждую ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность. Молодой господин, щеголь и распутник, насмехался над священником; священнику были отвратительны выходки молодого распутника. Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались, — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил». В этой части новеллы налицо повествовательная неопределенность, которая, как уже говорилось ранее, характерна скорее для рассказов о привидениях, но на которой, однако, нередко играют и авторы историй о вампирах, создавая в тексте пресловутый «эффект фантастического»: читатель (вслед за рассказчиком, чьей точке зрения он вынужден доверяться) колеблется в выборе одной из возможных версий происходящего. Финал повествования, впрочем, кладет конец всем колебаниям: аббат Серапион, покро-

витель и духовный наставник Ромуальда, приводит героя на кладбище, вскрывает могилу, в которой похоронена Кларимонда, и окропляет гроб и тело вампирши святой водой; труп рассыпается в прах, а герой избавляется от мучительно-сладкого наваждения, которому долгое время была подчинена его жизнь.

«Любовь мертвой красавицы», несомненно, многим обязана предшествующей «готической» литературе — в частности произведениям Жака Казота («Влюбленный дьявол», 1772), Гофмана («Эликсиры сатаны», 1815—1816, «<Вампиризм>», 1821), Полидори («Вампир») и, конечно, рассказам и повестям соотечественников и современников Готье, так или иначе касавшимся темы вампиров («Обаяние» (1831) Самюэля-Анри Берту, «Паола» (1832) Жака Буше де Перта и др.). Как и в повести Полидори, вампирическое представлено в новелле Готье в аристократическом облачении и напрямую соотнесено с эротическим началом; оно выступает источником и одновременно объектом опасной, губительной, но неодолимой страсти, при которой «между вампиром и его жертвой возникает связь садомазохистского характера»⁶⁴ (Ромуальд, даже узнав тайну Кларимонды, не в силах заставить себя разлюбить ее и готов «по доброй воле отдать ей всю кровь, которая... нужна, чтобы поддержать ее призрачное существование»). Наследуя «Влюбленному дьяволу» (любовно-авантюрный сюжет которого вращается вокруг таинственной героини явно инфернального происхождения), Готье одним из первых в европейской литературе изображает вампира-обольстителя в *женском* обличье⁶⁵ —

⁶⁴ *Мариньи Ж.* Дракула и вампиры: Кровь за кровь. М., 2002. С. 70. — *Пер. Г. Цареградского.*

⁶⁵ Несомненными предшественниками Готье в этом смысле являются Кольридж — автор «Кристабели» и Буше де Перт — автор «Паолы», а непосредственным преемником во французской литературе — Шарль Бодлер, написавший стихотворение «Мета-

и тем самым открывает путь устойчивому культурному образу и речевому клише «женщина-вамп». Кларимонда в описании Ромуальда предстает воплощением опасной хтонической женской природы (ср. финальное предостережение героя: «Никогда не подымайте глаз на женщину... ибо, как бы ни были вы целомудренны и спокойны, достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять вечность»), а связь с нею воспроизводит архетипический сюжет о *потустороннем браке*, широко распространенный в жанре баллады и в «готической» прозе⁶⁶, где он неизменно сопровождается амбивалентным психологическим комплексом ужаса/наслаждения.

Почти одновременно с Готье тему мертвой возлюбленной, с угадываемыми за ней вампирическими смыслами, разрабатывает американский романтик Эдгар Аллан По, публикующий в 1835 году первый вариант новеллы «Береника», которая открывает авторскую серию повествований о возвращающихся к жизни покойниках (за «Береникой» последуют «Морелла» (1835), «Лигейя» (1838), «Элеонора» (1841)). Вампирическое не явлено в новелле открыто: По обходится намеками и полунамеками, вводя тему загадочной «роковой болезни», вследствие которой заглавная героиня до неузнаваемости переменилась, причем Эгея (рассказчика истории, кузена и жениха Береники) более всего ужа-

морфозы вампира» (ок. 1852, опубл. 1857), отдельные строки которого читаются как парафраз сюжетных коллизий «Любви мертвой красавицы»: «Я в ужасе закрыл глаза и содрогнулся, / Когда же я потом в отчаянье очнулся, / Увидел я: исчез могучий манекен, / Который кровь мою тайком сосал из вен; / Полураспавшийся скелет со мною рядом, / Как флюгер, скрежетал, пренебрегая взглядом, / Как вывеска в ночи, которая скрипит / На ржавой жердочке, а мир во мраке спит» (*Бодлер III. Метаморфозы вампира // Бодлер III. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. М., 1993. С. 159. — Пер. В. Миклушевича*).

⁶⁶ См. подр.: *Зенкин С. Н. Французская готика: В сумерках наступающей эпохи. С. 11–13.*

сает подмена самой сущности его некогда «стремительной, прелестной», «беззаботно порхавшей по жизни» невесты. Портрет угасающей жертвы этой подмены разительно напоминает описания призраков и выходцев с того света в «готических» романах: «Была ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышались? Я не мог решить. <...> Вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры... не выдавала прежней Береники. <...> Лоб ее был высок, мертвенно бледен... Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы». «Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!» — признается рассказчик. Автор никак не объясняет суть произошедшей подмены, но одна чрезвычайно выразительная деталь позволяет интерпретировать недуг героини как превращение в вампиришу в результате вампирского укуса: эта деталь — «зубы преобразенной Береники», «длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ», характерные вампирические зубы, в которых герой-рассказчик видит потенциальную угрозу для себя и которые становятся объектом его болезненной мании. Эгей страстно мечтает заполучить эти зубы, возымевшие над ним «страшную власть», ибо убежден, что только это может «восстановить мир» в его расстроенной душе. Когда Береника после очередного странного припадка впадает в «транс, почти неотличимый от смерти», и признается окружающими умершей, герой тайком пробирается к ее могиле и вырывает из ее рта «тридцать две маленькие, словно выточенные из слоновой бивня кос-

тяшки». Эгей «присваивает кошмарный фетиш»⁶⁷, сам пребывая в состоянии транса: «он пассивно подчиняется собственным экстремальным эмоциям и позднее отстраняется от них провалом в памяти»⁶⁸.

Экстравагантная фобия героя-рассказчика «Береники», подсказанная печатными источниками⁶⁹ и приоткрывающая «вампирический» подтекст новеллы, в XX веке стала благодатным материалом для психоаналитических интеллектуальных построений. Его фиксация на зубах прочно увязывается интерпретаторами с мужским страхом перед женской сексуальностью, в частности, с описанным Фрейдом инфантильным комплексом кастрации, воплощаемым в известном мифологическом мотиве *vagina dentata*, или зубастой вагины⁷⁰. С другой стороны, преобразование облика Береники, открывающее за ее «загадочной улыбкой» «жуткое белое сияние ее зубов», иллюстрирует визуальную и *гендерную двусмысленность*

⁶⁷ Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зрения). М., 2001. С. 98.

⁶⁸ Палья К. Указ. соч. С. 729. — Пер. Л. Сахановой.

⁶⁹ Согласно разысканиям исследователей и комментаторов прозы По, вероятными источниками дентального мотива «Береники» явились входящая в «Фантасмагориану» повесть «Голова смерти», опубликованный в «Нью-Йорк миррор» 6 апреля 1833 года рассказ «Случай из жизни дантиста» и заметка об осквернителях могил, похищавших по заказу медиков зубы покойников, напечатанная в газете «Балтимор сэтэдей визитер» 23 февраля 1833 года (см.: *Forclaz R. A Source for «Berenice» and a Note on Poe's Reading* // *Poe Newsletter*. 1968. Vol. 1, № 2. P. 25). Кроме того, этот мотив рассматривается и как плод метафорической трансформации чужого образа: «„Береника“ По отсылает к „Беренике“ Катулла, чьи локоны были превращены Афродитой в созвездие. Похищение волос у Катулла превращается в вырывание зубов у По, арабеска локонов причудливым образом проецируется... на неровности зубов Береники» (Ямпольский М. О близком. С. 93).

⁷⁰ См., напр.: *Bonaparte M. Psychoanalytic Interpretations of Stories of Edgar Allan Poe* // *Psychoanalysis and Literature*. N. Y., 1964. P. 24–25.

вампирского рта, который, «поначалу соблазняя своей манящей приоткрытостью, обещанием розовой мягкой плоти, но вместо этого обнажая острые клыки, приводит в оторопь, смешивая гендерно определенные категории пенетрации и ее принятия» и тем самым *«проблематизируя различие мужского и женского»*⁷¹. В таком прочтении «стоматологическое» варварство героя новеллы может быть понято как подсознательное стремление избежать «распятия на фаллических зубах»⁷² вампира — зубов, по словам самого Эгея, «исполненных смысла» (традиционно отождествляемого в западной культуре с *мужским* началом) и жажды власти, — и вновь обрести свою пошатнувшуюся гендерную идентичность.

Еще более подходящий материал для подобных построений — повесть «Кармила» (1871–1872) Джозефа Шеридана Ле Фаню, автора многочисленных «готических» рассказов и романов, которого современники называли «ирландским Эдгаром По». В «Кармилле», в отличие от «Береники», вампирическое и эротическое начала открыто явлены в тексте и представлены в очевидной взаимосвязи. За четверть века до выхода в свет первых психоаналитических работ и возникновения самого термина «психоанализ» Ле Фаню устами рассказчицы истории — юной невинной Лоры — фиксирует наличие в человеческой натуре «подавленных инстинктов и эмоций» и изображает их «внезапные проявления» в облике и поведении загадочной Кармиллы. Типовая, восходящая еще к Полидори сюжетная схема (серия реинкарнаций неупокоенного вампира, появляющегося в разных местах и временах под разными именами и осуществляющего совращение все новых неопыт-

⁷¹ *Craft Ch.* «Kiss Me with Those Red Lips»: Gender and Inversion in Bram Stoker's «Dracula» // *Speaking of Gender*. N. Y., 1989. P. 231. — Курсив наш. — С. А.

⁷² *Палья К.* Указ. соч. С. 728.

ных душ) осложняется здесь тем, что и вампир, и жертвы вампира — женского пола: развивая эротические коннотации темы вампиризма, автор «Кармиллы» приносит в нее отчетливо различимый в повествовании мотив лесбийского сексуального влечения. Рассказчица периодически становится объектом странного «томного обожания», «загадочного возбуждения» и «страстных заверений в любви» со стороны своей новой подруги. «Иногда... моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опало в такт бурному дыханию, — рассказывает Лора. — Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке. Она шептала, почти рыдая: „Ты моя, ты должна быть моей, мы слились навеки“». Выказывая чувства, напоминающие «пыл влюбленного», Кармилла демонстрирует характерное для лесбийской сексуальности смещение гендерной роли, которое провоцирует рассказчицу на противоречивые, пугающие ее саму размышления о непонятной «мужественности» ее подруги. Повесть Ле Фаню, как неоднократно отмечалось в литературоведении, имеет своими несомненными источниками «Кристабель» Кольриджа⁷³, развивающую сходный мотивно-тематический комплекс⁷⁴, а также реальную историю венгерской графини Батори, в начале XVII века предавшей мученической смерти в своем замке Сейте сотни юных девушек, кровью которых она надеялась

⁷³ См., в частности: *Nethercot A. H. Coleridge's «Cristabel» and Le Fanu's «Carmilla» // Modern Philology. 1949. Vol. 47, № 1. P. 32–38.*

⁷⁴ См. подр.: *Палья К. Указ. соч. С. 397–435 (гл. 12. Демон как лесбийский вампир: Кольридж).*

омолодить собственное стареющее тело⁷⁵. Вместе с тем очевидно, что провокационный и девиантный эротизм «Кармиллы» обращен к современной автору *Викторианской эпохе* — это открытый вызов ее пуританским условиям, ее жесткому, обезличивающему, подавляющему человеческую сексуальность (в особенности женскую) морально-поведенческому кодексу. Вампир у Ле Фаню (и, немного позднее, у Стокера, чей роман содержит ряд очевидных параллелей «Кармилле») выступает, таким образом, нарушителем сложившегося социального порядка, вскрывающим конвенциональность, относительность, мнимую естественность последнего. Соответственно, против него ополчаются представители властных и общественных институтов, рассматривающие его не только как «нечисть», создание, противное Богу и людям, но и как преступный элемент, подлежащий искоренению⁷⁶. Тем самым вампир оказывается включен в систему уголовного судопроизводства⁷⁷ — то есть вписан в те социальные структуры, подрывом которых грозило

⁷⁵ История «кровавой графини» не раз становилась сюжетом вампирских фильмов, однако более других известно ее переложение в «Аморальных историях» (1974) В. Боровчика, акцентирующее не столько вампирические, сколько лесбийские ее аспекты.

⁷⁶ Дракула в книге Стокера совсем не случайно аттестуется как «преступник и преступный тип», чей «интеллект недостаточно развит», — с прямым упоминанием итальянского психиатра и криминалиста Чезаре Ломброзо, который в 1870-е годы разработал теорию «преступного типа», предполагающую биологическую предрасположенность некоторых людей к преступлениям. См.: Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 451. — Пер. Т. Красавченко.

⁷⁷ Ср. в «Кармилле»: «Если чего-нибудь стоят *свидетельские показания, принесенные по всей форме, в торжественной обстановке, в соответствии с судебной процедурой, перед бесчисленными комиссиями из множества членов, известных своей честностью и умом, составивших такие объемные отчеты, каких не удостоился ни один другой предмет*, — если все это чего-нибудь стоит, тогда трудно отрицать существование такого феномена, как вампиризм, трудно даже сомневаться в нем» (курсив наш. — С. А.).

его явление в цивилизованный мир. Эта *принудительная социализация* (пусть и негативная) — едва ли не более красноречивое свидетельство его поражения, чем вбитый в грудь кол или сожженный труп.

Экзистенциальная стратегия самого вампира отнюдь не предполагает интеграции в сложившиеся структуры человеческого общежития (по крайней мере, на этом — классическом — этапе бытования образа): собственная необыкновенная природа толкает его на формирование общности иного, не-социального порядка, которую уже цитировавшийся нами петербургский философ А. Секацкий именует *вампирионом*. Сказанное может быть отнесено и к пресловутой сексуальности этого персонажа: завораживающий эротизм и повадки обольстителя, присущие вампиру, вовсе не означают, что в его неустанных поисках новых жертв присутствует собственно сексуальная подоплека. Распространенное истолкование вампирской жажды крови как проявления либидо выдает скорее мазохистскую фантазию жертвы, чем истинную цель агрессора: последний лишь *мимикрирует* под героя-любownika, чтобы удовлетворить *иную страсть*⁷⁸. Об этом прямо сказано в финале «Кармиллы»: «Эта страсть *напоминает* любовь. Следуя за предметом своей страсти, вампиру приходится проявлять неистощимое терпение и хитрость, потому что доступ к тому может быть затруднителен из-за множества различных обстоятельств. Вампир никогда не отступает, пока не насытит свою страсть... он с утонченностью эпикурейца будет лелеять и растягивать удовольствие и умножать его, прибегая к приемам, *напоминающим* постепенное искусное ухаживание» (курсив наш. — С. А.). Конечно, не следует игнорировать отмеченную еще психологами первой

⁷⁸ Ср.: «Сатанинские соблазны вампира сопровождаются *ложным* сексуальным романом» (Палья К. Указ. соч. С. 416. — Пер. А. Севастеенко. — Курсив наш. — С. А.).

половины XIX века (и спустя столетие истолкованную в психоаналитическом ключе учеником Фрейда Эрнестом Джонсом в работе «О ночных кошмарах» (1931)) связь между сексуальными эмоциями и кровью; весьма возможно, что утоляющий жажду вампир действительно должен испытывать «оргазмическое возбуждение сознания»⁷⁹. И все же необходимо помнить, что речь идет об экстраординарном существе, чьи бытийные стратегии, психофизиологические параметры и поведенческие мотивации принципиально отличаются от человеческих. Соответственно, корректнее говорить о *визуальном сходстве* эротического и вампирического, обусловленном мимикрией монстра под обыкновенного смертного (случай Рутвена, Кларимонды, Кармиллы, Дракулы etc.), об *ассоциации*, порожденной фантазиями потенциальной жертвы (случай Эгея, Лоры, Люси Вестенра в «Дракуле»), о *ситуативном совпадении*, которое, однако, не может быть абсолютным: по меткому наблюдению арт-критика П. Пепперштейна, вампирский жанр возникает в результате визуальной *замены* Ромео Дракулой, а поцелуя укусом⁸⁰ — замены, мгновенно превращающей буадурную мизансцену в постер хоррор-фильма.

Единственная «любовь», которой способен одарить человека вампир, — это, по словам героини Ле Фаню, «любовь, отнимающая жизнь», реализуемая в акте кровавой инициации и ведущая «через смерть и дальше». Смысл этого «дальше» Кармиллой не поясняется, однако понятно, что оно предполагает особый *modus vivendi*, который опровергает естественный ход вещей, отрицает привычный бытийный порядок. Врач, исследующий случаи таинственных, смертельных заболеваний в местах, где разворачивается действие повести, глубокомысленно

⁷⁹ Там же. С. 422.

⁸⁰ См.: Пепперштейн П. Труп и машина // Дозор как симптом: Культурологический сборник. М., 2006. С. 247.

замечает, что «жизнь и смерть — состояния загадочные, и нам мало что известно о том, какие они таят в себе возможности». Эти возможности и реализует уникальная природа вампиров — опасно-притягательных *Других*, ведающих пограничное между жизнью и смертью, метафизически парадоксальное существование.

Одиночество крови

«Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным).

Аркадий и Борис Стругацкие

И тут я увидел нечто, что пронзило меня ужасом до глубины души. Предо мной лежал граф, но наполовину помолодевший, седые волосы и усы его потемнели. Щеки казались полнее, а на белой коже светился румянец; губы его были ярче обыкновенного, так как на них еще виднелись свежие капли крови, капавшие из углов рта и стекавшие по подбородку на шею... На его окровавленном лице играла ироническая улыбка, которая, казалось, сведет меня с ума.

*Брэм Стокер**

Именно Брэм Стокер (в лице своего персонажа профессора Абрахама Ван Хелсинга) открыл традицию именовать вампира красиво и загадочно звучащим румынским словом «носферату», прижившимся ныне в посвященных вампирской теме текстах. Это слово, заимствованное автором «Дракулы» из книги Эмили Джерард «Страна за лесами» (1888) и впоследствии ставшее названием двух известнейших экранизаций романа, буквально означает «неумерший» и в сочетании

* Пер. Н. Сандровой.

с русским существительным «нежить» как нельзя лучше характеризует двойственный экзистенциальный статус вампира. В общепринятом биологическом смысле вампир — каким его изображает Стокер, выступивший канонизатором жанра, — действительно *не жив и не мертв*; можно сказать, что он являет собой особую форму органической жизни, режимы существования которой внешне и впрямь напоминают человеческие состояния «живого» и «мертвого», но на самом деле лишь маскируют иную, *нечеловеческую витальность*. А. Секацкий, предпринявший недавно весьма любопытную попытку задать контуры «общей вампирологии как метафизической дисциплины» (с опорой на аналогичные штудии Джелала Туфика⁸¹), замечает по этому поводу: «Вампир, пребывающий в анабиозе или в „жизни“ (среди нас), в известном смысле мертв по отношению к своему активизированному состоянию. Гроб в данном случае представляет собой метафору, доведенную до уровня видеоряда»⁸². Однако явственно расслышанная пульсация живой крови, в которой проявляет себя похожий на шум океана первичный зов бытия, немедленно пробуждает «спящее» естество вампира, иницируя его экспансию в человеческий мир.

Эта вампирическая *сверхвитальность*, существующая в режиме постоянных «приливов» и «отливов», в корне отличается от анимации трупа, изображаемой в старинных историях об упырях и в повествованиях о зомби. Как справедливо отмечает А. Секацкий, это отличие недостаточно отрефлектировано в современном массовом сознании: вампир и оживающий (в силу тех или

⁸¹ См.: *Toufic J. Vampires: An Uneasy Essay on the Undead*. Barrytown, N. Y., 1993 (второе, переработанное и дополненное издание: *Toufic J. Vampires: An Uneasy Essay on the Undead in Film*. Sausalito, CA, 2003).

⁸² *Секацкий А.* Указ. соч. С. 129, 156.

иных *внешних* причин) покойник воспринимаются порой как аналогичные друг другу проявления «нечисти»; виной тому, конечно, ситуативное сходство — «вампиру иной раз случается полежать в гробу, а мертвец, в свою очередь, норовит покусать первого встречного»⁸³. На деле они, безусловно, являются непримиримыми антагонистами, и обилие фильмов, сюжеты которых строятся по схеме «вампиры vs. зомби» (всевозможные «дракулы против франкенштейнов» и т. п.), — красноречивое тому подтверждение. То же самое можно сказать и о взаимоотношениях фольклорного упыря и современного вампира. Автору «Кармиллы» удалось изящно совместить черты этих разновременных фигур в пределах одного образа (финал повести, где описано истребление вампирши, напрямую восходит к народным поверьям и трактатам о «кровососущих мертвецах», в частности к книге Огюстена Кальме), однако уже Стокер решительно заменяет вампирологию старого, «просветительского» образца на новую, соответствующую идеям, открытиям и фантазмам поздневикторианской эпохи. (Заметим, кстати, что писатель переводит румынское «носферату» именно как «неумерший» («Un-Dead»⁸⁴), и потому передача его словом «упырь» или словосочетанием «живой мертвец» в появившихся недавно новых переводах романа на русский язык никак не может быть признана удачной⁸⁵ — первое искусственно архаизирует тему,

⁸³ Там же. С. 155.

⁸⁴ *Stoker B. Dracula* / Ed. with an Introduction and Notes by M. Ellmann. Oxford; N. Y., 1998. P. 201ff.

⁸⁵ См.: *Стокер Б. Дракула*. М., 1993. С. 225 и сл. — *Пер. А. Биргера, А. Зверева, Е. Грабарь, Н. Прокунина*; *Стокер Б. Дракула*. М., 2005. С. 299 и сл. — *Пер. Т. Красавченко*. В классическом дореволюционном переводе Н. Сандровой, при всех его вольностях и неточностях, природа Дракулы и его жертв передана лексически более адекватно: они последовательно именуются «немертвыми» (*Стокер Б. Дракула* // *Стокер Б. Граф Дракула, вампир: Романы, рассказы*. М.; СПб., 2004. С. 211 и сл.).

а второе стирает отмеченную выше разницу между фигурами вампира и зомби.) В постстокеровских вариациях жанра фольклорный образ если и используется, то, как правило, в подчеркнуто реминисцентной функции — как рудимент ушедшей в прошлое традиции, как отгосок случайно выплывшего из тьмы веков предания (исключая, конечно, случаи стилизации повествования под старину, когда легенды и поверья по необходимости представлены сохраняющими культурно-мировоззренческую актуальность). Показателен один из эпизодов знаменитого «Интервью с вампиром» Энн Райс, в котором новоорлеанские урбанизированные вампиры Луи и Клодия, направляясь в Трансильванию, сталкиваются со своим «культурным предком» — упырем восточноевропейского фольклора, решительно отказывающимся признать в них сородичей: «С... криком вампир ринулся на меня, дыша зловонием. <...> Мы долго катались по земле, наконец я подмял его под себя, и луна осветила монстра: огромные глаза, выпирающие из голых глазниц, два маленьких отвратительных отверстия вместо носа, разлагающаяся кожа, обтягивающая череп, противные, гнилые, толстые от грязи, слизи и крови лохмотья, висающие на скелете. Я тяжело дышал. Я понял, что боролся с бессмысленным трупом, с ожившим мертвецом. <...> Откуда-то сверху в лоб ему ударил острый камень, брызнул фонтан крови. Он еще пытался сопротивляться, но следующий камень опустился с такой силой, что было слышно, как затрещали кости. <...> Я не сразу понял, что Клодия стоит коленями на груди вампира и рассматривает смесь волос и костей, которая некогда была его головой. Она отбрасывала в сторону куски черепа. Так мы повстречались с европейским вампиром, представителем Старого Света. И он был мертв»⁸⁶. Послед-

⁸⁶ Райс Э. Интервью с вампиром. СПб.; М., 2007. С. 217–218. — Пер. М. Литвиновой-мл. — Курсив наш. — С. А.

няя фраза как будто помимо авторской воли вызывает к иносказательному прочтению: встреченный американцами трансильванский вурдалак мертв не только сюжетно, будучи убит Клодией, но также *культурно* (он есть порождение отжившей традиции) и *экзистенциально* (он всего лишь «оживший мертвец» — в противовес ведущим инобытийное существование «неумершим»).

Новая мифология вампиризма, которую утверждает на страницах своей книги Стокер, существенно расширяет круг вампирских свойств и возможностей, заданный предшествующей литературной традицией и долгое время пребывавший без сколь-либо значительных изменений. Дракула в изображении его создателя «может уменьшаться и увеличиваться в размерах, внезапно исчезать и являться невидимым», «не отбрасывает тени, не отражается в зеркале», умеет «напускать вокруг туман», «может, единожды проложив себе путь, проникать куда угодно и свободно выходить откуда угодно, даже если это запертые на замок помещения или герметически запаянные емкости»⁸⁷. Это, впрочем, не означает близости его природы к природе привидений: в отличие от авторов XIX века, нередко игравших на эффекте «романтической» неопределенности между духами и вампирами (Готье в «Любви мертвой красавицы», отчасти Ле Фаню в «Кармилле», где сказано, что вампиры подчиняются «определенным законам мира призраков»), Стокер представляет упомянутые способности Дракулы как *магически обусловленные* черты существа, в *телесности* которого нет никаких сомнений. Дракула умеет быстро перемещаться по отвесным стенам и видеть в темноте, «может в некоторой степени управлять стихиями: бурей, туманом, громом»⁸⁸, его воле повинуются всевозможные хищные твари и птицы: волки, крысы, совы, летучие мыши. Он наделен свойствами оборотня и спосо-

⁸⁷ Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 334, 336, 337.

⁸⁸ Там же. С. 334.

бен к различным «зооморфным проекциям»⁸⁹ самого себя, среди которых также присутствуют волк и летучая мышь (впоследствии вошедшие в иконографию жанра). Не исключено, что идея подобных трансформаций вампира подсказана финальной сценой повести Ле Фаню (кстати, хорошего знакомого Стокера), где описывается — впрочем, крайне лапидарно — «мгновенная жуткая метаморфоза», во время которой «черты Кармиллы преобразились, превращаясь в звериные».

Роман Стокера, таким образом, очевидно задает новые принципы изображения вампира, видоизменяет парадигму репрезентации, представляя читателю полиморфный образ, который, несомненно, предсказывает грядущую визуальную роскошь кинематографических спецэффектов (сполна продемонстрированную в кополовской экранизации 1992 года). Стокер не дожил до появления даже первой киноверсии «Дракулы» (снятой ровно за 70 лет до картины Копполы), что, однако, нисколько не отменяет уже отмеченной нами символичности выхода книги в свет на заре эры кино: новый мифологический герой родился почти одновременно с новым видом искусства, в котором ему предстояло сполна проявить свое уникальное мастерство перевоплощения. (Укажем и на еще одно любопытное сближение дат: в год, предшествовавший появлению романа Стокера, был снят первый фильм о вампирах — трехминутная лента французского пионера кино Жоржа Мельеса «Замок дьявола» (1896), изображавшая превращение летучей мыши в inferнальное существо⁹⁰.) На потенциально киногоеничную

⁸⁹ Морозова Ф. Дракула и Стокер: двойной портрет в рамке мифа // Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 579.

⁹⁰ Именно с этой короткометражной ленты отсчитывают фильмографию жанра сегодняшние историки кино. См.: Flynn J. L. Cinematic Vampires. The Living Dead in Films and Television from «The Devil's Castle» (1896) to «Bram Stoker's „Dracula“» (1992). Jefferson, NC, 1992.

образность романа, безусловно, оказали влияние зрелищные установки европейского театра с его обилием сценических вариаций вампирской темы: многолетний стокеровский опыт работы театральным менеджером, подразумевающий знание репертуара, принципов визуальной и технической организации спектаклей, приемов актерской игры, законов зрительской психологии и прочих аспектов сценического искусства, с очевидностью проступает в поэтике его книги. Образная близость романа театральному действу, наряду с профессиональной принадлежностью автора к миру театра, обусловила почти немедленное появление Дракулы на сценических подмостках: на волне оглушительного успеха книги Стокер в рекордно короткие сроки написал по ее мотивам пьесу «Дракула, или Неумерший», премьера которой состоялась 15 мая 1897 года в театре «Лицеум»; спектакль, впрочем, настолько не понравился Генри Ирвингу (знаменитому актеру, директору театра и работодателю Стокера), что был сыгран всего один раз и затем снят с репертуара. Позднее, уже после смерти автора романа, Хэмилтоном Дином была осуществлена другая сценическая адаптация «Дракулы», с успехом прошедшая в 1927 году в английских и американских театрах⁹¹. В бродвейской постановке главную роль впервые исполнил американский актер венгерского происхождения Бела Лугоши, впоследствии сделавшийся «патентованным» вампиром голливудского кино 1930—1940-х годов (и даже по смерти не сумевший выйти из образа: в 1956 году, согласно собственному завещанию, он был похоронен в плаще Дракулы, ставшем своего рода символом его артистического имиджа).

⁹¹ О театральных адаптациях романа см.: Skal D.J. «His Hour upon the Stage»: Theatrical Adaptations of «Dracula» // Stoker B. Dracula. Authoritative Text. Contexts. Reviews and Reactions. Dramatic and Film Variations. Criticism / Ed. by N. Auerbach and D. J. Skal. N. Y.; L., 1997. P. 371—381.

Одним из краеугольных камней созданной Стокером новой мифологии вампирического явилась сама Трансильвания, или «страна за лесами», которая считается сегодня — благодаря «Дракуле» и его многочисленным культурным «отражениям» — едва ли не родиной мирового вампиризма; между тем исторический прототип главного героя книги, живший в XV веке Влад Дракула, получивший за свою беспримерную жестокость прозвище Цепеш (Колосажатель), был, как известно, правителем не Трансильвании, а сопредельной области Валахия, располагавшейся на юге современной Румынии⁹². Изначально же, на ранней стадии работы над романом, действие и вовсе разворачивалось в австрийской провинции Штирия; отголосок этого замысла ощущается в исключенной из текста книги главе, которая не публиковалась при жизни Стокера и была напечатана его вдовой в 1914 году в качестве самостоятельного произведения. Безымянный повествователь и главный герой этого рассказа (давшего название настоящей антологии) — это, конечно, романный «гость Дракулы» Джонатан Харкер. В силу собственной опрометчивости он оказывается в Вальпургиеву ночь возле гробницы некоей графини Долинген из Граца, Штирия и при свете молнии видит внутри усыпальницы «красивую женщину с округлым лицом и ярко-красными губами»; упоминание Штирии и Граца, — вероятная отсылка к месту действия «Кармиллы» Ле Фаню. Думается, окончательный выбор

⁹² Об историческом Владе Дракуле подр. см.: *Florescu R., McNally R. In Search of Dracula: A True History of Dracula and Vampire Legends.* L., 1972; *Idem. Dracula: A Biography of Vlad the Impaler, 1431–1476.* N. Y., 1973. Избранные главы первой из этих книг переведены на русский язык: *Флореску Р., Макнелли Р. Т.* В поисках Дракулы: Подлинная история Дракулы и преданий о вампирах (фрагменты из книги) // *Стокер Б. Дракула.* М., 2005. С. 590–639. — *Пер. Т. Красавченко.* См. также: *Одесский М.* Явление вампира // Там же. С. 7–15.

в пользу трансильванской локализации сюжета романа определили не столько исторические факты (хотя реальный валашский господарь действительно был родом из Трансильвании, его замок в Валахии находился у подножия трансильванских гор, и именно Трансильвания неоднократно становилась объектом его кровавых рейдов), сколько магические ассоциации, которыми издавна была окружена в народном сознании эта местность. Примечательно, что в рассуждениях Ван Хелсинга необычные способности Дракулы и его неподвластность естественным биологическим процессам увязаны с действием на территории Трансильвании мощных оккультных сил природы, в сочетаниях которых «проявляются особые магнитные или электрические свойства, *непредсказуемо воздействующие на физическую жизнь*»⁹³. Вампиризм в романе Стокера истолковывается в терминах оккультизма и эзотерики (что совсем не удивительно для книги, создатель которой был членом одной из крупнейших в Англии конца XIX века оккультных организаций — ордена Золотой Зари), а образ самого Дракулы оказывается напрямую соотнесен с силами черной магии: он представлен не просто кровососущим монстром, а некромантом, заклинателем и повелителем мертвых. С одной стороны, в его действиях очевидно присутствует физиологическая стратегия традиционного вампира: ощущаемая им «запороживающая пульсация трансперсональной стихии» вызывает к преодолению *одиночества крови*, к трансгрессии, к синтезу вампириона, означающего «непосредственную кровную близость в отличие от опосредованного кровного родства», «взаимную зачарованность пульсирующей кровью и зачарованностью друг друга»⁹⁴. С другой стороны, текст книги недвусмысленно указывает на то, что Дракула стремится

⁹³ Там же. С. 426. — Курсив наш. — С. А.

⁹⁴ Секацкий А. Указ. соч. С. 127, 128, 145.

ся умножить число не просто *себе подобных*, но число *подданных*; им руководит ясно осознаваемая *жажда власти* — может быть, самое главное, что связывает его образ с историческим прототипом. «Я привык быть господином и хотел бы им остаться, или по крайней мере надо мной уже не может быть никакого господина»⁹⁵, — заявляет он Харкеру в начале романа. Как чернокнижник, ради обретения бессмертия предавшийся силам зла, он противостоит Богу (исповедуемый Дракулой ритуал «крещения кровью» — дьявольское пародирование таинства причащения Крови Христовой⁹⁶), а как олицетворение хтонической природы — противостоит обществу, в самое сердце которого — столицу Британской империи — собирается нанести сокрушительный удар.

«Я так хочу пройтись по оживленным улицам громадного Лондона, попасть в самый центр людского водоворота и суеты, окунуться в городскую жизнь с ее радостями, несчастьями, смертями — словом, во все, что делает этот город тем, что он есть»⁹⁷, — признается Дракула Харкеру. Однако стремление к истинной интеграции в социум свойственно ему не больше, чем лорду Рутвену из повести Полидори или сэру Фрэнсису Варни — аристократичному вампиру из анонимного романа (иногда приписываемого Джеймсу Малькольму Раймеру, иногда — Томасу Пеккету Престу) «Вампир Варни, или Кровавое пиршество» (1847). Напротив, усилия Дракулы направлены на то, чтобы подорвать изнутри существующий социальный порядок, — а уязвимость цивилизации, скрытая за внешним благополучием, делает его победу

⁹⁵ Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 95–96.

⁹⁶ В фильме Копполы эта идея визуально подчеркнута приемом параллельного монтажа: сцена бракосочетания Джонатана Харкера и Мины Меррей то и дело перебивается эпизодами совершающейся в то же самое время «кровавой свадьбы» Дракулы и Люси Вестенра. См.: *Одесский М.* Указ. соч. С. 31.

⁹⁷ Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 95.

вполне возможной. Лондон, в который так мечтает попасть трансильванский граф, — это поздневикторианский Лондон с трудом подавляемых агрессивных страстей, индивидуальных и коллективных фобий и чудовищных преступлений, Лондон Дориана Грея, доктора Джекилла и мистера Хайда, профессора Мориарти и Джека Потрошителя, центр империи, где «неудержимый общественный прогресс оплачен разрушительными невротами, которыми заявляет о себе усиливающаяся внутренняя репрессия»⁹⁸. К этой изнанке социального бытия, собственно, и обращен пресловутый эротизм Дракулы, ставший общим местом кинематографической традиции и предметом многочисленных психоаналитических и гендерных исследований; вампир использует его как способ *покорить* человека и человечество, парализуя волю жертвы и высвобождая «подавленную чувственность новой эпохи, оттесненную социальными табу в психологическое подполье»⁹⁹. Неоднократно отмечавшаяся в научной литературе синхронность появления «Дракулы» (1897) и «Очерков об истерии» (1895) Зигмунда Фрейда и Йозефа Брейера (первого печатного изложения психоаналитической теории) представляется совпадением не менее значимым, чем современность стокеровского романа рождению искусства кино.

Противостояние Дракуле, соответственно, также понимается в книге как особая *миссия*, социальная и бытийная: цель Ван Хелсинга и его союзников — «не просто извести вампира местного значения в одной отдельно взятой стране, но спасти, освободить мир от эсхатологической угрозы»¹⁰⁰. Ван Хелсинг уподобляет задуманное ими путешествие в Трансильванию походам крестоносцев (которые, по его словам, также отправля-

⁹⁸ Максимов А., Одесский М. Указ. соч. С. 21.

⁹⁹ Там же. С. 21–22.

¹⁰⁰ Одесский М. Указ. соч. С. 31.

лись на восток во имя, возможно, гибельного, но святого дела), и тем самым история истребления монстра обретает черты *квеста*¹⁰¹, характерного для рыцарских романов и других жанров, предполагающих ситуацию духовного испытания героев. Для самого же Стокера, как полагают некоторые интерпретаторы романа, принципиально важен мотив борьбы темного и светлого магов, выводящий повествование на уровень эзотерической притчи о возрождении души к вечной жизни.

Переосмыслив новоевропейскую культурную мифологию вампиризма, формировавшуюся на протяжении XVIII—XIX веков, и соединив ее с малоизвестной западному миру персоной кровавого валашского правителя, Стокер осуществил, пожалуй, главную для писателя-мифотворца задачу — он дал уже существовавшему в литературе герою грозное и звучное *имя*. В массовом сознании XX века понятие «вампир» стало прочно ассоциироваться с именем Дракула (означающим по-румынски и «дьявол», и «дракон» — семантическая «вилка», оставляющая пространство для новых зловещих толкований). При этом выказанная автором свобода обращения с историческим, этнографическим, фольклорным, литературным материалом, свобода индивидуального вымысла обусловила чрезвычайно большой *мифогенный потенциал* его книги; свидетельством тому продолжающийся и по сей день процесс активной художественной реинтерпретации сюжета и образа центрального героя и уже не поддающееся точному подсчету число киноверсий романа¹⁰² и его отражений в художественной лите-

¹⁰¹ См. об этом: *Гопман В.* Носферату: судьба мифа // Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 561.

¹⁰² Из многочисленных фильмографий «дракулианы» см., в частности: *Scal D.J.* Hollywood Gothic: The Tangled Web of «Dracula» from Novel to Stage to Screen., N. Y., 1990; *Joslin L. W.* Count Dracula Goes to the Movies: Stoker's Novel Adapted, 1922—1995. N. Y., 1999.

ратуре. Подобно своим предшественникам с виллы Диодати, на очередном витке мифологизации темы Стокер сам оказался персонажем созданного им мифа и получил возможность лично встретиться с Дракулой — как это происходит, например, в романе Брайана Олдисса «Дракула освобожденный» (1991). Параллельно этому обширному и непрестанно пополняемому своду текстов продолжает прирастать и фонд критико-аналитических работ, в которых исследуются литературно-эстетические, философские, социально-исторические, политические, сексуальные, гендерные, оккультные аспекты стокеровской книги. Можно сказать, что, несмотря на поражение в рамках романного сюжета, Дракула сумел осуществить свой индивидуальный проект бессмертия в пространстве культуры: на сегодняшний день он определенно *не мертв и не одинок*.

Багровый прилив

Любой фильм — это фильм о вампирах.

Антон Хаакман

Кинематограф, как уже говорилось, принялся осваивать вампирическую тему с самых ранних лет своего существования. 1822 год ознаменован появлением первой экранной адаптации «Дракулы»: немая лента гениального немецкого режиссера-экспрессиониста Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату — симфония ужаса», по праву считающаяся шедевром мирового кино, вызвала конфликт между ее создателями (компанией «Прана-фильм») и вдовой Стокера, пытавшейся добиться судебного запрета на распространение пиратской киноверсии книги¹⁰³. Основная событийная линия романа в фильме

¹⁰³ Эта история отражена в недавнем романе канадского писателя и сценариста Пола Батлера «Тень Стокера» (2003).

Мурнау сохранена, хотя сведены к минимуму роли Люси Вестенра и Ван Хелсинга, изменены имена почти всех действующих лиц (в частности, в картине вместо Дракулы фигурирует граф Орлок) и место действия (Бремен начала XIX века взамен викторианского Лондона), и, кроме того, введены некоторые оригинальные сюжетные ходы, существенно изменяющие смысл рассказанной Стокером истории. Так, к гибели монстра в финале фильма приводит не акт экзорсизма, как в книге Стокера, а сила любви и самопожертвования: Эллен Хуттер (стокеровская Мина Харкер), дабы навсегда остановить неупокоенную нечисть в лице Орлока, удерживает графа у себя в комнате вплоть до восхода солнца, позволяя пить свою кровь. Застигнутый врасплох занявшимся рассветом, вампир истаивает в свете проникших в окно солнечных лучей, — и происходит это *первые* в истории жанра (в романе Стокера ничего не говорится о том, что вампирам противопоказан дневной свет, сказано лишь, что могущество Дракулы «кончается с наступлением дня, как у всякой нечистой силы»¹⁰⁴; уничтожают же его не на рассвете, а на закате, при помощи вполне традиционного оружия — охотничьего ножа и кинжала). Тем самым в вампирском образе выявляется еще один, неизвестный литературе индизнаказательный смысл: экзистенциальное устройство вампира, подверженное разрушению лучами солнца, аналогично уязвимому для света изображению на целлулоидном негативе, и это соответствие делает героя наших заметок зримой метафорой кинематографа¹⁰⁵. Визуальной находке Мурнау со временем суждено было стать константой жанра, которая утвердилась как в кино, так и в литературе и по мере развития спец-

¹⁰⁴ *Стокер Б. Дракула*. М., 2005. С. 337.

¹⁰⁵ Наблюдение культуролога А. Пензина. См.: *Пензин А. Вампирское кино и генеалогия ночной жизни // Русская антропологическая школа*. Труды. М., 2005. Вып. 3. С. 231–232.

эффектов обретает на экране все большую зрелищность (достаточно вспомнить взрывающихся на солнце упырей из культового хоррор-боевика «От заката до рассвета» (1996) Роберта Родригеса или полыхающих, как факелы, монстров из брутальных «Вампиров» (1998) Джона Карпентера).

Фильм Мурнау спустя десятилетия удостоился эстетского, завораживающе-гипнотического квазиэкспрессионистского римейка «Носферату — призрак ночи» (1979) с Клаусом Кински, Изабель Аджани и Бруно Ганцем в главных ролях, поставленного немецким режиссером Вернером Херцогом; кроме того, в 2000 году вышел в свет уже упоминавшийся в начале этих заметок фильм Элайаса Мериджа «Тень вампира» — псевдодокументальная реконструкция обстоятельств создания «Симфонии ужаса». Основываясь на расхожей кинематографической легенде, согласно которой сыгравший в фильме Мурнау роль Орлака малоизвестный актер Макс Шрек был настоящим вампиром, Меридж разворачивает на экране метафорическую историю о губительно-жертвенной природе искусства: сыгранный Джоном Малковичем визионер-безумец Мурнау заключает со Шреком кровавую сделку, обещая в обмен на достойную игру отдать ему на съедение исполнительницу главной женской роли Грету Шрёдер. Исполнитель роли вампира Уиллем Дефо, тщательно загримированный под Макса Шрека, в свою очередь загримированного под графа Орлока, блестяще копирует отрывистую пластику своего предшественника, а сам фильм Мериджа воспроизводит целый ряд сцен (и даже содержит несколько подлинных кадров) картины 1922 года, словно подтверждая афористический тезис американского культуролога Камиллы Палы о том, что «вампиры питаются кровью своих собственных текстов»¹⁰⁶. Однако

¹⁰⁶ Палы К. Указ. соч. С. 433. — Пер. А. Севастеенко.

внешнее сходство образов и эпизодов обманчиво: вместо сыгранного когда-то Максом Шреком крысopodobного (и сопровождаемого крысами) недочеловека, несущего с собой чуму и смерть и лишенного каких-либо эмоций, кроме жажды крови, Дефо играет интеллектуала, который наизусть цитирует Шекспира, опечален трагическим одиночеством стокеровского Дракулы, зачарован «движущимися картинками» и взыскует уже не физического, а кинематографического бессмертия. Вампир, запечатленный на пленке, есть всего лишь *тень* вампира, одна из вереницы теней, сменяющих друг друга на белом фоне экрана, — очевидно, именно таков смысл названия фильма Мериджа. Подлинным героем этой картины является само кино, и олицетворяет его не только вампир, притворяющийся актером (который притворяется вампиром), припадающий к глазку проектора, чтобы увидеть заснятый на пленку солнечный свет, и поедающий в процессе съемок персонал киногоруппы («Полагаю, сценарист нам больше не нужен?» — издевательски спрашивает он у Мурнау в одной из сцен фильма), — его олицетворяет прежде всего сам Мурнау — безумный гений, приносящий в жертву своему шедевр живых людей и самого Шрека, который в финале умирает под действием лучей уже не искусственного, а настоящего света.

Начало 1930-х годов ознаменовалось появлением двух выдающихся фильмов на вампирскую тему, выдержанных в принципиально разной эстетике и имевших, соответственно, различную зрительскую судьбу. «Вампир, или Странное приключение Дэвида Грея» (1932) датского режиссера Карла Теодора Дрейера — это более чем вольная экранизация «Кармиллы»: из повести ирландского писателя создатель фильма заимствовал лишь некоторые мотивы, фабула же подменена чередой кошмарных видений, в которых явственно читается опыт сюрреализма. Снятый в «сновидческой» манере и пери-

одически «испытывающий метафизические границы изображения»¹⁰⁷ (например, в сцене, где главный герой наблюдает из гроба за собственными похоронами, заставляющей зрителя идентифицировать себя с мертвецом), «Вампир» оказался слишком сложным для восприятия публики и провалился в прокате, вызвав десятилетний перерыв в карьере Дрейера, однако, как и другие картины режиссера, он вошел в число безусловных шедевров мирового кино. Между тем поставленный годом раньше «Дракула» (1931) американца Тода Браунинга с Белой Лугоши в заглавной роли имел совсем иную прокатную судьбу. Став первым звуковым фильмом о трансильванском вампире и первым в длинной череде лент с участием так называемых монстров студии «Юниверсал» (среди которых значатся также чудовище Франкенштейна, Мумия, Человек-невидимка и Человек-волк), «Дракула» Браунинга явил зрителю пафосный образ аристократа в черном плаще с высоким воротом, наделенного странным акцентом (то был слегка утрированный акцент самого Лугоши — венгра, плохо говорившего по-английски) и сознанием своего превосходства над окружающими. Несмотря на композиционную рыхлость и излишне аффектированную манеру игры исполнителя главной роли, этот фильм (в сюжетном отношении гораздо более близкий к тексту романа, чем картина Мурнау) снискал колоссальный зрительский успех, принес студии огромную прибыль и в одночасье сделал малоизвестного актера-иммигранта кинозвездой. С этого момента началось тиражирование однажды найденного образа — спустя несколько лет, опять надев знаменитый плащ и грозно нахмутив брови, Лугоши вышел на съемочную площадку нового вампирского фильма («Знак вампира» (1935) все того же Браунинга), а затем

¹⁰⁷ Добротворский С. Н. Бергман и Дрейер: Молчание и слово // Добротворский С. Н. Кино на ощупь. С. 320.

всевозможные «дочери» и «сыновья» Дракулы, при участии уже других актеров (а также других студий и монстров), заполнили экран: монополизированный Голливудом жанр сделался площадкой для эпигонских упражнений, постепенно скатываясь в самопародию и питая интенсивно развивавшуюся комикс-культуру.

Американское всевластие на территории вампирского кино было серьезно поколеблено во второй половине 1950-х годов, когда тема вернулась на Британские острова и европейский континент. «Дракула» (1958) Теренса Фишера (в американском прокате — «Ужас Дракулы») открыл целую серию фильмов английской студии «Хаммер» («Дракула, князь тьмы» (1965) Фишера, «Дракула, восставший из могилы» (1968) Фредди Фрэнсиса и др.), явивших публике трансильванского графа в исполнении Кристофера Ли. Переняв эстафету от Лугоши, высокий харизматичный британец (как любят замечать историки кино, очень похожий на сохранившиеся портреты Влада Цепеша) создал образ величественного и безжалостного «готического» зла, подлежащего безоговорочному уничтожению. Профессиональным истребителем нечисти, в свою очередь, стал актер Питер Кашинг, неоднократно исполнявший роль Ван Хелсинга и составивший вместе с Ли эффектный и яркий дуэт. В отличие от лент первой половины века, где насилие и эротизм, связанные с фигурой вампира, традиционно оставались за кадром, «хаммеровские» вариации жанра демонстрировали жажду крови открыто и обильно (и притом — начиная с «Дракулы» 1958 года — в цвете), реализуя провозглашенную руководством студии эстетическую программу: «Мы не хотим фильмов с „посланием“, мы делаем развлечения»¹⁰⁸. Параллельно «дракулиане» «хаммеровского» образца, очень скоро ставшей объектом пародирования («Бесстрашные

¹⁰⁸ Цит. по: Маркулан Я. К. Киномелодрама. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая культура. Л., 1978. С. 150.

убийцы вампиров, или Извините, но ваши зубы застряли в моей шее» (1967) Романа Полански), оригинальные модификации вампирского образа создает и будущий маэстро итальянского хоррора Марио Бава, превращающий едва ли не каждый свой фильм в серию зрелищных аттракционов («Маска демона» (1960) — визионерская трансформация гоголевского «Вия», «Три лица страха» (1963), «Планета вампиров» (1965)).

Заметное обновление темы происходит в послевоенные десятилетия — особенно в семидесятые годы — и в литературе, в первой половине века вампирами, в общем-то, интересовавшейся мало (хотя можно вспомнить имена Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда, Ганса Гейнца Эверса, Эдварда Фредерика Бенсона, Августа Дерлетта, Алана Хайдера, наконец, классика румынской литературы Мирчи Элиаде). Активная рекомбинация жанровых моделей, в частности сопряжение вампирических мотивов и сюжетов с научной фантастикой, приводит к появлению таких книг, как «Я — легенда» (1954) американца Ричарда Мэтисона (о последнем человеке на Земле, избежавшем пандемии, которая превратила людей в вампиров) и «Космические вампиры» (1976) англичанина Колина Уилсона, актуализирующие давнюю фантастическую тему инопланетного вторжения. К 1971 году относятся «Архивы Дракулы» американского прозаика Рэймонда Рудорфа, в которых автор погружается в покрытое тьмой столетий прошлое трансильванского владетеля и напрямую увязывает его с кровавой историей графини Батори. В 1975 году выходит в свет роман Стивена Кинга «Рок Салема», повествующий о захвате вампирами небольшого американского городка в штате Мэн; одновременно с Кингом издает свой роман «Запись Дракулы» Фред Саберхаген. Конец десятилетия ознаменован публикацией романа Челси Куинн Ярбро «Отель „Трансильвания“» (1978) — первого в цикле произведений о байроническом вампире Сен-Жермене,

родившемся, по версии автора, за две тысячи лет до новой эры и отдаленно напоминающем знаменитого французского авантюриста XVIII столетия. Примеры можно умножать, но даже несколько упомянутых нами книг свидетельствуют о стремительной сюжетно-тематической диверсификации, совершавшейся в это время (и продолжившейся в последующие десятилетия) внутри вампирского «жанра»¹⁰⁹.

Такое же разнообразие эстетических установок наблюдается в 1970-е годы и в кинематографических вариациях темы. Сексуальная революция предыдущего десятилетия открыла путь прямому — на уровне сюжета и визуального ряда — заигрыванию со смертоносным эротизмом вампирского мифа, а становление в начале семидесятых трэш-культуры и секс-индустрии поставило на поток малобюджетные фильмы ужасов с обжигающе первертными вампирами и нарочито бутафорской кровью — такие, как «Вампирес лесбос» (1971) и «Графиня с обнаженной грудью» (1973) Джесса Франко (снявшего, кстати, в 1970 году довольно традиционного «Графа Дракулу» с неизбежным Кристофером Ли в главной роли) или знаменитая вампирская тетралогия (1967—1971) Жана Роллена. Одновременно продолжают появляться и вполне мейнстримовые, хотя и стилистически необычные картины — уже упоминавшийся «Носферату» Херцога или вышедший в том же году «Дракула» Джона Бэдема (с Фрэнком Ланджеллой в роли графа и Лоуренсом Оливье в роли Ван Хелсинга), — а также пародийные версии сюжета («Дракула, отец и сын» (1976) француза Эдуара Молинаро все с тем же Ли). Кинематограф теснят посвященные вампирам телесериалы и

¹⁰⁹ Впечатляющим доказательством этого разнообразия может служить составленная Стивеном Джонсом «Мамонтова книга о вампирах»; недавно ее расширенная версия (2004) была переведена на русский язык. См.: Вампиры: Антология. СПб., 2007.

комиксы (впоследствии к ним добавятся настольные и компьютерные ролевые игры), влекущие за собой дальнейшее омассовление и тривиализацию образа. И вместе с тем именно семидесятые годы содержательно подготавливают тот взрыв популярности и те принципиальные новации в понимании вампирической темы, которыми отмечены последующие два с половиной десятилетия.

Последний герой боевика

Я хотел познавать смерть постепенно, шаг за шагом... Я только начал входить во вкус. И решил, что пока не буду трогать людей... Но по большому счету это был вопрос морали, нравственный выбор.

*Энн Райс**

В наши ряды вступают немногие, но наше господство принесло людям века порядка и стабильности. Вампиры избавили Европу от Темных Веков, и, пока власть в наших руках, варвары остаются под контролем...

*Брайан Стэблфорд***

Первой из этих новаций является невиданная прежде степень *очеловечивания* вампира, которую демонстрируют ключевые вампирские кинотексты 1990-х годов — «Дракула Брэма Стокера» (1992) Копполы и «Интервью с вампиром» (1994) Нила Джордана. Копполовская экранизация «Дракулы» вносит в историю многовековых злодеяний трансильванского воеводы глубоко личный мотив, который отсутствовал и в самом романе, и в предыдущих адаптациях сюжета: в прологе фильма Влад утрачивает возлюбленную (которую затем спустя столетия обретает, хотя и ненадолго, в лице Мины Мерејей).

* Пер. М. Литвиновой-мл.

** Пер. О. Ратниковой.

Тем самым в последующие поступки героя оказалась вложена не магическая или демоническая, а сугубо психологическая мотивация: навсегда потеряв покончившую с собой — и тем погубившую свою душу — Элизабет, он иступленно отрекается от Бога и предается силам тьмы; в основном действии фильма сквозь многочисленные личности Дракулы то и дело «проглядывает измученное лицо Отреченного, который сумел начать, но никак не может окончить свой спор с Богом»¹¹⁰. Так увиденный режиссером Дракула не может не вызывать — при всей чудовищности его деяний — зрительского сочувствия. На его фоне жесткая ригористическая логика действий Ван Хелсинга выглядит едва ли не жестокостью: он невольно воспринимается зрителем как бездушная машина убийства, которая, в отличие от Влада, не знает, что значит любить и потерять того, кого любишь.

Снятое всего через два года «Интервью с вампиром» развивает этот скрытый гуманистический мессидж копполовского фильма. Душевные терзания главного героя из-за своего вынужденного кровопийства, равно как предлагаемое авторами деление вампиров на «плохих» и «хороших», уже открыто включают последних в систему человеческих ценностей, нравственных и социальных, радикально ревизуя тем самым классический вампирический канон. Между тем фильм Джордана — всего лишь экранизация (притом довольно точная) романа Энн Райс, который был опубликован еще в 1976 году и в котором уже в полной мере присутствовала эта психологизация и этизация вампирского образа, спустя без малого двадцать лет перекочевавшая на экран.

Идеология, лежащая в основе подобных представлений, — не что иное, как идеология *политкорректности*, вызревавшая в восьмидесятые и восторжествовавшая в девяностые годы; роман Райс набавляет этой идеологии

¹¹⁰ Максимов А., *Одесский М.* Указ. соч. С. 22.

несколько лет, но сути дела это не меняет. Вместо традиционной фигуры хищного, хитрого и смертельно опасного монстра, мимикрирующего под человека и несущего ему гибель, «Интервью с вампиром» предлагает образ возвышенного и страдающего существа, наделенного вполне человеческими нравственностью и разумом, обремененного «чисто человеческими заботами» и одолеваемого порой «слишком человеческими мыслями»¹¹¹. В культурно-философском смысле этот образ есть прямое порождение постмодернистской идеологии с характерным для нее пафосом размыwania всевозможных границ. Психологизация и социализация вампира, начатые книгой Энн Райс, были продолжены в романах американки Барбары Хэмбли «Те, кто охотится в ночи» (1988) и «Путешествие в страну смерти» (1995) — а затем, в эпоху победившей политкорректности, стали едва ли не постоянными характеристиками жанра. Вампиры рубежа тысячелетий «абсорбированы современным городом», «полностью интегрированы в повседневность», «разделяют весь комплекс обыденных практик людей». «Меняется визуальный код их репрезентации — вампиры становятся *people like us*, они встроены в позднекапиталистическую систему хорошо сделанных, модных, гламурных лиц и тел»¹¹². Ночной образ жизни современного мегаполиса как нельзя лучше соответствует интеграции вампира в социум: пространства ночных клубов (именно там, кстати, завязываются сюжеты «Голода» (1982) Тони Скотта и «Блейда» (1998) Стивена Норрингтона) и других структур темного времени суток легитимируют ночной способ существования человека, стирающий грань между людьми и мимикрирующими под них *иными*.

Другой новацией последних десятилетий стала идея вампирских сообществ, которые издавна существуют

¹¹¹ Райс Э. Указ. соч. С. 21, 371.

¹¹² Пензин А. Указ. соч. С. 233.

параллельно с человечеством, имеют собственных лидеров, собственную внутреннюю организацию, свои законы, традиции и т. д. Происходит «своего рода „восстание масс“ в вампирском варианте»¹¹³. Эта идея, также восходящая к семидесятым годам (книги С. Кинга, Райс и др.), активно воспроизводится в современном кино (трилогия «Блейд» (1998—2004), дилогия «Другой мир» (2003—2005) и др.) и в литературе, представляя то в виде враждебного человечеству вампирского заговора (обновленный вариант старого как мир конспирологического мифа¹¹⁴), то в виде политкорректной и мультикультурной социальной утопии.

Решительным отрицанием любых утопий такого рода проникнуты уже упоминавшиеся знаменитые хоррор-боевики 1990-х годов «От заката до рассвета» и «Вампиры», ставшие полемическим ответом фильмам Копполы и Джордана и их политкорректной, социализирующей вампира идеологии. Сценарист и исполнитель одной из главных ролей в фильме Родригеса Квентин Тарантино еще до выхода картины на экран заявил в интервью принципиальную непримиримость избранной авторами сюжетно-изобразительной стратегии: «...эти вампиры — плотоядные inferнальные чудовища, как крысы, просто очень огромные. Там нет никаких стенаний о муках вечной жизни, для поддержания которой нужна человеческая кровь, и всего этого ревизионистского вампирского бреда. Они просто стая монстров, и ты должен убить их как можно больше, потому что они хотят убить тебя»¹¹⁵. Сходные принципы легли в основу ленты Карпентера,

¹¹³ Там же.

¹¹⁴ См., в частности, реанимирующее эти представления компилятивно-популяризаторское сочинение Д. Морозова «Темная кровь Возрождения» (СПб., 2005), заявленное как первая книга серии с говорящим названием «Вампиры на тронах».

¹¹⁵ Юдович М. Тарантино и Джульетт // Квентин Тарантино: Интервью. СПб., 2007. С. 245. — Пер. В. Клебеева.

неоднократно заявлявшего о своем неприятии декадентской «готической» стилистики Голливуда и потому взявшего за образец не традицию вампирского хоррора, а циничные вестерны Серджо Леоне и Сэма Пекинпа. Его Джек Кроу, современный Ван Хелсинг, возглавляющий «зондеркоманду» Ватикана, которая истребляет вампиров на территории США, кажется идейным наследником героев Клинта Иствуда и Чарльза Бронсона — немногословных, решительных и бескомпромиссных. Он определенно *не* политкорректен в своем намерении устроить нечисти тотальный геноцид, и никакие социокультурные перемены не заставят его быть иным.

Таковы, на наш взгляд, основные изменения, которые претерпела вампирическая парадигма в западном культурно-художественном сознании за время своего существования. В ее сдвигах отражаются изломы самой культуры Нового и Новейшего времени, пересечения культурных языков прошлого и настоящего, индивидуальные авторские искания и коллективное бессознательное различных эпох. Образ вампира, вдохновленный извечной мечтой о бессмертии и оживленный кошмарами «готического» воображения, стал источником многоаспектной полижанровой мифологии, которая выдержала и экспансию психоанализа, и нашествие спецэффектов, и конвертацию в медийный и рекламный продукт. Очевидно, в смысловых и эмоционально-психологических основаниях этой мифологии кроется нечто, что делает ее устойчивой к резким изменениям социальной и культурной прагматики. Прихотливые изгибы тонкой красной линии вампирического сюжета, которую мы попытались прочертить в этих заметках, думается, обещают в будущем нечто неожиданное, что вряд ли можно предугадать сегодня.

С. А. Антонов

Гость Дракулы

*и другие истории
о вампирах*

Джон Уильям Полидори

ВАМПИР

Однажды, в пору зимних увеселений, в лондонских кругах законодателей моды появился дворянин, примечательный своей странностью более даже, чем знатностью рода. На окружающее веселье он взирал так, как если бы сам не мог разделять его. Несомненно, легкомысленный смех красавиц привлекал его внимание лишь потому, что он мог одним взглядом заставить его умолкнуть, вселив страх в сердца, где только что царила беспечность. Те, кому довелось испытать это жуткое чувство, не могли объяснить, откуда оно происходит: иные приписывали это мертвенному взгляду его серых глаз, который падал на лицо собеседника, не проникая в душу и не постигая сокровенных движений сердца, но давил свинцовой тяжестью. Благодаря своей необычности дворянин стал желанным гостем в каждом доме; все хотели его видеть, и те, кто уже пресытился сильными ощущениями и теперь был мучим скукою, радовались поводу вновь разжечь свое любопытство. Несмотря на мертвенную бледность, его лицо, никогда не розовевшее от смущения и не разгоравшееся от движения страстей, было весьма привлекательным, и многие охотницы за скандальной славой всячески старались обратить на себя его внимание и добиться хоть каких-нибудь знаков того, что напо-

минало бы нежную страсть. Леди Мерсер, от которой не ускользнул ни один чудак, сколько бы их ни появлялось в гостиных со времен ее замужества, воспользовалась случаем и разве что не облачилась в шутовской наряд, дабы оказаться замеченной им, однако все было напрасно. Он смотрел на нее, когда она стояла прямо перед ним, но взор его оставался непроницаем. Даже ее беспримерное бесстыдство было посрамлено, и ей пришлось покинуть поле битвы. Но хотя распутницам не удавалось даже привлечь к себе его взгляд, этот человек вовсе не был равнодушен к женскому полу. Однако с добродетельными женщинами и невинными дочерьми он знакомился, выказывая величайшую осмотрительность, и потому его редко заставляли беседующим с дамой. Он имел репутацию очаровательного собеседника, и то ли красноречие скрадывало угрюмость его нрава, то ли его подчеркнутая неприязнь к пороку трогала женские сердца, но женщины, славившиеся своей добродетелью, разделяли его общество столь же охотно, как и те, кто успел запятнать свое имя.

Приблизительно в то же время в Лондон приехал молодой аристократ по имени Обри. Родители его умерли, когда он был ребенком, завещав ему и сестре большое состояние. Опекуны, заботившиеся лишь об имуществе детей, предоставили юношу самому себе, поручив воспитание его ума своекорыстным наставникам, и потому Обри развил свое воображение более, нежели умение судить о вещах. Соответственно, он обладал тем романтическим чувством чести и искренности, которое ежедневно губит не одну ученицу модистки. Он верил, что добродетель торжествует, а порок Провидение допускает ради живописности, как это бывает в романах; он полагал, что платье бедняка такое же теплое, как платье бо-

гача, но скорее привлекает взор художника обилием складок и цветистостью заплат. Словом, поэтические мечтания он принимал за реальную действительность. Стоило только миловидному, простодушному и вдобавок богатому юноше войти в блестящее общество, как его тут же окружили маменьки, которые принялись неустанно расхваливать своих томных или резвых любимиц, соревнуясь в преувеличениях. Лица дочерей при виде его загорались радостью, и стоило лишь ему заговорить, как глаза их светились счастьем, что внушило Обри ложное представление о собственном уме и талантах.

В романтические часы своего уединения Обри с удивлением обнаружил, что сальные и восковые свечи мерцают не по причине присутствия некоего духа, но оттого, что он зыбывает снять с них нагар; реальная жизнь не соответствовала сонму приятных картин, воссоздаваемых в тех многочисленных томах, из коих он почерпнул свое образование. Найдя, впрочем, некоторое удовлетворение в светской суете, юноша готов был уже отказаться от своих грез, когда ему встретилась необыкновенная личность, о которой говорилось выше.

Обри наблюдал за ним; однако невозможно было без взаимного общения постичь характер человека, столь замкнутого в самом себе, что значение для него окружающих предметов сводилось лишь к молчаливому признанию их существования. Позволяя воображению рисовать каждую вещь так, чтобы это льстило его склонности к экстравагантным вымыслам, юноша вскоре сделал из объекта своих наблюдений героя романа и продолжал наблюдать более поросль своей фантазии, чем находившуюся перед ним реальную личность. Обри постарался завязать с ним знакомство и уделял ему столь много внима-

ния, что вскоре оказался замечен и признан. Постепенно юноша узнал, что дела лорда Рутвена расстроены, и по приготовлениям на ***-стрит обнаружил, что тот собирается отправиться в путешествие. Желая узнать поближе эту одинокую душу, которая до сего момента только подстегивала его любопытство, Обри дал понять своим опекунам, что для него настало время совершить поездку в дальние страны, которая — поколение за поколением — считается важной, так как позволяет юноше сделать решительные шаги на стезе порока и, став наравне со взрослыми, не выглядеть так, будто они свалились с неба, когда скандальные похождения упоминаются как предмет шутки или похвалы, в соответствии со степенью проявленного здесь искусства. Опекуны согласились, Обри немедленно уведомил о своем решении лорда Рутвена и был весьма удивлен, получив приглашение присоединиться. Польщенный этим знаком расположения со стороны человека, который очевидно не был подобен другим людям, Обри с радостью принял предложение, и через несколько дней они пересекли воды пролива.

До этого Обри не имел возможности изучать характер лорда Рутвена, и теперь он нашел, что многие поступки лорда, представшие его взору, позволяют сделать различные выводы из вроде бы очевидных мотивов его поведения. Щедрость его спутника была беспредельной; являвшиеся к нему лентяи, бродяги, нищие получали подавание, которое значительно превосходило их сиюминутные нужды. Однако Обри не мог не заметить, что милосердие лорда не распространялось на попавших в беду добродетельных людей (ибо и добродетель может быть подвержена превратностям судьбы). Таковые отсылались прочь с плохо скрываемой насмешкой. Но если какой-ни-

будь мот приходил просить подаяния для удовлетворения не насущных нужд, но своей страсти, или чтобы еще глубже погрузиться в бездну порока, то его награждали с безграничной щедростью. Обри, впрочем, отнес это за счет того, что разврату присуще обычно самое низменное упрямство, тогда как находящейся в нужде добродетели всегда сопутствует стыдливость. Было одно обстоятельство в щедрости его светлости, которое все более и более впечатляло Обри: все, кого он благодетельствовал, со временем обнаруживали, что на его дарах лежит некое проклятие; несчастные либо оказывались на эшафоте, либо впадали в еще более беспросветную и унижительную нищету. В Брюсселе и других городах, через которые они проезжали, Обри поражался страстности, с которой его спутник искал средоточия всевозможных модных пороков. Донельза воодушевленный, он подходил к игорному столу, делал ставки и всегда оказывался в большом выигрыше, если только его соперником не был какой-нибудь известный шулер. В этом случае лорд терял более, чем выигрывал, но всегда с неизменным равнодушием, с каким он вообще смотрел на окружавшее его общество. Иначе было, когда ему противостоял неоперившийся юноша или незадачливый отец многочисленного семейства; тут каждое желание лорда, казалось, становилось законом для фортуны, его всегдашняя небрежная рассеянность исчезала, и в глазах загорались хищные огоньки, как у кошки, играющей с полузадушенной мышью. В каждом городе он оставлял разоренного молодого богача, проклинавшего в тюремном одиночестве судьбу, которая свела его с этим демоном, тогда как многие отцы сидели, безумев, под безмолвными, но красноречивыми взглядами своих голодных чад; от былой роскоши у них

не оставалось ни фартинга, чтобы купить даже самое необходимое. От игорного стола он не брал ничего, но тут же проигрывал свои деньги разорителю многих, причем последний золотой мог быть вырван из судорожно сжатых пальцев неискушенного: возможно, это было результатом некоторых познаний, уступавших, однако, ухищрениям более опытных игроков. Обри часто испытывал желание объяснить это своему другу и убедить его отказаться от щедрости и развлечений, что приводят к крушению всего и не служат к его собственной выгоде. День за днем юноша откладывал этот разговор, надеясь, что друг предоставит ему возможность для открытой, честной беседы, но, к сожалению, этого не происходило. Лорд Рутвен, находился ли он в своей карете или совершал прогулку по живописным диким местам, всегда оставался неизменен: глаза его говорили еще менее, чем губы, и хотя Обри постоянно пребывал вблизи предмета своего любопытства, он так и не смог найти удовлетворительную разгадку; его волнение лишь возрастало от тщетных попыток проникнуть в тайну, которая начала представляться его пылкому воображению чем-то сверхъестественным.

Вскоре они прибыли в Рим, и Обри на время потерял своего спутника из виду: лорд ежедневно посещал утренние собрания у одной итальянской графини, а Обри блуждал в поисках достопримечательностей другого, почти исчезнувшего города. Пока он предавался этим занятиям, пришли некоторые письма из Англии, которые он распечатал со страстным нетерпением. Первое было от его сестры и дышало любовью, другие от опекунов, и, прочтя их, Обри ужаснулся. Прежде его уже посещали мысли, что лорд Рутвен одержим некой злой силой, письма же представляли вполне убедительные тому доказа-

тельства. Опекуны требовали, чтобы юноша немедленно расстался со своим другом, и утверждали, что характер последнего ужасно порочен, что его развращающему влиянию невозможно противостоять и именно это делает его необузданные наклонности чрезвычайно опасными для общества. Было обнаружено, что его видимое презрение к распутнице происходило не из ненависти к ее характеру, но что подлинное удовольствие он получал лишь тогда, когда его жертва и соучастница во грехе бывала свергнута с высот незапятнанной непорочности вниз, в глубочайшую пропасть беславия и разврата. Все женщины, которых он добивался, очевидно стоявшие на вершине своей добродетели, после его отъезда сбросили маски и не постыдились выставить на всеобщее обозрение всю омерзительность своих пороков.

Обри решил порвать с человеком, в чьем нравственном облике не было ни одной привлекательной черты. Желая сыскать к тому благовидный предлог, Обри еще теснее сблизился со своим спутником и продолжил наблюдать за ним, не упуская ни одного, даже мимолетного, штриха. Он стал посещать дом графини и вскоре заметил, что лорд намеревается воспользоваться неопытностью ее дочери. В Италии редко встретишь в светских кругах молодую девушку, и потому лорд вынашивал свои замыслы в строжайшей тайне. Но Обри удалось разгадать его уловки, и вскоре он узнал, что назначено свидание, которое почти наверняка погубит невинную, хотя и легкомысленную девушку. Обри поспешил к лорду и без обиняков расспросил его о намерениях относительно юной графини, не скрывая, что знает о свидании, назначенном как раз в предстоящую ночь. Лорд Рутвен ответил, что его намерения таковы, ка-

ковы и должны быть при подобных обстоятельствах. Обри поинтересовался, не предполагает ли его светлость жениться на девушке. Вместо ответа лорд расхохотался. Вернувшись к себе, Обри письменно уведомил лорда, что остаток путешествия им придется совершить порознь. Велев слуге подыскать новое пристанище, он поехал к матери девушки и сообщил ей все, что знал, о взаимоотношениях между ее дочерью и лордом Рутвеном и обрисовал ей характер его светлости в целом. Свидание было предотвращено. На следующий день лорд Рутвен через слугу передал, что против отъезда Обри возражений не имеет, однако никак не намекнул, что догадывается о том, кто разрушил его замыслы.

Из Рима Обри отправился в Грецию и, пересекши полуостров, вскоре прибыл в Афины. Остановившись в доме одного грека, он занялся изучением полуистлевших обломков былой славы, которые, словно стыдясь того, что запечатлели деяния свободных людей перед рабами, спрятались под слоем пыли и разноцветных лишайников. В том же доме жила молодая девушка, чья утонченная красота могла бы послужить образцом для художника, вознамерившегося запечатлеть на холсте воздаяние, обещанное правоверным в магометанском раю, если бы не ее выразительные глаза, которые выдавали в ней создание, имеющее душу. Танцевала ли девушка на равнине, ступала ли на горный склон — она несомненно была много прекрасней газели, ибо кто променял бы эти глаза — глаза одухотворенной природы — на сонный, сладострастный взгляд животного, который по вкусу лишь эпикурейцу? Ианфа легкой поступью часто сопровождала Обри в его поисках древностей, и он, позабыв о неразгаданных надписях, с восхищением любовался красотой ее форм, когда она, порхая

будто сальфида, гонялась за пестрой кашмирской бабочкой. Ее взметнувшиеся локоны то вспыхивали, то гасли, переливаясь под лучами солнца, и вполне можно простить рассеянность антиквара, который забывал о драгоценных табличках, прояснявших тот или иной отрывок из Павсания. Но к чему пытаться описать чары, которым легко поддается всякий, но которые никто не может постичь? Это были невинность, молодость и красота, не потерявшие своей естественности в переполненных гостиных и душных бальных залах. Пока Обри зарисовывал руины, над набросками которых ему хотелось бы впоследствии проводить часы раздумья, Ианфа стояла рядом, наблюдая, как под его карандашом проступают на бумаге картины родного ей края. Девушка рассказывала ему о хороводах на лугу, вспоминала о свадьбах, которые ей доводилось видеть еще в детстве, живописуя их в сияющих красках юной памяти, а затем обращалась к темам, сильнее всего впечатлившим ее ум, и пересказывала истории о сверхъестественном, которые слышала от няни. Обри поневоле заражался ее искренней верой в эти истории. И часто, когда она рассказывала о живом вампире, который подолгу пребывал в кругу родных и друзей, каждый год вынужденный питаться кровью красивых женщин, чтобы еще на несколько месяцев продлить себе жизнь, Обри холодел от ужаса, хотя и пытался высмеять наивную веру девушки в страшные сказки. Ианфа, возражая, называла имена стариков, которые в конце концов обнаруживали в своем окружении вампира после того, как их родственники и дети были найдены мертвыми с отметиной дьявольского укуса. Она заклинала его поверить, ибо те, кто осмеливался сомневаться в их существовании, всегда получали доказательство и принуждены были с растер-

занным горестью сердцем признать это за истину. Девушка подробно описала обычный вид этих чудовищ, и, слушая ее, Обри со все возрастающим ужасом узнавал портрет лорда Рутвена. Он уговаривал Ианфу отбросить пустые страхи, но сам не переставал дивиться многочисленным совпадениям, подтверждавшим его догадки о сверхъестественной власти лорда Рутвена.

Обри все сильнее привязывался к Ианфе; ее невинность, столь непохожая на притворную добродетель женщин, среди которых он надеялся найти воплощение своих любовных мечтаний, победила его сердце; и хотя мысль о женитьбе благовоспитанного англичанина на необразованной гречанке казалась ему нелепой, он находил себя все более и более влюбленным в чудесное создание, которое видел перед собой. Иногда он покидал ее на некоторое время и отправлялся на поиски какой-либо антикварной редкости с намерением не возвращаться домой, пока его цель не будет достигнута; однако он всякий раз оказывался неспособным сосредоточиться на окружающих его руинах, поскольку в мыслях своих лелеял облик, уже давно безраздельно владевший им. Ианфа не ведала о его любви и, как и прежде, хранила детскую непосредственность. Она неохотно расставалась с Обри, но лишь потому что видела в нем спутника, в сопровождении которого могла посещать излюбленные ею окрестности, в то время как он зарисовывал или расчищал обломки, избежавшие всеограждающего действия времени. Девушка не преминула также передать родителям, что Обри не верит рассказам о вампирах. Побледнев от ужаса при одном лишь упоминании об этих существах, родители Ианфы, приводя множество примеров, тщетно старались переубедить его.

Вскоре после этого Обри вознамерился совершить поездку, которая должна была продлиться несколько часов. Когда родители девушки слышали название местности, куда он хотел отправиться, они принялись в один голос умолять его не задерживаться там до позднего вечера, ибо путь пролегал через лес, куда ни один местный житель не отваживался ступить после захода солнца. Они рассказали, что в лесу этом по ночам устраивают свои оргии вампиры, и горе тому, кто отважится пересечь их тропу. Обри не воспринял всерьез этих предупреждений и постарался высмеять наивную веру в вампиров, но, заметив, какой ужас вызвали у родителей Ианфы его насмешки над сверхъестественными адскими силами, при одном упоминании которых кровь стыла в их жилах, юноша замолчал.

На следующее утро Обри отправился в путь один, без сопровождения; он был удивлен, заметив, сколь унылы лица его хозяев, и понял, что именно его насмешка над их верой в этих ужасных демонов служит тому причиной. Едва он сел в седло, Ианфа подошла к нему и умоляла воротиться прежде, чем наступит ночь и эти злые твари вновь обретут власть. Обри пообещал ей это. Однако он был настолько поглощен своими разысканиями, что не заметил, как приблизился вечер и на горизонте появилось небольшое облачко — одно из тех, которые в странах с жарким климатом стремительно разрастаются в грозные тучи и яростно проливаются на благодатную землю. Обри вскочил на лошадь, намереваясь стремительной ездой искупить свое промедление, но было уже поздно. В южных странах почти не бывает сумерек; солнце стремительно садится, и наступает ночь. Прежде чем Обри успел отъехать на некоторое расстояние, гроза оказалась над ним: гром

грохотал непрерывно, мощный ливень обрушился сквозь шатер листвы, зигзаги голубых молний падали и вспыхивали прямо у его ног. Внезапно лошадь испугалась и понеслась стремглав сквозь чащобу. Наконец, изнемогши, она остановилась, и при свете молний Обри заметил утлую лачугу, что едва возвышалась над окружавшими ее грудами сухих листьев и веток. Спешившись, Обри приблизился к лачуге в надежде, что ее обитатели помогут ему добраться до города или по крайней мере предоставят кров на время грозы. Едва Обри подошел к лачуге, гром на мгновение стих, и юноше почудились ужасающие крики женщины, сопровождаемые глухим торжествующим хохотом, с которым они слились почти нераздельно. Обри вздрогнул, но тут снова загрохотал гром, и с внезапным приливом сил юноша распахнул дверь хижины. Оказавшись в крошечной тьме, он стал продвигаться в ту сторону, откуда слышался шум. Появления его очевидно не заметили, ибо, хотя он звал, странные звуки продолжались и на Обри никто не обращал внимания. Наконец Обри наткнулся на невидимого противника и немедленно схватил его; незнакомец воскликнул: «Снова ты на моем пути!» — и громко расхохотался. Обри был сжат с нечеловеческой силой; намереваясь продать свою жизнь как можно дороже, юноша вступил в борьбу, но напрасно: его подняли в воздух и затем сверхъестественно мощным толчком швырнули оземь. Противник бросился на него, сдавил грудь коленом и уже схватил за горло, как вдруг в хижину через окно проник свет множества факелов. Потрясенный незнакомец вскочил, опрометью кинулся к двери, оставив свою жертву лежать на полу, и выбежал наружу. Громкий треск сучьев возвестил о его бегстве, и тут же все стихло. Гроза прекратилась, и лю-

ди с факелами расслышали стоны Обри. Они вошли в лачугу, огни осветили закопченные стены и соломенный потолок, покрытый хлопьями сажки. По настоянию Обри люди стали искать женщину, чьи стоны привлекли его во время ночной грозы. Юноша опять оказался во тьме; но каков же был его ужас, когда комната вновь озарилась факелами и он увидел бездыханное тело своей прежней прекрасной спутницы! Обри закрыл глаза, надеясь, что это было всего лишь видение, порожденное его расстроенным воображением, но, взглянув снова, он увидел то же тело, распростертое подле него. Щеки и даже губы Ианфы лишились красок; живость, прежде нерасторжимо свойственная ее чертам, уступила место недвижимому покою. Шея и грудь были залиты кровью, и на горле виднелись следы зубов, прокусивших вену. «Вампир, вампир!» — с ужасом воскликнули все, указывая на отметину. Были сооружены носилки, и Обри поместили рядом с той, которая еще недавно являлась предметом его сладостных мечтаний, ныне развеянных, ибо цветок ее жизни был оборван. Обри не в силах был постичь свои мысли, его разум оцепенел, перестал воспринимать реальность, ища спасения в бездействии. В руке юноша безотчетно стискивал причудливой формы кинжал, найденный в хижине. Вскоре печальная процессия встретила горожан, посланных на поиски Ианфы, чья мать была обеспокоена долгим отсутствием дочери. Когда они достигли города, их горестные восклицания предупредили отца и мать девушки о каком-то ужасном происшествии. Скорбь, охватившая ее родителей, не поддается описанию; однако, осознав причину смерти своего ребенка, они взглянули на Обри и указали на бездыханное тело. Оба были неутешны и умерли, снедаемые горем.

Обри пролежал несколько дней в жару; он часто бредил и звал то лорда Рутвена, то Ианфу; в силу какой-то необъяснимой связи он умолял своего спутника пощадить создание, которое было ему столь дорого. Иногда Обри призывал проклятия на голову Рутвена и обличал его как убийцу Ианфы. Лорду случилось в это время прибыть в Афины; когда он узнал о положении Обри, то, каковы бы ни были его мотивы, немедленно остановился в том же доме и ни на шаг не отлучался от юноши. Оправившись от лихорадки, Обри с ужасом увидел подле своей постели того, чей облик наводил его на мысли о вампирах; но лорд Рутвен говорил столь добрые слова, почти что раскаиваясь в дурном поступке, приведшем к их разрыву, и столь неустанно заботился о больном, что Обри вынужден был смириться с его присутствием. Его светлость, казалось, совершенно переменялся: от былой апатии, что когда-то поражала Обри, не осталось и следа. Однако, как только юноша пошел на поправку, к лорду постепенно вернулось прежнее умонастроение и разница меж прежним и нынешним лордом Рутвеном исчезла, разве что временами Обри с недоумением ловил на себе его пристальный взгляд, сопровождаемый улыбкой злобного торжества, и не понимал, почему эта улыбка лорда Рутвена так мучительна для него. Пока больной выздоравливал, лорд проводил долгие часы на берегу моря, наблюдая рябь легкого бриза на воде или следя за ходом светил, вращающихся, подобно нашей планете, вокруг недвижимого солнца; для своих прогулок он выбирал наиболее уединенные места.

Рассудок Обри значительно ослаб после пережитого потрясения. Молодой человек, казалось, навсегда утратил бодрость духа. Подобно лорду Рутвену,

он искал теперь уединения и тишины. Но возможно ли было сыскать их в Афинах? Когда он посещал древние руины, где часто бывал прежде, ему чудилось, будто Ианфа стоит рядом с ним, когда уходил в леса — Ианфа, казалось, легкой поступью бродила между деревьев, собирая скромные фиалки. Затем его расстроенному воображению она вдруг представилась бледной, с прокушенным горлом и отрешенной улыбкой на устах. Несчастный собрался покинуть края, где все вызывало в нем такие горькие воспоминания. Он предложил лорду Рутвену, считая себя обязанным ему за его заботливый уход во время болезни, посетить те области Греции, в которых они еще не бывали. Они путешествовали повсюду и посетили все достойные обозрения места, но, кажется, словно не замечали того, что видели. Они были наслышаны о разбойниках, но мало-помалу стали забывать о предупреждениях, считая, что это выдумки проводников, которые толками о мнимых опасностях желают побудить путешественников к большей щедрости. Итак, пренебрегши советами местных жителей, они отправились в путь с немногими сопровождающими, которые служили скорее проводниками, чем охраной. Достигнув узкого ущелья, по дну которого, усеянному огромными валунами, сорвавшимися со склонов, бежал ручей, путешественники вынуждены были раскатыться в своем легкомыслии, ибо, едва вся партия проникла в ущелье, над их головами засвистели пули и эхо выстрелов раскатилось меж каменных стен. Проводники тут же отбежали назад и, спрятавшись за камнями, открыли огонь в том направлении, откуда раздались выстрелы. Лорд Рутвен и Обри, последовав примеру проводящих, укрылись за спасительным изгибом ущелья; но затем, устыдившись того, что отступили пе-

ред противником, который криками ликования возглашал о своем преимуществе, и, предвидя неизбежное кровопролитие в случае, если разбойники вскарабкаются на скалу и нападут с тыла, они решились броситься вперед и настичь врага. Едва лишь они оставили укрытие, лорд Рутвен был ранен в плечо и упал наземь. Обри поспешил к своему спутнику; не обращая внимания ни на перестрелку, ни на грозившую ему самому опасность, он вскоре с удивлением увидел вокруг лица разбойников; проводники, едва заметив, что лорд Рутвен ранен, тут же побросали оружие и сдались.

Пообещав разбойникам большое вознаграждение, Обри убедил их сопроводить своего раненого друга до ближайшей хижины; согласившись на выкуп, он был избавлен от их доуки: лишь у входа в хижину была выставлена охрана до тех пор, пока один из разбойников не вернулся с суммой, о которой распорядился Обри. Лорд Рутвен быстро слабел; через два дня началась гангрена, и смерть приближалась к нему скорыми шагами. Его внешность и поведение не изменились; казалось, он не замечает боли точно так же, как когда-то не замечал окружавшей его обстановки; но на исходе последнего вечера он стал испытывать очевидное беспокойство и остановил свой взор на Обри, который все это время ухаживал за ним с необычайным усердием.

— Помогите мне! Вы можете спасти меня — и даже более чем спасти; кончиной своей я обеспокоен так же мало, как мимолетностью этого дня. Но вы можете спасти мою честь, честь вашего друга!

— Как я могу это сделать? Скажите, я исполню все, что должно! — отозвался Обри.

— Я нуждаюсь в самой малости. Жизнь моя убывает, и я не могу объяснить всего. Но если вы скро-

ете все, что знаете обо мне, честь моя будет спасена от позорной молвы; и если о моей смерти некоторое время не будут знать в Англии, тогда — тогда я спасен.

— О ней никто не узнает, — заверил Обри.

— Поклянитесь! — воскликнул умирающий, приподнимаясь на постели в порыве величайшего волнения. — Поклянитесь всем, что есть сокровенного в вашей душе, всем, за что вы опасаетесь, что ровно один год и один день вы никому ничего не расскажете ни о моих преступлениях, ни о моей смерти — ни одному живому существу, ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось и что бы вы ни увидели.

Глаза лорда, казалось, готовы были вылезти из орбит.

— Клянусь! — сказал Обри. С хохотом лорд откинулся на подушку и испустил дух.

Обри удалился, чтобы отдохнуть, но сон бежал от него. Многие обстоятельства, сопутствовавшие его знакомству с этим человеком, неизвестно почему будоражили ум юноши; о данной им клятве он вспоминал с содроганием, как если бы она должна была навлечь на него некие ужасные последствия. Поднявшись рано утром, он уже собрался было вернуться в хижину, где оставил покойного, когда встретившийся ему разбойник сказал, что после ухода Обри он и его товарищи, исполняя обещание, данное его светлости, отнесли тело лорда на вершину ближайшей горы и оставили там в бледном сиянии восходящего месяца. Обри был потрясен; взяв с собой нескольких человек, решил он идти с ними и предать покойного земле. Но, когда они поднялись на вершину, он не обнаружил ни тела, ни одежды, хотя разбойники клялись, что это та самая гора, где они оставили умершего. Некоторое время Обри терялся

в догадках, но в конце концов заключил, что разбойники похитили и тайно погребли покойного, дабы присвоить его платье.

Не в силах задерживаться долее в стране, где он пережил столько злоключений и где душу его охватывало суеверное уныние, Обри переехал в Смирну. В ожидании судна, на котором можно было бы отплыть в Отранто или Неаполь, он занялся приведением в порядок вещей, доставшихся ему после кончины лорда. Среди них он обнаружил небольшой сундук, где хранилось оружие, годное, чтобы на смерть поразить жертву. Это были кинжалы и ятаганы. Осторожно поворачивая их и рассматривая диковинные очертания, Обри с удивлением обнаружил ножны, орнамент на которых был точь-в-точь как на рукоятке кинжала, подобранного им в ту роковую ночь в лесной хижине. Он вздрогнул. Спеша удостовериться в своей правоте, он достал оружие, и можно вообразить себе его ужас, когда он заметил, что клинок в точности повторяет причудливую линию ножен. Взор его, прикованный к кинжалу, не нуждался в дальнейших подтверждении; и все же Обри не желал верить своим глазам. Однако совпадение очертаний ножен и клинка и одинаковый орнамент на ножнах и рукоятке кинжала служили неопровержимыми доказательствами, не оставлявшими места сомнениям; и тут и там виднелись следы крови.

Обри покинул Смирну. Проезжая по пути домой через Рим, он первым делом попытался разузнать что-либо о юной девушке, которую ему удалось похитить из силков развратника. Ему сообщили, что родителей ее постигло несчастье и они впали в нищету, а о девушке со времени отъезда его светлости никто ничего не слышал. У Обри едва ум не помутился от столь часто повторявшихся ужасных собы-

тий; он опасался, что юная леди стала жертвой того, кто погубил Ианфу. Обри сделался мрачен и молчалив и был занят лишь тем, что торопил возникших, дабы из-за промедления не утратить еще одно дорогое существо. Он прибыл в Кале; бриз, словно повинаясь его воле, скоро доставил корабль к берегам Англии. Обри поспешил ступить под кров отчего дома и там, в нежных объятиях своей сестры, как будто позабыл о печальных переживаниях. Если прежде он был привязан к ней как к милому ребенку, то теперь в ее проступавшей женственности он обрел удовольствие дружбы.

Мисс Обри не обладала той чарующей красотой, что приковывает взоры и вызывает восхищение в великосветских гостиных. Ей не был присущ тот поверхностный блеск, который так часто можно встретить в переполненных разгоряченными толпами балльных залах. Легкомыслие никогда не сквозило в ее голубых глазах; в них читалась очаровательная меланхолия, происходившая, казалось, не из несчастья, а из некоего сокровенного чувства, испытываемого душой, которой ведомы иные, более светлые обители. Ее поступь не отличалась той легкостью, с которой девицы преследуют бабочку или устремляются к пестрому цветку, но соответствовала ее всегда спокойному, задумчивому настроению. Когда она бывала одна, ее лицо никогда не озарялось улыбкой радости; но, когда брат одаривал ее любовью и забывал в ее обществе о горестях, разрушивших его покой, — кто мог бы променять ее улыбку на улыбку распутницы? Казалось, ее глаза и лицо в такие мгновения озарял свет ее собственной духовной родины. Мисс Обри было около восемнадцати. Ее еще не представили свету: опекуны дожидались возвращения с континента брата, который мог бы оказывать ей по-

кровительство. Решили, что в ближайший же официальный прием при дворе девушка вступит в «этот суетный мир». Обри, конечно, предпочел бы оставаться в своем родном гнезде, предаваясь унынию. Он не испытывал теперь интереса к легкомысленным удовольствиям модных чудаков, так как его ум терзали события прошлого. Тем не менее он согласился пожертвовать собственным покоем ради заботы о сестре. Вскоре они приехали в город и занялись приготовлениями к предстоявшему торжеству.

В залах было многолюдно: собраний не устраивалось давно, и всякий, чье сердце жаждало королевской улыбки, торопился поспеть сюда. Обри приехал вместе с сестрой. Он стоял в стороне, безразличный ко всему вокруг, и вспоминал, что именно здесь он впервые встретился с лордом Рутвенем. Вдруг кто-то крепко сжал ему руку и знакомый голос произнес: «Помните о своей клятве!» Обри едва нашел в себе силы обернуться, ожидая увидеть восставший из могилы грозный призрак. Неподалеку от него во плоти стоял его прежний спутник. Обри чуть не лишился чувств и был вынужден опереться на руку стоявшего с ним рядом знакомого. Пробравшись сквозь толпу к выходу, он бросился к своей карете и направился домой. Торопливыми шагами ходил он по комнате, стиснув голову руками, словно боялся, что одолевавшие его мысли могут вырваться наружу. Лорд Рутвен снова здесь — события стали принимать ужасный оборот — кинжал — данная лорду клятва... Обри сердился на самого себя, он не верил собственным глазам — возможно ли, чтобы мертвец восстал?! Не воображение ли вызвало призрак человека, о котором он постоянно размышлял? Не может быть, чтобы это случилось наяву. Обри решил не избегать общества. Он хотел было навести

справки о лорде Рутвене, но само это имя замирало у него на устах, и ему не удалось собрать никаких сведений. Несколько дней спустя он повез сестру на прием, который устраивала их близкая родственница. Оставив мисс Обри под покровительством почтенной матроны, он уединился в соседней комнате и всецело отдался своим мучительным думам. Наконец, заметив, что общество начинает расходиться, он встряхнулся, воротился в залу и нашел сестру окруженной тесным кольцом беседующих. Пытаясь пробиться к ней, он попросил одного джентльмена уступить дорогу. Тот обернулся — и Обри узнал ненавистные ему черты. Ринувшись вперед, Обри схватил сестру за руку и поспешно вывел на улицу. У входа в ожидании господ теснились слуги. Минуя их толпу, он снова услышал, как знакомый голос шепнул ему: «Помните о своей клятве!» Обри, не осмеливаясь оглянуться, поторопил сестру, и вскоре они оказались дома.

Обри был близок к помешательству. Он и раньше только и думал, что о лорде Рутвене, теперь же мысли о воскресшем чудовище целиком поглотили его рассудок. Сестре он почти перестал уделять внимание; напрасно девушка пыталась выяснить у брата, в чем причина его странного поведения. К ее ужасу, Обри бормотал в ответ что-то невнятное. Чем больше он размышлял, тем больше путались его мысли. Данная им клятва ужасала его: может ли он позволить мертвецу бродить по свету и нести погибель близким его сердцу, не пытаясь пресечь его путь? Даже его сестра могла стать жертвой призрака! Но, если он нарушит клятву и выскажет свои подозрения, — кто поверит ему? Он мог бы своей рукой освободить мир от этого изверга, но тот явно глумился над смертью. Целыми днями Обри проси-

живал в своей комнате, не видясь ни с кем, кроме сестры. Она приносила ему пищу и со слезами на глазах умоляла, хотя бы ради нее поддержать свои силы. Наконец, не вынеся неподвижности и одиночества, он покинул дом и отправился бродить по улицам, чтобы избавиться от преследовавшего его призрака. Заботы о внешности были оставлены; юноша сделался неузнаваем и слонялся по городу, не боясь ни полуденного зноя, ни вечерней сырости. Поначалу он возвращался домой с наступлением сумерек, но потом стал ночевать там, где его одолевала усталость. Сестра, заботясь о его безопасности, заставляла слуг следить за ним, но он ускользал от преследователей быстрее, чем иной — от мысли. Вскоре, однако, его намерения переменились. Тревожась за неосведомленных об опасности друзей и знакомых, которым в его отсутствие угрожала гибель от демона, он решил вернуться в общество, наблюдать за своим врагом и, презрев клятву, предупреждать всех, с кем лорд Рутвен успел сойтись. Но когда он воротился домой, его дикий, испытующий взгляд был настолько поразителен, его внутренняя дрожь столь заметна, что обеспокоенная сестра принялась уговаривать его ради любви к ней не посещать общества, так пагубно на него повлиявшего. Уговоры оказались бесполезны, и тогда опекуны сочли необходимым вмешаться, полагая, что у их подопечного повредился рассудок и что самое время вновь приступить к обязанностям, некогда порученным им родителями Обри.

Желая оградить юношу от оскорблений и страданий, ежедневно испытываемых им на улицах, а также скрыть от сторонних взглядов признаки его вероятного безумия, они пригласили в дом врача, который должен был постоянно за ним наблюдать.

Обри почти не замечал его присутствия. Ум его был занят одной-единственной ужасной мыслью. Наконец он стал вести себя так нелепо, что его заперли в комнате. Там он лежал целыми днями, безнадежно погруженный в тоску. Он выглядел истощенным, глаза его приобрели стеклянный блеск. Только в присутствии сестры он преображался, показывая, что не утратил окончательно памяти и способности любить. Когда она заходила к нему, он вскакивал, хватал ее за руки и, устремив на нее взгляд, повергавший ее в отчаяние, заклинал: «Остерегайся его! Если ты все еще любишь меня — не подходи к нему!» Она пыталась узнать, кого же брат имеет в виду, но он только повторял: «О, верь мне, верь!» — и снова погружался в тоску, из которой даже она бессильна была его вывести. Так прошло много месяцев. Год почти истек, Обри сделался не таким рассеянным и мрачным, и опекуны начали замечать, что он по несколько раз в день пересчитывает что-то на пальцах и при этом улыбается.

Условленный срок близился к концу. Как-то, в последний день года, в комнату к юноше вошел один из опекунов и, обращаясь к врачу, выразил сожаление о том, что тот находится в столь прискорбном состоянии как раз накануне свадьбы мисс Обри. Молодой человек встревожился и спросил, за кого сестра выходит замуж. Собеседники, обрадовавшись, что к Обри возвращается разум, который, как они опасались, навсегда покинул его, назвали имя графа Марсдена. Обри остался доволен, так как подумал, будто речь идет о юном графе Марсдене, с которым он не раз встречался в свете и который был известен своими высокими достоинствами. К удивлению родных, он заявил, что хочет присутствовать на свадьбе сестры, и выразил желание немедленно ее видеть.

Опекуны ничего не ответили, но через пять минут сестра уже была у него в комнате. Растроганный ее нежной улыбкой, Обри обнял сестру и расцеловал в обе щеки, мокрые от слез умиления, вызванных сознанием того, что брат вновь обретает способность любить. Он заговорил с ней, по обыкновению, с нежностью и благословил ее предстоящий союз с человеком столь выдающегося положения и достоинств. Внезапно, заметив медальон у нее на груди, он открыл его и увидел изображение чудовища, которое имело столь долгое влияние на его жизнь. В ярости он схватил портрет, швырнул на пол и принялся топтать ногами. Девушка спросила, чем ему не по нраву ее будущий муж. Обри, вперив в нее безумный взор, схватил ее за руки и умолял дать обещание, что она никогда не станет женой этого монстра, ибо... Но он не мог продолжать — он как будто снова услышал голос, приказывавший ему хранить клятву. Обри с испугом оглянулся, думая, что рядом находится лорд Рутвен, но никого не увидел. Тем временем опекуны и врач, которые все слышали и решили, что у него вновь помутился рассудок, поспешно вошли в комнату и разлучили его с девушкой, убедив ее удалиться. Обри упал перед ними на колени и заклинал хотя бы на день отложить свадьбу. Те, воображая, что он безумен, всячески постарались успокоить его и ушли.

На следующий день после приема во дворце лорд Рутвен заезжал к Обри, однако он, как и все прочие, не был принят. Услышав о болезни Обри, лорд Рутвен тотчас понял, что он является тому причиной; когда же он узнал, что молодого человека считают безумным, то с трудом смог скрыть от собеседников свое радостное волнение. Он сделался частым гостем в доме бывшего спутника, прилежно расспраши-

вал мисс Обри о здоровье брата, выказывал свою привязанность к нему и тем снискал ее расположение. Кто смог бы противостоять его власти? Искусными и опасными речами он описал себя как человека, который ни в одной душе, населяющей этот мир, не находит сочувствия. Он заверял мисс Обри, что стал ценить жизнь лишь с тех пор, как встретил ее, что ему достаточно лишь слышать от нее слова утешения. Иначе говоря, владел ли он в совершенстве искусством змия или такова была воля судьбы, только лорд Рутвен сумел завоевать привязанность девушки. Графский титул, неожиданно доставшийся ему, и сопутствовавшее званию высокое дипломатическое назначение стали поводом к тому, чтобы ускорить свадьбу, несмотря на расстроенное здоровье брата мисс Обри. Брачные узы должны были связать ее и лорда Рутвена накануне его отбытия на континент.

Когда врач и опекуны ушли и оставили Обри одного, он попытался подкупить слуг, но безуспешно. Он попросил перо и бумагу, ему их подали. Несчастный написал письмо сестре, заклиная девушку ее собственным счастьем, честью и памятью покойных родителей, некогда видевших в ней утешение и надежду семейства, отложить хотя бы на несколько часов свадьбу, которую он осыпал самыми тяжкими проклятиями. Слуги обещали доставить письмо по назначению, однако передали письмо врачу, который не счел нужным тревожить мисс Обри бреднями маньяка.

Всю ночь в доме не спали. Обри с ужасом, который легче вообразить, чем описать, понимал, что идут приготовления к свадьбе. Наступило утро, и он услышал, как подъехали экипажи. Он был близок к неистовству. Наконец сторожившие Обри слуги,

подавшись любопытству, потихоньку ушли, и он остался на попечении одной беспомощной старухи. Воспользовавшись случаем, Обри бросился вон из комнаты и через несколько минут был уже в покоях, где собрались все. Первым его заметил лорд Рутвен. Вне себя от злобы, он подскочил к Обри и, схватив несчастного за руку, в безмолвной ярости выволок за дверь. У лестницы лорд шепнул ему: «Помните о клятве! И знайте: если свадьба расстроится, сестра ваша будет обесчещена. Женщины слишком слабы!» С этими словами он толкнул его навстречу сбежавшимся слугам: его уже искали, так как старуха подняла переполох. Обри был сломлен: гнев его, не найдя выхода, разорвал кровеносный сосуд; молодого человека отнесли в его комнату и уложили на постель. Мисс Обри, которая не была свидетельницей его внезапного появления, ничего не сказали: врач боялся волновать ее. Брак был заключен, и молодые уехали из Лондона.

Слабость Обри возрастала; кровоизлияние вызвало симптомы, свидетельствовавшие о приближении смерти. Обри призвал опекунов сестры и, когда часы пробили полночь, во всех подробностях поведал им историю, уже известную читателю. Тотчас после этого он скончался.

Опекуны поторопились вослед мисс Обри, желая защитить ее, но было уже слишком поздно. Лорд Рутвен исчез; сестра Обри утолила жажду ВАМПИРА!

Джордж Гордон Байрон

<ОГАСТ ДАРВЕЛЛ>

В 17** году, намереваясь побывать в краях, редко посещаемых странниками, я отправился в путь вместе со своим другом; назовем его Огастом Дарвеллом. Он был несколькими годами старше меня, обладал значительным состоянием и происходил из древнего рода. Незаурядный ум позволял ему верно ценить эти преимущества, не умаляя, но и не преувеличивая их важности. Некоторые не совсем обычные обстоятельства его прошлого привлекли мое внимание, возбудили интерес и даже вызвали к нему уважение, чему не мешали ни переменчивость его характера, ни проявлявшееся по временам и граничившее порой с умопомешательством беспокойство.

Я весьма рано вступил в самостоятельную жизнь, но сближение мое с Дарвеллом произошло недавно. Мы учились в одной школе и выбрали один и тот же университет, однако по времени он опережал меня и уже успел с головой окунуться в жизнь так называемого высшего света, в котором я все еще продолжал оставаться новичком. Мне довелось немало слышать о его прошлой и настоящей жизни, и, хотя все эти рассказы содержали множество неувязок и противоречий, в целом у меня сложилось впечатление о нем как о личности недюжинного скла-

да — из разряда тех, кто, даже стремясь оставаться в тени, неизменно привлекает к себе внимание. Я старался поддерживать знакомство с ним, добиваясь его дружеского расположения, но последнее казалось недостижимым. Возможно, когда-то он был обуреваем чувствами, которые со временем либо угасли, либо были подавлены; однако я имел достаточно случаев убедиться в их глубине, ибо, даже владея собой, Дарвелл не мог полностью скрыть своих переживаний. Он умел, впрочем, прятать одну страсть под личиной другой таким образом, что было трудно определить истинную природу происшедшего в его душе. Оттенки настроений на его лице сменяли друг друга столь стремительно и неуловимо, что казалось невозможным проследить их источник. Было очевидно, что его терзает неисцелимое беспокойство, но страдал ли он от амбиций, любовной страсти, угрызений совести или же был снедаем горем, действовали тут все эти причины вкупе или только одна из них, либо виной всему являлся его болезненный нрав, родственный тайному недугу, — этого я распознать не мог. Порой обстоятельства указывали на ту или иную подоплеку, но, как я уже говорил, первопричины выглядели настолько противоречивыми, так мало согласовались между собой, что назвать какую-либо со всей определенностью было едва ли возможно. Где есть тайна, там обыкновенно предполагают и зло: не знаю, так ли это, но Дарвелла явно окутывала таинственность; я никоим образом не мог определить меру его порочности — да, признаться, и не желал верить в ее существование. Мои попытки сблизиться были встречены им довольно холодно, но я был молод, не терял надежды и наконец добился с его стороны большей общительности и той сдержанной доверительности в бе-

седах на обычные повседневные темы, которая возникает и укрепляется благодаря сходству стремлений и частоте встреч и которая зовется близостью или дружбой — в зависимости от того, какой смысл вкладывать в эти слова.

Дарвеллу уже доводилось немало путешествовать, и я обратился к нему за советом по поводу намеченного мной странствия. Я втайне надеялся уговорить его присоединиться ко мне, и для этой надежды были основания: в нем чувствовалось смутное беспокойство, и, оставаясь холодным ко всему, что его окружало, Дарвелл необыкновенно оживлялся, когда речь шла о путешествиях. Сначала я только намекнул на свое желание, но потом высказал его более определенно: ответ, хотя я и предвидел его, приятно меня удивил. Дарвелл согласился, и после необходимых приготовлений мы отправились в путь. Посетив некоторые страны на юге Европы, мы в соответствии с нашим первоначальным замыслом устремились на Восток; там и произошло событие, ради описания которого я взялся за перо.

Дарвелл, судя по его наружности, в юные годы отличавшийся необычайной крепостью, неожиданно занемог без видимых признаков какого-либо заболевания — у него не было ни кашля, ни лихорадки, но он слабел с каждым днем. В привычках своих он сохранял умеренность, никогда не жаловался на плохое самочувствие или усталость и тем не менее чах, становился все молчаливее, томился бессонницей и под конец так изменился, что я стал не на шутку опасаться за него.

По прибытии в Смирну мы собирались посетить развалины Эфеса и Сард; однако я попытался отговорить Дарвелла от поездки, поскольку он к тому времени очень ослаб. Но Дарвелл, несмотря на

то что был сумрачен и подавлен, с лихорадочностью настаивал на исполнении нашего замысла. Хотя я и расценивал предстоявшую поездку как увеселение, малоподходящее для тяжелобольного, спорить было бесполезно, и через несколько дней мы отправились вместе, в сопровождении слуги и одного янычара.

Оставив позади более плодородные окрестности Смирны, мы оказались на полпути к Эфесу. Заброшенная, безлюдная дорога вела через болота и теснины к разрушенному храму Дианы. Неподалеку от храма истлевали лачуги изгнанных христиан да несколько забытых мечетей, хотя и не таких древних, но ввергнутых в совершенное запустение. Внезапно моему другу сделалось так плохо, что нам пришлось остановиться на турецком кладбище, где одни лишь увенчанные тюрбанами надгробия свидетельствовали о некогда теплившейся в этих пустынных краях человеческой жизни. Ближайший караван-сарай остался далеко позади, поблизости не было ни деревушки, ни одинокой лачуги; «город мертвых» стал единственным прибежищем для моего несчастного друга, которому, казалось, вот-вот предстояло войти в число его вечных обитателей.

Я огляделся в поисках более удобного места для отдыха; в отличие от большинства магометанских кладбищ, здесь росло всего несколько разрозненных кипарисов; надгробные плиты по большей части были опрокинуты наземь и выщерблены временем. На одной из них, под самым густым кипарисом, расположился Дарвелл; он полулежал, с трудом опираясь на локоть.

Ему захотелось пить. Я сомневался, что поблизости есть источник, но все же, побуждаемый отчаянием, отправился было на поиски, однако Дарвелл

удержал меня. Обернувшись к Сулейману, сопровождавшему нас янычару, который стоял рядом и с невозмутимым видом курил трубку, он сказал: «Сулейман, *вербана су* (что значит: принеси воды)», и подробно описал, как найти источник, из которого поили верблюдов, находившийся в сотне шагов вправо. Янычар повиновался.

— Как вы узнали об этом источнике? — спросил я.

— По нашему местоположению: вы видите сами, что когда-то здесь жили люди, значит, где-то поблизости должна быть вода. К тому же я бывал здесь прежде.

— Вы бывали в этих краях! Почему вы не говорили мне об этом? И что вы делали здесь, где никто не станет задерживаться ни секундой дольше, чем этого требует необходимость?

На этот вопрос он ничего не ответил. Тем временем Сулейман возвратился с водой. Лошадей он оставил у источника, на попечении слуги. Утолив жажду, Дарвелл как будто снова ожил; у меня появилась надежда, что мы продолжим свой путь или по крайней мере сможем возвратиться, и я сделал попытку заговорить с ним об этом. Дарвелл молчал: казалось, он собирается с силами, чтобы ответить.

— Здесь кончаются мое путешествие и моя жизнь, — вымолвил он. — Я пришел сюда, чтобы умереть. Но у меня есть просьба, которая должна быть исполнена, или приказание — именно так следует расценить мое последнее слово. Выполните ли вы его?

— Непременно; но не будем, однако, терять надежды!

— Я ни на что не надеюсь и ничего не желаю, кроме одного: утаить от людей свою кончину.

— Я верю, что все обойдется; вы отдохнете, и мы...

— Молчите! Этого не миновать. Обещайте мне!

— Обещаю.

— Клянитесь именем... — Он проговорил слова страшной клятвы.

— В этом нет нужды — я обещаю исполнить вашу волю, и сомневаться во мне...

— В обещаниях мало проку. Вы должны поклясться.

Я произнес слова клятвы, и это как будто успокоило Дарвелла. Он снял с пальца перстень с печатью, на котором были начертаны арабские письмена, и отдал его мне.

— В девятый день месяца, ровно в полдень... какой это будет месяц, не важно, но день должен быть непременно девятым, — продолжал он, — бросьте этот перстень в соленые воды реки, что впадает в Элевсинскую бухту. День спустя, в то же самое время, вам следует прийти к развалинам храма Цереры и ждать один час.

— Ждать чего?

— Увидите.

— Вы говорите, в девятый день месяца?

— Да, в девятый.

Я сказал ему, что сегодняшний день в месяце как раз девятый. Выражение лица его изменилось, и он умолк. Пока он так сидел, слабая у меня на глазах, на одну из могильных плит неподалеку от нас опустился аист со змеей в клюве; не торопясь расправиться со своей жертвой, он пристально смотрел на нас. Не знаю, что побудило меня прогнать его, но старания мои были тщетны: птица взмыла вверх и, покружив в воздухе, вновь села на прежнее место. Дарвелл с улыбкой указал на нее и

пробормотал, непонятно, для меня ли или для самого себя:

— Замечательно!

— Замечательно? Что вы имеете в виду?

— Не важно. Похороните меня нынешним вечером там, где теперь сидит эта птица. Остальное вам известно.

Он дал мне несколько указаний относительно того, как можно наилучшим образом утаить его смерть. Затем спросил:

— Видите ли вы этого аиста?

— Да, вижу.

— И змею, что у него в клюве?

— Конечно. Тут нет ничего странного: это его обычная пища. Удивительно только, что аист не пожирает ее.

Дарвелл жутко улыбнулся и сказал слабым голосом:

— Еще не время!

Едва он это произнес, птица поднялась в воздух и улетела. Не более десяти секунд я следил за ее полетом, как вдруг почувствовал, что Дарвелл всем своим весом давит мне на плечо. Я обернулся к нему — он был уже мертв!

Я был потрясен его смертью, в которой не могло быть сомнений, — лицо его в несколько минут сделалось почти черным. Я приписал бы столь быструю перемену действию яда, если бы не был убежден, что Дарвелл не мог принять его столь незаметно. День близился к концу, тело стремительно разлагалось, и мне не оставалось ничего другого, как исполнить последнюю волю покойного. При помощи Сулейманова ятагана и моей сабли мы выкопали неглубокую могилу на том самом месте, которое указал Дарвелл. Земля легко поддавалась, поскольку

ку незадолго до того здесь были погребены останки почившего магометанина. Мы копали так глубоко, как нам позволяло время, и присыпали сухой землей все, что осталось от этого уникального, только что прекратившего жить создания. Срезав там, где трава не совсем пожухла, несколько кусков зеленого дерна, мы прикрыли им могилу.

Ошеломленный, подавленный горем, я был не в силах плакать.

Эрнст Теодор Амадей Гофман

<ВАМПИРИЗМ>

Граф Ипполит воротился из долгих и дальних странствий, дабы вступить во владение богатым наследством своего недавно умершего отца. Их родовой замок стоял в красивой, прелестной местности, и доходов от имения хватило бы на самые дорогостоящие его украшения. Все вещи подобного рода, что обратили на себя внимание графа во время его путешествий и показались ему, особенно в Англии, очаровательными, исполненными вкуса, роскошными, должны были ныне снова воплотиться перед его глазами. Ремесленники и художники, потребные для такого дела, съехались к графу по его зову, и без промедления началась перестройка замка и закладка обширного парка в изысканном стиле, так что даже церковь, кладбище и дом священника оказались внутри ограды и выглядели частью этого искусственного леса. Всеми работами руководил сам граф, обладавший необходимыми для того познаниями, он душой и телом отдался этим занятиям, и так миновал целый год, а графу меж тем даже в голову не пришло последовать совету старого дядюшки и предстать во всем своем блеске в столице княжества пред очами молодых дев, дабы лучшая, прекраснейшая, благороднейшая из них досталась ему в жены. И вот сидел он однажды утром за чертежным сто-

лом, чтобы начертить план нового здания, как вдруг ему доложили о приезде старой баронессы, дальней родственницы его отца. Услыхав имя баронессы, Ипполит тотчас вспомнил, что отец его всегда говорил об этой старухе с глубоким негодованием, даже с отвращением, а иногда предупреждал людей, желавших ближе с нею познакомиться, чтобы они держались от нее подальше, однако ни разу не указал причину опасности. Когда старого графа пытались расспросить поподробнее, он обыкновенно отвечал, что есть на свете вещи, о коих лучше молчать, нежели говорить. Точно известно было лишь то, что в столице ходили темные слухи о каком-то весьма странном, неслыханном уголовном процессе, в который была вовлечена баронесса, что процесс этот разлучил ее с мужем, изгнал из отдаленного уголка, где она жила, и что дело удалось замять лишь благодаря милости князя. Граф почувствовал себя весьма неприятно задетым визитом особы, которую отец его ненавидел, хотя причины этой ненависти и оставались ему неведомы. Тем не менее закон гостеприимства, особенно чтимый в провинции, предписывал ему принять незваную гостью. Никогда еще ни один человек не производил на графа такого отвратительного впечатления своей наружностью, как эта баронесса, хотя она вовсе не была безобразной. Входя в комнату, она пронзила графа пылающим взглядом, потом опустила глаза долу и в почти смиренных выражениях попросила извинения за свой визит. Она жаловалась, что отец графа, будучи во власти странного предубеждения, которое коварнейшим образом сумели внушить ему лица, враждебно к ней настроенные, до самой своей смерти ее ненавидел и ни единого разу не оказал ей ни малейшей поддержки, невзирая на то что она едва не погибает от жесто-

чайшей бедности и принуждена стыдиться своего положения. Наконец, совершенно неожиданно разжившись небольшой суммою денег, она получила возможность покинуть столицу и укрыться в одном отдаленном городке. На пути туда не смогла она противостоять порыву увидеть сына того человека, которого, несмотря на всю его несправедливую непримиримую ненависть к ней, всегда глубоко почитала. Баронесса произносила все это трогательно-искренним тоном, и граф почувствовал себя действительно взволнованным, когда, отвернувшись от противного лица баронессы, погрузился в созерцание дивно прелестного, грациозного существа, вошедшего вместе с баронессою. Баронесса умолкла; граф, казалось, этого не заметил, — он был нем. Тогда баронесса попросила извинить ей замешательство, охватившее ее в этом доме, чем только и можно объяснить, что она не тотчас представила графу свою дочь Аврелию. Только теперь к графу вернулась речь, и, покраснев до корней волос, в смятении влюбленного юноши, он заклинал баронессу позволить ему загладить то зло, какое отец его мог причинить ей лишь по недоразумению, и впредь чувствовать себя в его замке как дома. Дабы заверить баронессу в своей искренности, он схватил ее руку, но его слова, его дыхание вдруг пресеклись, ледяная дрожь пронизала его до мозга костей. Он почувствовал, что рука его стиснута окостеневшими пальцами мертвеца, а высокая костлявая фигура баронессы, которая глядела на него неживыми глазами, показалась ему наряженным в уродливо-пестрое платье трупом. «О Боже мой, что за беда, и как раз в этот миг!» — вскричала Аврелия и нежным голосом, проникающим в самое сердце, посетовала, что на ее несчастную мать иногда внезапно нападает столбняк,

однако же это состояние обычно проходит очень быстро и само собой, без каких бы то ни было средств. С трудом высвободил граф свою руку из когтей баронессы, но весь огненный поток сладостного желания прихлынул к нему снова, когда взял он руку Аврелии и пылко прижал к губам. Почти достигнув зрелого возраста, граф впервые почувствовал всю силу страсти, тем менее был он способен скрывать свои чувства, и та детски наивная приветливость, с какою Аврелия их восприняла, зажгла в нем самые радужные надежды. Не прошло и нескольких минут, как баронесса очнулась от столбняка и, совершенно не сознавая недавнего своего состояния, принялась заверять графа, сколь высокую честь он ей оказывает, предлагая провести некоторое время в его замке и тем побуждая ее разом забыть всю несправедливость, причиненную ей его отцом. Так положение графа в собственном доме внезапно изменилось, и он волей-неволей уверовал в то, что особое благоволение судьбы привело к нему ту единственную на всей земле, которая, став его горячо любимой, обожаемой женой, может даровать ему высшее земное счастье. Поведение старой баронессы оставалось ровным, она была молчалива, серьезна, даже замкнута, а когда для того находился повод, выказывала мягкое расположение духа и сердце, открытое для любой невинной забавы. Граф привык к на самом деле странно морщинистому, мертвенно-бледному лицу, к призрачной фигуре старухи, все это он приписывал ее болезненности, а также склонности к мрачным мечтаниям, — как узнал он от своих людей, она часто совершала ночные прогулки через парк в сторону кладбища. Граф стыдился того, что отцовский предрассудок мог так им завладеть, и настоятельнейшие призывы старого дядюшки подавить за-

хватившее его чувство и разорвать отношения, которые совершенно неизбежно, рано или поздно, приведут его к гибели, не возымели на графа ни малейшего действия. Глубоко уверенный в искренней любви к нему Аврелии, попросил он ее руки, и можно вообразить, с какой радостью приняла это предложение баронесса, которая, едва выбравшись из крайней бедности, увидела себя на вершине счастья. Бледность Аврелии и то особое выражение ее лица, какое указывает на тяжелую и непреодолимую душевную боль, исчезли бесследно, блаженство любви сияло в ее глазах, розовело румянцем на щеках. Потрясающий случай разбил надежды графа в самый день свадьбы. Баронессу нашли в парке невдалеке от кладбища, она лежала на земле ничком, без признаков жизни. Ее перенесли в замок как раз в ту минуту, когда граф встал с постели и в упоении обретенным счастьем выглянул в окно. Он подумал было, что у баронессы случился ее обычный припадок; однако все средства, какими пытались вернуть ее к жизни, оказались напрасны: она была мертва. Аврелия не столько предавалась бурным изъяснениям скорби, сколько молча, без слез переносила постигший ее удар, казалось отнявший у нее все жизненные силы. Граф тревожился за возлюбленную и позволил себе лишь исподволь, осторожно напомнить ей о ее нынешнем положении круглой сироты, каковое вынуждает их пожертвовать некоторыми приличиями, дабы соблюсти приличия более важные, то есть, невзирая на смерть ее матушки, поторопиться со свадьбой, насколько это будет возможно. Тут Аврелия бросилась графу на шею и, заливаясь слезами, вскричала пронзительным, душевраздирающим голосом: «Да-да! Ради всех святых, ради спасения моей души — да!» Граф приписал эту

вспышку душевного волнения горестной мысли, что она, покинутая, бесприютная, не знала, куда теперь податься, ведь оставаться в замке ей не позволяли приличия. Граф позаботился о том, чтобы взять Аврелии компаньонку — достойную пожилую матрону — до тех пор, пока через несколько недель не наступил опять день свадьбы, которую на сей раз не расстроил никакой злой случай и которая увенчала счастье Ипполита и Аврелии. Меж тем до этого дня Аврелия постоянно пребывала в каком-то странном напряжении. Но не скорбь об утрате матери, — нет, казалось, ее неустанно преследует глубокий, невыразимый, убийственный страх. Посреди нежнейшей любовной беседы она, случалось, неожиданно вскакивала, будто охваченная внезапным испугом, лицо ее покрывалось смертельною бледностью; заливаясь слезами, она сжимала графа в своих объятьях, словно хотела за него уцепиться, чтобы невидимая враждебная сила не увлекла ее в гибельную бездну, и вскрикивала: «Нет — никогда, никогда!»

Лишь теперь, когда она была обвенчана с графом, напряжение как будто бы оставило ее и тот ужасный глубокий страх не терзал ее больше. Граф не мог не заподозрить, что душу Аврелии гнетет какая-то зловещая тайна, однако он справедливо полагал, что было бы не деликатно спрашивать об этом Аврелию, пока она пребывает в таком напряжении и сама ничего ему не говорит. Теперь же он осмелился осторожно намекнуть ей, что хотел бы знать причину ее странного душевного состояния. В ответ Аврелия заверила его, что для нее было бы благодеянием излить ему, любимому супругу, всю душу. Граф был немало изумлен, когда узнал, что только гнусные выходки матери повергли Аврелию в тоску, близкую к умопомешательству. «Бывает ли на свете, — вскри-

чала Аврелия, — что-либо ужаснее, чем быть вынужденной ненавидеть, презирать собственную мать?» Значит, отец графа, его дядя вовсе не были во власти ложного предубеждения, а баронесса обманула графа своим расчетливым притворством. И лишь благоприятным для его спокойствия стечением обстоятельств должен был граф теперь считать, что эта злая мать умерла в день его свадьбы. Он не скрыл от Аврелии этих своих мыслей, но она объявила ему, что именно в миг смерти матери почувствовала, как охватили ее мрачные, страшные предчувствия, как она не в силах была побороть ужасный страх, что покойница восстанет из могилы и, вырвав ее из объятий возлюбленного, утащит в бездну. Аврелия очень смутно помнила (так она рассказывала) одно событие своего раннего детства, — как однажды утром, когда она только проснулась, у них в доме поднялась ужасная суматоха. Хлопали двери, кричали попеременно какие-то чужие голоса. Наконец, когда шум немного стих, няня взяла Аврелию на руки и отнесла в большую комнату, где было полно народу. Посредине, на длинном столе, вытянувшись, лежал человек, который часто играл с Аврелией, пичкал ее сладостями и которого она звала папой. Она потянулась к нему ручонками и хотела поцеловать. Но его губы, прежде всегда теплые, на сей раз были холодны как лед, и Аврелия, сама не зная почему, громко расплакалась. Няня отнесла ее в чужой дом, где она пробыла долгое время, пока не приехала наконец какая-то женщина и не увезла ее с собой в карете. Оказалось, что это ее мать, и вскоре затем она вместе с Аврелией уехала в столицу княжества. Аврелии было уже лет шестнадцать, когда к баронессе явился человек, которого она приняла с радостью и с открытой душой, как старого доброго зна-

когого. Человек этот стал приходить все чаще и чаще, и вскорости в домашних обстоятельствах баронессы произошли весьма заметные перемены. Если до сих пор она ютилась в чердачной комнатушке и довольствовалась жалкими платьями и скудной пищей, то теперь переехала в красиво обставленную квартиру в одном из лучших районов города, обзавелась роскошными платьями, изысканно ела и пила вместе с незнакомцем, который ежедневно делил с нею стол, и принимала участие во всех публичных увеселениях, какие только предлагала столица. Одной только Аврелии никак не коснулась эта перемена в положении ее матери, коей та была явно обязана незнакомцу. Девушка сидела взаперти в своей комнате, когда баронесса и ее друг где-то предавались удовольствиям, и ходила так же бедно одетая, как раньше. Незнакомец, которому было уже, наверное, лет сорок, выглядел весьма моложаво, был высок ростом, хорошо сложен, да и лицо его, можно сказать, отличала мужественная красота. Несмотря на это, Аврелии он был противен, ибо в его поведении, пусть и старался он всячески подделываться под светского человека, часто давали себя знать грубые, неотесанные повадки черни. Однако взгляды, какие он начал теперь задерживать на Аврелии, наполняли ее несказанным ужасом, даже омерзением, которого она и сама не могла себе объяснить. Все это время баронесса не снисходила до того, чтобы молвить Аврелии хоть слово про незнакомца. Теперь же она назвала Аврелии его имя, добавив, что барон несметно богат и приходится им дальним родственником. Она расхваливала его статную фигуру, его достоинства и в заключение спросила, нравится ли он Аврелии. Аврелия не стала скрывать глубокого отвращения, какое питала она к незнакомцу, но баронесса сверкнула на

нее таким взглядом, что она содрогнулась от страха, да еще обозвала ее глупой, безмозглой девчонкой. Вскоре затем баронесса сделалась приветлива с Аврелией более, чем была когда-либо прежде. Девушку одарили модными платьями, всевозможными богатými и модными украшениями, позволили участвовать в публичных увеселениях. Незнакомец так неотступно пытался завоевать расположение Аврелии, что становился ей еще противнее. Однако ее девичья стыдливость была смертельно оскорблена, когда злой случай сделал ее тайной свидетельницей возмутительно мерзких отношений незнакомца с ее развратной матерью. Когда через несколько дней этот человек, осмелев во хмелю, схватил Аврелию в объятья, не оставив у нее никаких сомнений в гнусности своих намерений, отчаяние вдруг придало ей не женскую силу, — она оттолкнула его, да так, что он полетел кувыркoм, после чего убежала и заперлась у себя в комнате. Баронесса холодно и жестко объявила Аврелии, что, поскольку незнакомец полностью взял на себя их содержание и у нее нет ни малейшей охоты возвращаться в прежнюю нищету, всякое дурацкое жеманничанье здесь нетерпимо и бесполезно, Аврелия должна покориться воле незнакомца, так как он пригрозил, что в противном случае оставит их на произвол судьбы. Нисколько не тронутая мольбами Аврелии, ее горячими слезами, старуха, нагло издеваясь над дочерью, с громким смехом стала расписывать ей, как связь с незнакомцем откроет ей все радости жизни, и говорила об этом с таким подлым бесстыдством, которое бросало вызов всякому нравственному чувству и прямо-таки ужаснуло Аврелию. Она поняла, что погибла, и единственную возможность спастись видела в поспешном бегстве. Она сумела добыть ключ от входной двери,

упаковала то небольшое из своих пожитков, что могло понадобиться ей в первую очередь, и после полуночи, когда, как она полагала, ее мать крепко спала, прокралась в тускло освещенный аванзал. Только было она собралась тихонько из него выскользнуть, как входная дверь с грохотом распахнулась, и кто-то побежал вверх по лестнице. В аванзал вбежала и пала к ногам Аврелии баронесса в дешевой грязной блузе, с обнаженными руками и грудью, с распущенными и всклокоченными седыми волосами. А за ней по пятам следовал незнакомец; с пронзительным криком: «Погоди у меня, мерзкая дьяволица, ведьма проклятая, закачу я тебе свадебку!» — он принялся таскать ее за волосы по залу и жесточайше избивать толстой дубинкой, которую держал при себе. Баронесса испустила ужасающий отчаянный крик, Аврелия, не помня себя, бросилась к открытому окну и стала громко звать на помощь. Случилось так, что по улице как раз проходил вооруженный полицейский патруль. Полицейские тотчас вбежали в дом. «Держите его! — вскричала навстречу им баронесса, корчась от ярости и боли. — Держите хорошенько! Оголите ему спину, ведь это...» Как только она произнесла его имя, полицейский сержант, командир патруля, радостно воскликнул: «О-го-го, вот ты и попался нам, сатана!» Незнакомца схватили и потащили прочь, как он ни отбивался. Несмотря на все случившееся, баронесса прекрасно поняла замысел Аврелии. Она ограничилась тем, что довольно грубо схватила девушку за руку, втолкнула к ней в комнату и заперла за собой дверь, не сказав при этом ни слова. На другое утро баронесса ушла из дома и воротилась лишь поздно вечером, Аврелия же оставалась взаперти у себя в комнате, как в тюрьме, ни с кем не виделась и не разговаривала — и, таким

образом, принуждена была просидеть целый день без еды и питья. Так продолжалось несколько дней кряду. Баронесса часто смотрела на нее сверкающими от гнева глазами, казалось, она вынашивает какое-то решение, но вот однажды вечером она получила письма, содержание коих, по-видимому, ее обрадовало. «Безмозглая тварь, это ты во всем виновата, но теперь дело уладилось, и я сама хочу, чтобы тебя миновала страшная кара, какую назначил тебе злой дух». Так говорила Аврелии баронесса, со временем она стала с ней поласковой, и Аврелия, которая перестала помышлять о бегстве с тех пор, как того мерзкого человека уже не было в доме, снова получила большую свободу.

Прошло некоторое время, и как-то раз, когда Аврелия одиноко сидела у себя в комнате, на улице поднялся страшный шум. К ней вбежала горничная и сообщила, что мимо них везут сына палача из ***, которого там заклеямили за разбой и убийство и отправили в каторжную тюрьму, но по дороге он от своих стражей сбежал. Аврелия, охваченная тревожным предчувствием, нетвердой поступью подошла к окну, — она не обманулась, это был тот самый незнакомец, это его, прикованного к телеге и окруженного многочисленной стражей, везли сейчас мимо их дома. Его возвращали туда, где он должен был отбывать наказание. Аврелия, близкая к обмороку, опустилась в кресло, когда ее настиг дико злобный взгляд этого типа, когда он с устрашающим видом погрозил ей кулаком.

Баронесса по-прежнему на долгие часы уходила из дома, но Аврелию никогда с собой не брала, и та вела мрачную, печальную жизнь, предаваясь размышлениям о своей судьбе, о том, какая страшная беда может ни с того ни с сего с нею случиться. От

горничной, которая, между прочим, была взята в дом лишь после описанного ночного происшествия и которой, видимо, рассказали, будто бы тот прохвост состоял в близких отношениях с баронессой, Аврелия узнала, что в резиденции князя баронессу очень жалеют за то, что подлый преступник ее так бессовестно обманул. Аврелия слишком хорошо знала, что дело обстояло совсем не так, ей казалось невозможным, чтобы, по крайней мере, полицейские, которые тогда схватили этого человека в доме у баронессы, не удостоверились, когда она назвала его имя и указала на его заклеянную спину — явный знак преступника, — в том, что она близко знакома с сыном палача. Да еще та самая горничная порой как-то двусмысленно намекала на то, что люди думают всякое, они хотели бы знать, что открылось в ходе строжайшего судебного расследования, когда милостивой госпоже баронессе даже грозил арест, поскольку гнусный сын палача рассказывает бог знает что.

Аврелия вновь убедилась в порочном нраве своей матери, посчитавшей для себя возможным после того ужасного происшествия хоть на миг остаться в столице княжества. В конце концов ей все же пришлось покинуть место, где она чувствовала, как над ней тяготеет постыдное и более чем основательное подозрение, и бежать в отдаленный край. Во время этого путешествия она и попала в замок графа, и произошло то, о чем уже было рассказано. Аврелия неожиданно почувствовала себя безмерно счастливой, избавленной от всех мучительных тревог; но в какой же глубокий ужас пришла она, когда, охваченная сладостным чувством от явленной им милости небес, заговорила с матерью и та, с адским пламенем в глазах, пронзительно закричала: «Несчастье ты мое, гадкое, подлое создание, но месть все же настигнет

тебя в разгар вожделенного счастья, как только меня внезапно похитит смерть. В столбняке, коим я расплачиваюсь за твое рождение, хитрость сатаны...»

Аврелия была не в силах продолжать, она бросилась графу на грудь и умоляла его не требовать от нее полностью повторить то, что в безумной ярости наговорила баронесса. Она чувствует себя растоптанной, едва вспомнит страшные, выходящие за пределы всего мыслимо ужасного угрозы матери, захваченной силами зла. Граф успокаивал супругу как мог, невзирая на то что его самого пронизала дрожь ледящего смертного страха. Даже успокоившись, он вынужден был признаться себе в том, что баронесса, во всей ее мерзости, хоть она и умерла, бросала черную тень на его жизнь, дотоле казавшуюся ему безоблачной.

Прошло немного времени, как в Аврелии начали замечаться явные перемены. Если смертельная бледность в лице, тусклые глаза, казалось, указывали на болезнь, то смятение Аврелии, ее беспокойство, пугливость позволяли сделать вывод о какой-то новой тайне, смущавшей ее душу. Она избегала даже супруга и то запиралась у себя в комнате, то уходила в самые глухие уголки парка, а когда снова показывалась, ее заплаканные глаза, искаженное лицо свидетельствовали об ужасной муке, какую ей приходилось терпеть. Напрасно пытался граф доискаться причины такого состояния жены, и от полного отчаяния, в какое он в конце концов впал, смогло избавить его только предположение одного знаменитого врача, будто при особой возбудимости графини все пугающие перемены в ее состоянии могут указывать лишь на то, что их брак благословен и она в интересном положении. Врач этот позволил себе однажды, сидя с графом и графиней за столом, делать

всевозможные намеки на предполагаемое интересное положение. Графиня, казалось, безучастно пропускала все мимо ушей, однако неожиданно вся обратилась в слух, когда врач заговорил о странных прихотях, какие нередко бывают у женщин в подобном положении и каким они не должны противиться, дабы не причинить вреда своему здоровью и не оказать пагубнейшего воздействия на ребенка. Графиня забросала врача вопросами, и тот принялся без устали рассказывать презабавные и престранные случаи из своей обширной практики. «Между тем, — молвил он, — есть примеры и совершенно ненормальных прихотей, которые толкают женщин на ужаснейшие поступки. Так, у жены одного кузнеца было столь необоримое влечение к мясу ее мужа, что она не успокоилась до тех пор, пока однажды, когда он пришел домой пьяный, ни с того ни с сего не бросилась на него с большим ножом и так чудовищно его не искромсала, что через несколько часов он испустил дух».

Едва врач произнес эти слова, как графиня без чувств упала в свое кресло, и с трудом лишь удалось излечить ее от нервных припадков, которые засим последовали. Врач увидел теперь, какую он допустил оплошность, упомянув о том ужасном злодеянии в присутствии слабонервной женщины.

В то же время этот кризис как будто бы благотворно сказался на состоянии графини, ибо она сделалась спокойней, хотя вскоре затем начавшееся у нее странное оцепенение, мрачный огонь в глазах и все усиливавшаяся мертвенная бледность повергли графа в новые и весьма мучительные сомнения касательно здоровья жены. Однако самое необъяснимое в поведении графини заключалось в том, что она совсем ничего не ела, а, напротив того, ко всякой

еде, особенно к мясу, выражала неодолимое отвращение, так что каждый раз принуждена была выходить из-за стола с живейшими признаками этого отвращения. Искусство врача здесь было бессильно, ибо даже самые настойчивые, самые нежные мольбы графа — ничто на свете не могло побудить графиню принять хоть каплю лекарства. А поскольку проходили недели, месяцы и за все это время графиня ничего не брала в рот; поскольку оставалось непостижимою тайной, чем удавалось ей поддерживать свою жизнь, то, как полагал врач, здесь было замешано нечто такое, что лежит за пределами всякой надежной человеческой науки. Под каким-то предлогом он уехал из замка, однако граф не мог не понять, что состояние графини показалось этому опытному врачу слишком загадочным, даже слишком зловещим для того, чтобы задерживаться здесь дольше и быть свидетелем необъяснимой болезни, не будучи в силах помочь. Легко представить себе, в какое расположение духа должно было все это привести графа, но этим дело еще далеко не кончилось.

Как раз в это время один старый верный слуга нашел случай поведать графу, когда застал его одного, что графиня каждую ночь выходит из замка и возвращается лишь с первыми проблесками зари. Граф оледенел от ужаса. Лишь сейчас задумался он над тем, что с некоторых пор на него ближе к полуночи всякий раз нападал совершенно неестественный сон, теперь он приписал его действию некоего наркотического средства, какое подмешивает ему графиня, чтобы иметь возможность незаметно покинуть спальню, которую она, вопреки обычаю знати, делила с супругом. Душу графа заполонили самые черные предчувствия, он подумал о чертовке матери, чей дух, возможно, лишь теперь пробудился в доче-

ри, о какой-нибудь мерзкой прелюбодейной связи, о гнусном сыне палача.

Ближайшая ночь должна была открыть ему ужасную тайну, которая только и могла быть причиной необъяснимого состояния его жены. Графиня имела обыкновение каждый вечер собственноручно заваривать чай, который пил граф, после чего она удалялась. Сегодня он не проглотил ни капли, и когда по своей привычке читал в постели, то совсем не почувствовал к полуночи той сонливости, какая обычно на него нападала. Тем не менее он откинулся на подушки и вскоре сделал вид, будто крепко спит. Тихо-тихо слезла теперь графиня со своего ложа, подошла к кровати графа, посветила ему в лицо и выскользнула из спальни. Сердце у графа колотилось; он встал, накинул плащ и крадучись последовал за женой. Стояла лунная ночь, так что графу была отчетливо видна фигура Аврелии, облаченная в белый ночной наряд, хоть она и успела уйти далеко вперед. Графиня направлялась через парк к кладбищу и, дойдя до него, скрылась за ограждавшей его стеной. Граф следом за ней вбежал в ворота кладбища, которые он нашел открытыми. И тут прямо перед собой увидел он круг жутких призрачных фигур. Полуобнаженные старухи с развевающимися волосами сидели на корточках, а в середине круга лежал труп мужчины, который они грызли с волчьей алчностью. Аврелия была среди них! В диком испуге граф кинулся прочь оттуда и пустился, не помня себя, гонимый смертельным страхом, всеми ужасами ада, бегом по дорожкам парка, пока уже засветло, весь в поту, не очутился у дверей замка. Невольно, не отдавая себе отчета в том, что делает, взлетел он вверх по лестнице и пробежал по анфиладе комнат в спальню. Графиня лежала в постели и как будто бы тихо и сладко спала. И тогда

граф пожелал убедиться в том, что до смерти напугавшее его зрелище было всего лишь отвратительным кошмаром или, поскольку в своей ночной вылазке он не сомневался — о ней свидетельствовал и его мокрый от росы плащ, — скорее даже обманчивым видением. Не дожидаясь пробуждения графини, он вышел из комнаты, оделся и вскочил на коня. Верховая прогулка погожим утром, среди благоухающих кустарников, откуда навстречу всаднику несло веселое пенье проснувшихся птиц, развеяла страшные ночные картины; успокоенный и прибодрившийся вернулся граф к себе в замок. Но когда граф и графиня сели вдвоем за стол и было подано вареное мясо, она с видом крайнего отвращения хотела выйти из комнаты, и тут графу открылась вся жуткая достоверность того, что видел он ночью. В дикой ярости вскочил он на ноги и страшным голосом крикнул: «Проклятое исчадие ада, я знаю, откуда у тебя отвращение к людской пище, из могил добываешь ты свой корм, чертова ведьма!» Но едва произнес он эти слова, как графиня с громким воем набросилась на него и с бешенством гиены впилась зубами ему в грудь. Граф оторвал бесноватую от себя и швырнул наземь, где она в страшных корчах испустила дух. Граф впал в безумие.

О ВАМПИРИЗМЕ

В Иллирии, в Польше, в Венгрии, в Турции и в некоторых частях Германии вам бросили бы упрек в безверии и безнравственности, если бы вы стали публично отрицать существование вампиров.

Вампиром (по-иллирийски — *вудкодлак*) называется мертвец, выходящий, обычно по ночам, из своей могилы, чтобы мучить живых. Часто он высасывает кровь из шеи, а иногда сжимает горло и душит до полусмерти. Те, кто погибает жертвой вампира, сами становятся после смерти вампирами. По-видимому, вампиры совершенно теряют всякое чувство привязанности к близким людям, ибо установлено, что они гораздо чаще мучат своих друзей и родственников, чем посторонних.

Некоторые полагают, что человека делает вампиром Божья кара, другие — что это проклятие рока. Наиболее распространено мнение, что еретики и отлученные от Церкви, которых похоронили в освященной земле, не могут найти в ней покоя и мстят живым за свою муку.

Признаки вампиризма следующие: труп сохраняется дольше, чем обычно, — тогда, когда всякое другое тело разложилось бы; кровь не свертывается, члены тела сохраняют гибкость и т. д. Говорят также, что вампиры лежат в могиле с открытыми гла-

зами, что ногти и волосы у них растут, как у живых. Иногда их можно узнать по тому, что из могил доносятся звуки, ибо они грызут все, что их окружает, даже свои собственные тела.

Самое обычное лекарство после первого нападения вампира — обмазать себе все тело и в особенности то место, из которого он сосал, кровью его жил, смешанной с землей, взятой с его могилы. Рана, которую находят на теле больного, представляет собой маленькое синеватое или красное пятнышко, похожее на след от укуса пиявки.

Вот несколько рассказов о вампирах, приведенных домом Кальме в его «Трактате о явлениях духов, о вампирах и т. д.».

«В начале сентября в деревне Кизилова, в трех милях от Градиша, умер старик шестидесяти двух лет. Через три дня после похорон он явился ночью своему сыну и попросил, чтобы ему дали поесть; тот подал ему, он поел и исчез. На другой день сын рассказал соседям о случившемся. В эту ночь отец не появлялся, но на следующую опять явился и попросил есть. Неизвестно, дал ли ему сын поесть, но наутро сына нашли мертвым в постели. В тот же день в деревне заболели пять или шесть человек, которые и умерли один за другим через несколько дней.

Местный судья или староста, будучи извещен об этом деле, сообщил о нем в Белградский суд, а суд прислал в деревню двух своих чиновников и палача, чтобы расследовать это дело.

Имперский чиновник, рассказавший нам об этом случае, выехал туда из Градиша, чтобы лично наблюдать явление, о котором он так часто слышал.

Были разрыты могилы всех умерших за последние полтора месяца; когда дошли до могилы стари-

ка, увидели, что он лежит с открытыми глазами, с румяным лицом и дышит, как живой, хотя и недвижим, как полагается мертвецу, из чего заключили, что он явный вампир. Палач вбил ему в сердце кол. Затем зажгли костер, и труп был обращен в пепел. Ни на трупе сына, ни на трупах других умерших не обнаружили никаких признаков вампиризма.

Около пяти лет тому назад некий гайдук, житель деревни Медвежья, по имени Арнольд Паоль, был раздавлен опрокинувшейся на него телегой с сеном. Месяц спустя после его смерти четыре человека внезапно умерли, причем именно так, как, согласно местным поверьям, умирают замученные вампирами. Тогда вспомнили, что этот Арнольд Паоль часто рассказывал о том, как в окрестностях Косова и на границах турецкой Сербии его мучил вампир (ибо местные люди также верят, что те, кто при жизни был пассивным вампиром, становятся после смерти активными, то есть те, кого сосал вампир, сами начинают сосать), но что он излечился, поев земли с могилы вампира и натершись его кровью. Эта предосторожность, однако, не помешала ему самому стать после смерти вампиром, ибо когда через сорок дней после погребения его вырыли, то нашли на нем все признаки самого явного вампира. Лицо его было румяно, волосы, ногти и борода отросли, а жилы были полны свежей кровью, вытекавшей из всех частей его тела на саван, в который он был завернут. Хаднаджи, или местный староста, в присутствии которого была разрыта могила, человек весьма сведущий в вампиризме, приказал, согласно обычаю, воткнуть в сердце покойного Арнольда Паоля острый кол и пронзил его тело насквозь; говорят, что при этом тот испустил ужасный вопль, как если бы был живой. После этого ему отрубили голову и сожгли труп.

Затем то же самое проделали с трупами четырех людей, после него умерших от вампиризма, для того чтобы они, в свою очередь, не умертвили других.

Однако, несмотря на все эти предосторожности, в конце прошлого года, то есть спустя пять лет, эти прискорбные явления снова повторились, и несколько жителей той же деревни трагически погибли. На протяжении трех месяцев семнадцать человек обоего пола и разного возраста умерли от вампиризма, причем некоторые из них совсем не болели, а другие мучились два или три дня. Передают, между прочим, что некая Станоска, дочь гайдука Иотвильцо, легшая спать совершенно здоровой, среди ночи проснулась, дрожа и издавая ужасные вопли; она утверждала, что сын гайдука Милло, умерший девять недель назад, чуть не задушил ее во время сна. С тех пор она стала чахнуть и через три дня умерла. То, что девушка сказала о сыне Милло, сразу же заставило признать его вампиром; его вырыли из земли и обнаружили, что так оно и есть. Местные власти, лекари и врачи стали расследовать, каким образом вампиризм мог возродиться, после того как несколько лет назад были приняты такие меры предосторожности.

Наконец после долгих поисков было установлено, что покойный Арнольд Паоль убил не только четырех человек, о которых мы говорили, но также нескольких животных, мяса которых отведали новые вампиры и между ними сын Милло. На основании этих данных было решено вырыть всех тех, кто умер недавно, и соответственно поступить с ними. Примерно из сорока вырытых трупов на семнадцати были обнаружены самые явные признаки вампиризма. Поэтому всем им пронзили сердца и отрубили головы, а затем их тела были сожжены и пепел брошен в реку.

Расследование это было произведено, и меры, о которых мы сейчас говорили, были приняты с соблюдением всех правил и в надлежащей форме и засвидетельствованы многими офицерами местных гарнизонов, главными полковыми врачами и наиболее почтенными из местных жителей. Протокол был в конце января этого года представлен императорскому военному совету в Вене, и совет назначил военную комиссию для проверки означенных фактов» (д. Кальме, т. II).

Я закончу рассказом об одном происшествии в том же роде, свидетелем которого я сам был; представлю судить о нем читателям,

В 1816 году я предпринял экскурсию пешком в Воргораз и остановился в деревушке Варбоска. Мой хозяин был довольно состоятельный для этой местности морлак по имени Вук Польонович, человек весьма гостеприимный и любящий выпить. Жена его была молода и еще хороша собой, а шестнадцатилетняя дочь просто очаровательна. Мне захотелось прожить несколько дней у него в доме, чтобы зарисовать древние развалины, находившиеся по соседству с деревней. Но за деньги получить комнату было невозможно, и мне пришлось остаться у него на положении гостя. Это обязывало меня проявлять благодарность, довольно тягостную, ибо мне приходилось выпивать с моим другом Польоновичем до тех пор, пока он не соблаговолил подняться из-за стола. Всякий, кто обедал в обществе морлака, поймет всю трудность моего положения.

Однажды вечером, примерно через час после того, как обе женщины оставили нас, в то время, как я, чтобы не пить вино, пел моему хозяину песни его родины, до нас донеслись из спальни ужасные вопли. Обычно в доме бывает только одна спальня, где

спят все. Схватив оружие, мы бросились туда и увидели ужасное зрелище. Бледная и растрепанная мать поддерживала свою потерявшую сознание дочь, которая была еще бледнее ее и лежала на охалке соломы, служившей ей постелью. Мать кричала: «Вампир! Вампир! Моя бедная дочь умерла!»

Общими усилиями привели в чувство несчастную Каву. По ее словам, она видела, как открылось окно и какой-то бледный, закутанный в саван человек набросился на нее, укусил и попытался задушить. Когда она стала кричать, призрак обратился в бегство, а она лишилась чувств. Однако ей показалось, что в вампире она узнает одного из местных жителей, по имени Вечнанный, умершего две недели тому назад. На шее у нее было небольшое красное пятнышко; но это могла быть и родинка, или во время кошмара ее укусило какое-нибудь насекомое.

Когда я осторожно высказал такое предположение, отец резко отверг его. Девушка плакала и ломала руки, непрерывно повторяя: «Увы! Умереть такой молодой, еще до замужества!» А мать осыпала меня бранью, называла нечестивцем и утверждала, что собственными глазами видела вампира и узнала Вечнаного. Я решил молчать.

Вскоре на шею Кавы повешены были все ладанки, какие только нашлись в доме и во всей деревне, а ее отец клялся, что завтра же выроет труп Вечнаного и сожжет в присутствии всех его родичей. Так прошла ночь, и успокоить их не было никакой возможности.

На рассвете вся деревня пришла в движение. Мужчины вооружились ружьями и ханджарами; женщины несли раскаленное железо; дети — камни и палки. Все отправились на кладбище, крича и осыпая бранью покойника. С большим трудом удалось

мне пробиться через эту остервенелую толпу и стать около могилы.

Тело вырывали долго. Все хотели принять в этом участие и мешали друг другу. Не обошлось бы без несчастных случаев, если бы не вмешались старики, они велели, чтобы извлечением трупа занялись только двое мужчин. В тот момент, когда снимали простыню, покрывавшую тело, раздался пронзительный вопль, от которого волосы встали у меня дыбом. Это кричала женщина, стоявшая рядом со мною: «Вампир! Его не тронули черви!» Возглас этот был повторен сотнею уст.

Двадцать одновременных ружейных выстрелов, сделанных в упор, раздробили голову трупа, а отец и родичи Кавы принялись, кроме того, наносить ему удары своими длинными ножами. Женщины пропитывали тряпки красной жидкостью, струившейся из искромсанного тела, чтобы обмазать ею шею больной.

Тем временем молодые люди вытащили труп из могилы и, хотя он был изуродован ножами и пулями, из предосторожности крепко привязали его к еловому бревну и в сопровождении детворы поволокли к фруктовому садику перед домом Польоновича, где были уже заранее приготовлены вязанки хвороста с соломой. Развели костер, бросили труп в огонь, и вся толпа принялась плясать вокруг него, стараясь кричать как можно громче и все время подбрасывая топливо. От костра распространялось злобование, вскоре заставившее меня уйти и вернуться к моему хозяину.

Дом был полон народу; мужчины курили трубки; женщины говорили все сразу и осыпали вопросами больную, а та, все еще очень бледная, едва им отвечала. Шея ее была обернута тряпками, вымазанны-

ми красной зловонной жидкостью, которую они принимали за кровь и которая представляла ужасающий контраст с полуобнаженной грудью и плечами бедной Кавы.

Мало-помалу толпа разошлась, и из чужих в доме остался один я. Болезнь оказалась длительной. Кава очень боялась наступления ночи и все время требовала, чтобы кто-нибудь бодрствовал около ее постели. Так как родителям ее, уставшим от дневной работы, тяжело было не спать по ночам, я предложил свои услуги, и они были с благодарностью приняты. Я знал, что, по понятиям морлаков, в моем предложении не было ничего неприличного.

Никогда не забуду я ночей, проведенных подле этой несчастной девушки. Она вздрагивала от треска половицы, от свиста ветра, от малейшего шума. Когда ей удавалось задремать, ее мучили ужасные видения, и часто она внезапно с криком просыпалась. Ее воображение было поражено привидевшимся ей сном, а местные кумушки окончательно свели ее с ума страшными рассказами. Часто, чувствуя, что у нее слипаются глаза, она говорила мне: «Не засыпай, прошу тебя. Держи в одной руке четки, а в другой ханджар. Стереги меня хорошенько». Иногда же она не соглашалась засыпать иначе, как крепко держа обеими руками мою руку, и так сжимала ее, что на ней долго оставались следы ее пальцев.

Ничто не могло отвлечь несчастную от преследовавших ее мрачных мыслей. Она ужасно боялась смерти и, несмотря на все наши попытки утешить и успокоить ее, считала себя безвозвратно погибшей. За несколько дней она ужасно похудела, губы ее совсем побелели, а большие черные глаза казались еще более блестящими, чем обычно; на нее действительно было жутко глядеть.

Я попытался подействовать на ее воображение, притворившись, что разделяю ее мысли. К несчастью, я не мог рассчитывать на ее доверие, так как вначале смеялся над ее легковерием. Я сказал ей, что у себя на родине изучил белую магию, что мне известно могущественное заклинание против злых духов и что, если она хочет, я произнесу его на свой страх и риск из любви к ней.

Сперва по доброте душевной она побоялась, как бы это не поссорило меня с Господом Богом. Но вскоре страх смерти пересилил эти опасения, и она попросила меня испытать мое заклинание. Я знал наизусть несколько французских стихов из Расина; я прочел их громким голосом перед бедной девушкой, которой казалось, что она слышит язык дьявола. Затем я стал растирать ее шею на все лады и сделал вид, что извлекаю оттуда маленький красный агат, который предварительно спрятал у себя между пальцами. После этого я с серьезным видом уверил ее, что вынул камень у ней из шеи и что теперь она спасена. Но она грустно поглядела на меня и сказала: «Ты меня обманываешь. Этот камешек был у тебя в маленькой коробочке, я сама видела. Ты не волшебник». Таким образом, моя хитрость принесла ей больше вреда, чем пользы. С этого момента девушке делалось все хуже и хуже.

В ночь перед смертью она сказала: «Я сама виновата, что умираю. Один человек (она назвала мне одного парня из ее деревни) хотел умыкнуть меня. Я не захотела и потребовала от него серебряную цепочку за согласие бежать с ним. Он поехал в Мкараску, чтобы купить ее, а в это время явился вампир. Впрочем, — прибавила она, — если бы меня не было дома, он, может быть, убил бы мою мать. Так все-таки лучше».

Наутро она позвала отца и заставила его обещать, что после ее смерти он сам перережет ей горло и поджилки, дабы она, в свою очередь, не стала вампиром; она ни за что не соглашалась, чтобы это бесполезное надругательство над ее телом произвел кто-нибудь другой. Затем она поцеловала мать и попросила ее освятить четки у могилы одного святого, неподалеку от деревни, и принести их ей освященными. Меня тронула деликатность этой крестьянки, которая нашла предлог, чтобы помешать матери присутствовать при ее последних минутах. Меня она заставила снять с ее шеи одну ладанку. «Возьми ее, — сказала она, — надеюсь, что тебе она больше пригодится, чем мне». Затем она с благоговением причастилась. Через два или три часа после этого ее дыхание участилось, а глаза уставились в одну точку. Вдруг она схватила руку отца и сделала такое движение, словно хотела броситься ему на грудь; ее жизнь пресеклась. Она проболела одиннадцать дней.

Через несколько часов я уехал из этой деревни, от всей души посылая к чертям вампиров, призраков и всех тех, кто о них рассказывает.

ЛЮБОВЬ МЕРТВОЙ КРАСАВИЦЫ

Ты спрашиваете, брат мой, был ли я влюблен, — о да! Это удивительная и жуткая история, и, хотя мне уже шестьдесят седьмой год, я с трудом решаюсь ворошить пепел этого воспоминания. От вас я не хочу ничего утаивать, но человеку, не столь укрепившему свой дух, я бы не доверил подобного рассказа. Я сам не могу поверить, что это произошло со мной, — настолько необычно случившееся. Более трех лет я был жертвой удивительной, дьявольской иллюзии. Я, бедный сельский священник, ночи напролет видел во сне (дай Бог, чтобы это был сон!) себя, живущего светской жизнью — жизнью грешника, жизнью Сарданапала. Один только взгляд, брошенный на женщину, — взгляд, слишком исполненный симпатии, — и я мог бы погубить свою душу. Но в конце концов, с Божьей помощью и при содействии моего духовного отца, мне удалось изгнать вселившегося в меня дьявола.

К моему существованию тогда прибавилось совершенно другое — ночное. Днем я служил Господу, был занят молитвой и священными предметами, хранил целомудрие; ночью же, не успевал я закрыть глаза, как превращался в молодого господина, истинного знатока женщин, собак и лошадей, игрока в кости, любителя вина и богохульника. И когда

с первыми лучами солнца я просыпался, мне казалось, что я, напротив, засыпаю и во сне вижу себя священником. Слова и образы, оставшиеся в моей памяти от этой сомнамбулической жизни, не дают мне покоя, и хотя я всю жизнь прожил священником, не покидая стен своего домика, но, слушая меня, можно было бы сказать, что это скорее одряхлевший прожигатель жизни, который наконец отказался от мира, постригся в монахи и жаждет спасения, несмотря на столь бурно протекающую молодость, нежели угрюмый семинарист, состарившийся никому не известным кюре в лесной глуши и никак не связанный с миром.

Да, я любил, как не любил никто на свете, — безумно и страстно. Я удивляюсь, как сердце мое не разорвалось от этой страсти. Ах, что за ночи это были, что за ночи!

Еще в самом нежном возрасте я чувствовал призвание быть священником; все мои занятия с детства были направлены в эту сторону, и жизнь моя до двадцати четырех лет была, по сути, сплошным послушанием. Получив богословское образование, я успешно прошел все низшие ступени иерархии, и мои наставники сочли меня достойным, невзирая на юный возраст, преодолеть последний и страшный рубеж: день моего рукоположения был назначен на Страстную неделю.

В миру я не бывал: мир для меня был ограничен коллежем и семинарией. Я смутно представлял себе, что существует нечто, именуемое женщиной, но это не занимало подолгу мою мысль; я был совершенно невинен. Два раза в год я виделся с моей престарелой матушкой, которая была тяжело больна, — этим ограничивалось мое общение с внешним миром.

Я ни о чем не жалел, не испытывал ни малейшего колебания; готовясь совершить этот бесповоротный шаг, я был исполнен радостного нетерпения. Никакой жених с таким лихорадочным жаром не отсчитывал часы: я не спал, я грезил, как буду служить мессу. Служить Господу... Я не знал ничего лучше в мире, не знал более высокой чести. Я не согласился бы стать королем или поэтом.

Я говорю все это, чтобы показать вам, сколь противоестественно случившееся со мной и сколь необъяснимо наваждение.

Когда настал великий день, я отправился в храм таким легким шагом, будто мог держаться в воздухе. Я казался себе ангелом с крыльями за плечами. Меня удивляли хмурые, озабоченные лица моих собратьев (нас было несколько человек). Я провел ночь в молитвах, и мое состояние было близко к экстазу. Сквозь церковные своды я видел небо, а епископ, почтенный старец, представлялся мне Богом Отцом, склонившимся над вечностью.

Вам известны подробности этой церемонии. Благословение, причастие хлебом и вином, помазание ладоней оглашенных и затем священная жертва, приносимая совместно с епископом, — я не буду подробно описывать все это. О, сколь же прав был Иов, и как неосторожен тот, кто не положил завета с глазами своими! Случайно я поднял голову, до сих пор склоненную, и увидел молодую женщину редкостной красоты, одетую с королевским величием. Хотя она была довольно далеко, по другую сторону сквозной перегородки, но я видел ее прямо перед собою. Мне показалось, она стояла так близко, что я мог бы до нее дотронуться. Как будто пелена спала с глаз моих. Я ощутил себя слепым, который внезапно прозрел. Сияние, только что исходившее

от епископа, вдруг померкло, пламя свечей на золотых подсвечниках побледнело, во всей церкви сделалась крошечная темнота.

И в этом мраке, как ангельское видение, вырисовывался ее чудесный образ: казалось, она сама светила и давала свет, а не принимала его.

Опустив веки, я твердо решил не подымать их более, чтобы освободиться от власти всего мирского, поскольку растерянность охватывала меня все больше и больше и я едва понимал, что со мною происходит.

Минуту спустя я вновь открыл глаза, ибо и сквозь ресницы видел ее — излучавшую в пурпурном мраке все цвета, преломленные сквозь призму, — так бывает, когда глядишь на солнце. Ах, как она была прекрасна! Величайшие живописцы, устремляясь к небесам в поисках идеальной красоты и возвращаясь на землю с божественным портретом Мадонны, даже близко не подошли к этой фантастической реальности. Ни стих поэта, ни палитра художника не в силах дать ни малейшего представления о ней.

Она была довольно высокого роста, с фигурой и осанкой богини. Ее нежно-белокурые волосы, разделенные пробором, струились по вискам, как два золотых потока: она напоминала увенчанную короной царицу. Ее просторный чистый лоб сиял голубовато-прозрачной белизной над дугами темных ресниц, еще больше оттенявших глаза цвета морской волны, живости и блеска которых не вынес бы ни один мужчина: судьба его решалась в этих лучах. Что за глаза! Никогда еще в человеческих глазах не видел я такой жизни, такой огненной страсти, и такой прозрачной чистоты, и такого влажного блеска. Я ясно видел, как лучи их, подобные стрелам, достигали моего сердца.

Не знаю, с небес или из преисподней исходило пламя, озарявшее их; была ли эта женщина ангелом, или демоном, или, быть может, тем и другим сразу, — но, несомненно, она явилась из рая или из ада: она не могла происходить от плоти Евы, матери всех людей. В улыбке ее румяных уст сверкали великолепные жемчужные зубы, и при каждом движении губ в розовом шелке прелестных щечек появлялись маленькие ямочки. Ее нос тонкостью и чисто королевским достоинством выдавал происхождение самое благородное. Агатовые отблески играли на гладкой, глянцевой коже ее полуоткрытых плеч; несколько рядов крупного белого жемчуга, почти того же тона, что и шея, спускались ей на грудь.

Время от времени она вскидывала голову каким-то волнообразным движением, как важный павлин или уж, и тогда легкий трепет передавался высокому ажурному вышитому воротнику, которым она была окружена, будто серебристой оградой.

На ней было алое бархатное платье, и из его широких рукавов, подбитых горностаем, виднелись бесконечно нежные руки патрицианки: длинные пухлые пальцы были столь идеально прозрачны, что пропускали свет, подобно перстам Авроры.

Я и теперь представляю себе эти подробности так ясно, словно видел все это вчера. Хотя я и был в крайнем смятении, ничто не ускользнуло от меня: крохотная черная точка сбоку на подбородке, неприметный пушок над уголками губ, нежный лоб, дрожащая тень ресниц на щеках — я улавливал мельчайшие детали, удивляясь своей зоркости.

Чем дольше я смотрел на нее, тем сильнее чувствовал, как во мне открываются какие-то потайные двери, до тех пор запертые; всем чувствам сквозь

закупоренные прежде отдушины приоткрывались неведомые миры; жизнь явилась мне в совершенно ином виде: я только что родился заново, и мысли побежали в другом направлении. Ужасная тревога сдавила мое сердце. Текли минуты, и каждая казалась мне то мгновением, то веком.

Между тем церемония шла своим чередом и уводила меня все дальше от мира, нарождавшиеся желания которого яростно бились, требуя впустить их. Я хотел сказать «нет» и все же сказал «да». Все мое существо восставало и протестовало против насилия, которое мой собственный язык совершал над моей волей. Какая-то тайная сила заставила меня произносить эти слова. Должно быть, именно так немало юных девушек идут под венец, хотя и верят до последней минуты, что во всеуслышание откажут навязываемому жениху, но все-таки не решаются сделать это. И так же, наверное, столько бедных послушников надевают монашеское облачение, обещая себе разодрать его в клочья в момент произнесения обета. Человек не решается устроить такой скандал перед всем миром, обмануть ожидания многих людей; все эти благие намерения, все эти взгляды давят на него тяжелым гнетом, а кроме того, распорядок столь четок, все настолько расписано до деталей, столь неоспоримо и очевидно, что мысль слабеет и сдается под гнетом обстоятельств.

Выражение глаз прекрасной незнакомки менялось, по мере того как продолжалась церемония. Нежный и ласковый вначале, взгляд ее принял выражение презрительной досады, как будто оттого, что не был понят.

Я совершил усилие, которое могло бы свернуть гору, хотел крикнуть, что не хочу быть священником, но не мог совладать с собой.

Язык мой прилип к гортани, и я был не в силах даже, покачав головой, обнаружить свои истинные помыслы. Так, наяву, я испытывал состояние, сходное с ночным кошмаром, когда хочешь кричать, когда от одного слова зависит вся твоя жизнь, — и не можешь раскрыть рта.

Она, похоже, чувствовала те муки, которые я испытывал, и, как бы подбадривая, бросала на меня взгляды, исполненные божественных обетований. Эти глаза были поэмой, каждый взгляд был песнью. Она говорила мне:

«Если ты хочешь быть со мной, я сделаю тебя счастливее, чем сам Бог в своем раю. Ангелы будут завидовать тебе. Порви этот кладбищенский саван, в который собираешься облачиться. Я — сама красота, сама юность, сама жизнь. Идем со мной, мы будем сама любовь. Что мог бы дать тебе взамен Иегова? Наша жизнь будет течь как сон и будет вся одним бесконечным поцелуем. Пролей вино из этой чаши — и ты свободен. Я унесу тебя к неведомым островам; ты будешь засыпать у меня на груди, на постели из чистого золота, под серебряным пологом; потому что я люблю тебя и хочу отнять тебя у твоего Бога, перед лицом которого столько благородных сердец проливают потоки любви, не достигающие Его».

Мне казалось, я слышу бесконечно сладкий ритм этих слов, ибо взгляд ее почти звучал, и фразы, которые посылали мне ее глаза, отзывались в глубине моего сердца, будто невидимые уста вдыхали их в мою душу. Я чувствовал, что готов отказаться от Бога, и в то же время сердце мое механически исполняло все формальности церемонии.

Красавица снова взглянула на меня с такой мольбой и с таким отчаянием, что острые клинки пронзили

мне сердце, и я почувствовал в своей груди больше мечей, чем скорбящая Божия Матерь на иконе.

Все было кончено, я был уже священник.

Никогда лицо человеческое не окрашивалось такой мучительной тоской: девушка, которая видит, как жених внезапно падает замертво рядом с ней; мать перед опустевшей колыбелью ее ребенка; Ева у порога райских врат; скупец, который находит камень вместо своего сокровища; поэт, роняющий в огонь единственную рукопись своего самого прекрасного произведения, — не выглядят более потрясенными и безутешными. Кровь совсем отхлынула от ее прекрасного личика, которое стало мраморно-белым; ее великолепные руки упали вдоль тела, как будто расслабились, и она оперлась о колонну, потому что ноги ее подкашивались и отказывались ей служить. А я, мертвенно-бледный, истекавший кровавым потом, как Спаситель на Голгофе, шатаюсь, направился к вратам церкви; я задыхался, эти своды давили мне на плечи, и, казалось, одна голова моя выносила всю тяжесть купола.

Когда я собирался переступить порог, кто-то внезапно схватил меня за руку. То была рука женщины: я никогда раньше не прикасался к ним. Она была холодная, как змеиная кожа, но прикосновение ее оставило пылающий след, словно клеймо каленого железа. Это была она. «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» — произнесла она тихим голосом и исчезла в толпе.

Мимо прошел старый епископ, посмотрев на меня суровым взглядом. Я выглядел в высшей степени странно: я бледнел, краснел, терял сознание, я был ослеплен. Кто-то из моих товарищей, сжалившись, отвел меня в семинарию, ибо сам я был не в состоянии найти дорогу.

На углу какой-то улицы, когда мой юный собрат отвернулся, ко мне приблизился чернокожий паж в причудливой одежде и на ходу, не останавливаясь, передал мне небольшой конверт с золотой чеканкой по углам, сделав знак, чтобы я спрятал его. Я сунул конверт в рукав и держал так, покуда не остался один в своей келье. Там я сломал замочек и увидел два листка со словами: «Кларимонда, дворец Кончини». Я так мало знал в жизни, что не имел понятия о Кларимонде, несмотря на всю известность этого имени, и совершенно не представлял себе, где находится дворец Кончини. Я строил тысячу догадок, одна сумасброднее другой, но, положив руку на сердце, мне хотелось только одного — увидеть ее снова, кем бы она ни была — дамой из высшего света или же куртизанкой.

Эта только что зародившаяся любовь уже пустила глубочайшие корни, и я даже не пытался вырвать их — настолько это казалось мне невозможным. Эта женщина овладела мною целиком. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы я изменился. Она вдохнула в меня свое желание. Я жил уже не в себе самом, а в ней и ею. Я сходил с ума, я целовал свою руку в том месте, где она коснулась ее, я часами повторял ее имя. Стоило закрыть глаза, и я видел ее так ясно, как если бы она вправду была рядом, и снова повторял те слова, которые она произнесла у порога церкви: «Несчастный, несчастный, что ты наделал!» Я понимал весь ужас собственного положения, и все мрачные стороны только что избранного мною пути ясно открывались мне. Быть священником! Значит, хранить целомудрие, не любить, не иметь пола, возраста, отвернуться от всех проявлений красоты, выколоть себе глаза, пресмыкаться в холодной тени монастыря или церкви, видеть лишь

умирающих, отправлять службу у неизвестных мертвецов и самому нести свой траур под черной сутаной, так что из этого одеяния можно будет сделать обивку для моего же гроба!

И я чувствовал, как во мне поднимается жизнь, словно озеро, которое волнуется и выходит из берегов; в жилах моих с силой стучалась кровь; юность, так долго подавляемая, взорвалась внезапно, как цветок алоэ, который сто лет собирается цвести и потом вдруг лопается со звуком, подобным удару грома.

Что же делать, как вновь увидеть Кларимонду? Мне не разрешалось покидать семинарию ни под каким предлогом. Я не знал в городе ни души, я даже не должен был появляться там и только ждал, когда мне укажут мой приход. Я пытался снять оконную решетку, но она находилась на высоте, внушавшей опасение; без лестницы нечего было и думать об этом. А кроме того, я мог спуститься только ночью — и как бы я отправился по непроходимому лабиринту улиц? Все эти трудности, которые не существовали бы для другого, были непомерно велики и непреодолимы для бедного семинариста, со вчерашнего дня влюбленного, не имевшего ни жизненного опыта, ни денег, ни платья.

Ах, если бы я не был священником, я мог бы видеть ее каждый день! Я стал бы ее возлюбленным, женился бы на ней, говорил я себе в ослеплении. Вместо того чтобы облачаться в унылый саван, я носил бы платья из шелка и бархата, золотые цепочки, шпагу и перья, как молодые красавцы кавалеры. Мои волосы, теперь бесславно погубленные тонзурой, играли бы вокруг моей шеи волнистыми кудрями.

У меня были бы прекрасные напояженные усы. Я был бы храбрец. Но прошел этот час перед алта-

рем, я пролепетал всего несколько слов — и вот уже я добровольно отделился от мира, стал живым мертвецом, сам запечатал камнем свою могилу, выпустил из рук засов своей темницы!

Я устремился к окну. Небо было восхитительно голубым, деревья облачились в весенние наряды; природа выставляла напоказ свое торжество. Площадь была полна народу. Молодые щеголи и юные красавицы прохаживались туда-сюда, пары одна за другой направлялись к саду и беседкам. Компании распевали застольные песни. Именно это движение, жизнь, одушевление, веселье неприятно подчеркивали мое горе и одиночество. В двух шагах от двери молодая мать играла со своим ребенком, целовала его маленькие розовые губки, еще покрытые каплями молока, и смешно дразнила его, придумывая тысячу милых глупостей, как умеют только матери. Отец, стоявший несколько поодаль, ласково улыбался этой милой компании. Он скрестил руки на груди, как бы пряча свою радость. Это зрелище было невыносимо для меня. Я закрыл окно, бросился на кровать с ужасной ненавистью и завистью в сердце, кусал пальцы и одеяло, как тигр, который три дня голодал.

Не знаю, сколько дней так прошло. Но, внезапно резко обернувшись, я заметил аббата Серапиона, стоявшего посреди комнаты и внимательно глядевшего на меня. Я устыдился самого себя и, уронив голову на грудь, прикрыл глаза руками.

— Ромуальд, друг мой, с вами происходит что-то странное, — сказал Серапион после нескольких минут молчания. — Ваше поведение совершенно необъяснимо! Вы, столь благочестивый, спокойный и мягкий, мечетесь в своей келье, как дикий зверь. Будьте осторожны, брат мой, и не поддавайтесь сатанинско-

му наущению. Дьявол, взбешенный тем, что вы навсегда посвятили себя Господу, рыщет вокруг вас, как волк, стремящийся похитить жертву, и в последний раз пытается привлечь вас к себе. Вместо того чтобы дать ему свалить вас, обессилив, дорогой Ромуальд, наденьте на себя броню из молитв, ограждайте себя, умерщвляя плоть, и доблестно сразитесь с врагом. Вы победите его. Испытание необходимо, и золото выходит из тигеля более чистым, и добродетель нуждается в испытаниях. Не бойтесь и не падайте духом. Такие минуты испытывают самые твердые и Богом хранимые души. Молитесь, соблюдайте воздержание, размышляйте, и дьявол покинет вас.

Речь аббата Серапиона привела меня в чувство, и я стал немного спокойнее.

— Я пришел сообщить, что вас назначили в приход К***: там только что умер священник, и его высокопреосвященство поручил мне направить вас туда; к завтрашнему дню будьте готовы.

Я ответил кивком, что буду готов, и аббат удалился. Я раскрыл требник и начал вслух молиться; но строчки тотчас же стали сливаться у меня перед глазами, мысли в голове спутались и книга выскользнула из рук, чего я даже не заметил.

Уехать завтра, не увидев ее снова! Еще и эта преграда вдобавок к тем, что уже сделали невозможной нашу встречу... Навсегда потерять надежду! Если только не произойдет чуда... Написать ей? Но с кем я пошлю письмо? В таком виде, в этих монашеских одеждах, кому открыться, кому довериться? Я был в жуткой тревоге. Потом мне наконец вспомнилось, что сказал аббат Серапион об ухищрениях дьявола. Необычность этого приключения; сверхъестественная красота Кларимонды; фосфорический

блеск ее глаз; обжигающее ощущение от прикосновения ее руки, смятение, в которое она меня повергла; внезапная перемена, которая произошла во мне; моя набожность, исчезнувшая в мгновение ока, — все это ясно доказывало присутствие дьявола; и эта атласная рука, быть может, была всего лишь перчаткой, под которой он скрывал свои когти. От этих мыслей я весь затрепетал, подобрал требник, скатившийся у меня с колен на пол, и снова принялся за молитвы.

На следующий день Серапион пришел за мной: у дверей нас ожидали два мула, груженные нашими скудными пожитками. Он сел на одного, я, с грехом пополам, на другого. Проезжая по улицам города, я заглядывал во все окна, на все балконы, не покажется ли Кларимонда. Но было слишком раннее утро, и город еще спал. Мой взгляд силился заглянуть за шторы и сквозь занавески всех дворцов, перед которыми мы проезжали; я придерживал своего мула, чтобы успеть все разглядеть. Серапион, вероятно, приписывал это любопытство восхищению, которое вызывала во мне красота архитектуры.

Наконец мы проехали городские ворота и стали подниматься на холм. На самой вершине я оглянулся, чтобы в последний раз увидеть те места, где жила Кларимонда. Весь город покрывала тень от тучи; синие и красные крыши сливались в какой-то общий полутон; тут и там всплывали, как хлопья белой пены, утренние дымы. Благодаря странному оптическому эффекту вырисовывалось, бело-золотое под единственным лучом света, какое-то здание, возвышавшееся над соседними строениями, полностью погруженными в дымку; до него было еще далеко, но казалось, оно уже совсем рядом. Можно было различить малейшие детали, башенки, плоские крыши,

окна, рамы — все, вплоть до флюгеров в форме ласточкиных хвостов.

— Что это за дворец я вижу там, освещенный лучом солнца? — спросил я Серапиона.

Он приложил ладонь к глазам и, приглядевшись, ответил:

— Это старинный дворец князя Кончини, который он подарил куртизанке Кларимонде. Жуткие дела там происходят...

В этот миг я так и не знаю, на самом ли деле или то был обман зрения, — только мне показалось, что на террасе скользнула легкая белая фигура, сверкнула на мгновение и погасла. Это была Кларимонда!

О, знала ли она, что в этот час, на вершине суровой дороги, уводившей меня от нее, дороги, по которой мне нельзя было вновь спуститься, в жаркой тревоге, я не сводил глаз с дворца, где она жила и который ничтожная игра света, казалось, приближала ко мне, как бы приглашая войти туда хозяином. Наверное, она знала это, ибо ее душа была слишком связана с моей симпатическою связью, чтобы не заметить малейших ее колебаний, и именно это чувство заставило ее, еще облаченную в ночные одеяния, подняться на верх террасы, по ледяной утренней росе.

Тень поглотила дворец, и остался только неподвижный океан крыш и кровель, в котором были различимы лишь солнечные блики. Серапион тронул своего мула, за которым тотчас затрусил и мой, а потом город С... скрылся от меня навсегда за поворотом дороги; мне не суждено было возвратиться туда.

После трех дней езды по довольно унылым деревням из-за деревьев показался верх колокольни той церкви, где я должен был служить. Проехав не-

сколько извилистых улиц, вдоль которых стояли крытые соломой хижины с палисадниками, мы оказались перед фасадом не слишком величественного вида. Паперть, украшенная нервюрами и двумя-тремя грубо обтесанными глиняными колоннами, черепичная крыша и контрфорсы из того же материала, что и колонны, — этим ограничивалась архитектура. Налево — кладбище, заросшее высокой травой, с большим железным крестом посередине; направо, в тени церкви, — дом священника. Дом этот отличался крайней простотой и сухой аккуратностью. Мы вошли. Несколько кур клевали редкие овсяные зерна, разбросанные по земле. По-видимому привыкшие к черным одеяниям церковнослужителей, они ничуть не были испуганы нашим появлением и едва потеснились, пропуская нас. Послышался сиплый, захлебывающийся лай, и во двор выбежала собака.

Это был пес моего предшественника. У него были тусклый, унылый взгляд, серая шерсть и все признаки самой глубокой старости, какой только могла достичь собака. Я тихонько погладил ее, и она тут же принялась расхаживать вокруг меня с видом неопишуемого удовольствия. Довольно старая женщина, экономка бывшего кюре, тоже вышла нам навстречу, провела меня в низкое помещение и спросила, намереваюсь ли я оставить ее на службе. Я отвечал, что оставляю и ее, и собаку, и кур, и всю мебель, которую передал ей, умирая, прежний хозяин. Это привело ее в восторг. Аббат Серапион тотчас же дал ей жалованье, какого она хотела.

Покончив с моим размещением, Серапион возвратился в семинарию. Итак, я оставался один-одишенек, безо всякой поддержки.

И снова мысль о Кларимонде овладела мною. Несколько раз пытался я увидеть ее, но все безу-

спешно. Однажды вечером, прогуливаясь по самшитовым аллеям вдоль моего садика, я, как мне показалось, увидел сквозь деревья женскую фигуру, которая будто бы перемещалась вслед за мной. В листве сверкали глаза цвета морской волны... Но то был всего лишь обман зрения, и, дойдя до конца аллеи, я не заметил там ничего, кроме отпечатка ноги на песке, — такой маленький след можно было принять за детский. Сад был окружен высокими стенами. Я заглянул во все углы и закоулки сада — не было ни души. Я так и не смог дать какое-либо объяснение этому странному обстоятельству, которое, впрочем, не выглядит столь удивительным на фоне последующих событий.

Так я жил целый год, четко выполняя все, что требовалось от меня по моему положению: совершал службу, молился, хранил воздержание, проповедовал, помогал больным и ограничивал себя в самом насущном. Но в глубине души я был до крайности нечувствителен ко всему этому, и источники благодати были закрыты для меня.

Священническое служение, утратив былую сладость, уже не было для меня счастьем. Мысли мои были далеко, и губы часто повторяли невольно, как рефрен, имя Кларимонды. Ах, брат мой, задумайтесь об этом! Из-за того, что я всего один раз поднял глаза на женщину, из-за одной оплошности, казалось бы столь незначительной, я обрек себя на долгие годы смятения. Моя жизнь была поколеблена навсегда.

Не буду дальше задерживать ваше внимание рассказами о своей внутренней борьбе, о временных победах над собой, за которыми следовали все новые провалы, еще более глубокие, — а сразу перейду к решающему событию.

Однажды ночью ко мне в дверь постучались. Барбара — так звали старуху экономку — пошла отпираться, и в тусклом свете ее фонаря я увидел фигуру незнакомого мужчины с медного цвета лицом, одетого богато, но по странной моде, с длинным кинжалом. Вначале бедная экономка в страхе отшатнулась, но он успокоил ее, сказав, что пришел ко мне по неотложному делу, касающемуся моей службы. Барбара проводила его ко мне. Я собирался уже лечь спать. Незнакомец сказал, что его возлюбленная, очень влиятельная дама, при смерти и хочет пригласить священника. Я ответил, что готов последовать за ним, взял с собой все необходимое для последнего причастия и поспешил спуститься.

У дверей два черных как ночь коня в нетерпении били копытами и выдували себе на грудь длинные струи пара. Незнакомец поддержал мне стремя и помог забраться на коня, сам вскочил на другого, едва опершись рукой на головку седла. Он отпустил вожжи и пришпорил своего коня, который помчался как стрела. Мой конь, которого он держал за поводья, тоже понесся галопом и так же превосходно держался всю дорогу. Мы стремительно понеслись. Под нами текла серо-полосатая земля, и черные силуэты деревьев убежали, как обращенная в бегство армия. Мы пересекли незнакомый лес, в котором царил такой непроницаемый и ледяной мрак, что у меня по коже пробежал трепет от какого-то суеверного страха. Снопы искр, высекаемые из камней подковами, оставались за нами, как огненный след, и если бы в этот ночной час кто-нибудь увидел нас, меня и моего провожатого, он принял бы нас за неких призрачных всадников из кошмарного сна. Время от времени на пути появлялись блуждающие огоньки, жалобно вскрикивали галки в лесной чаще, откуда

то тут, то там иногда посверкивали фосфорические глаза диких кошек. Гривы лошадей все больше запутывались, по бокам их струился пот, из ноздрей вырывалось шумное и тяжелое дыхание. Но когда всадник увидел, что кони ослабели, он, ободряя их, испустил совершенно нечеловеческий гортанный крик, и яростная скачка продолжалась.

Наконец этот вихрь остановился; внезапно перед нами стало вырисовываться черное сооружение, на котором то и дело вспыхивали огоньки. На обитом железом полу шаги наших лошадей стали раздаваться слышнее, и мы въехали под темный свод, нависавший между двумя огромными башнями. В замке царило крайнее оживление; слуги с факелами в руках носились туда-сюда по двору, и огни то подымались, то опускались с лестницы на лестницу. Я смутно различал архитектурные детали: колонны, аркады, подъезды и балюстрады. Взору моему предстал роскошный, поистине королевский дворец. Мне помог сойти с лошади черный паж, и в ту же секунду я узнал его: ведь это он передал мне послание Кларимонды! Дворецкий, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на воротах и тростью из слоновой кости в руках, приблизился ко мне. Крупные слезы скатились из его глаз и заструились по щекам на белую бороду. «Поздно! — произнес он, качая головой. — Слишком поздно, господин священник. Но если уж вы не смогли спасти эту душу, то позаботьтесь о бедном теле». Он взял меня за руку и отвел в траурную залу. Я плакал так же горько, как и он, потому что понял: умершая была, конечно же, моя Кларимонда, так долго и безумно любимая.

Скамейка для молитвы размещалась рядом с постелью умершей. Голубоватое пламя, порхавшее на бронзовой чаше, освещало всю комнату слабым и не-

верным светом. На выступавших из тени углах мебели или карниза поминутно вспыхивали блики. На столе стояла увядшая белая роза, погруженная в чеканную урну; все ее лепестки, кроме одного, который еще держался, упали к подножию вазы, как благоухающие слезы. Вокруг по креслам были разбросаны всевозможные маскарадные костюмы, валялись разбитая маска, веер — все говорило о том, что смерть пришла в этот великолепный дом неожиданно, не предупреждая о своем приходе.

Я опустился на колени, не решаясь поднять глаз на постель, и принялся читать псалмы с величайшим усердием, благодаря Господа за то, что Он таким способом преградил путь моим мечтам о ней, чтобы я мог прибавить к своим молитвам ее имя, отныне священное. Но мало-помалу этот порыв стал угасать, и я погрузился в грезы. В этой комнате ничто не напоминало о смерти. Вместо трупного смрада, которым я привык дышать, отправляя службу у мертвецов, томный дым восточных благовоний и какой-то любовный аромат женщины тихо плыли в остывшем воздухе. Это был скорее бледный свет сумерек, предназначенных для страстной любви, нежели тусклый желтый свет лампы, подрагивающей около мертвеца. Я думал: какой удивительный случай дал мне возможность вновь найти Кларимонду и в тот же миг потерять ее навсегда! Вздох сожаления вырвался из моей груди. Мне показалось, что позади меня послышался другой вздох, и я невольно обернулся. То было эхо. При этом движении взгляд мой, до сих пор отводимый, упал наконец на роскошную постель. Шторы из красной узорчатой ткани, расшитые крупными цветами и схваченные золотыми шнурами, позволяли видеть целиком тело покойной и руки, скрещенные на груди. На ней бы-

ло ослепительно белое льняное покрывало, еще более яркое на фоне темного пурпура драпировки, и настолько тонкое, что не скрывало нисколько восхитительных форм ее тела и позволяло заметить эти прекрасные волнистые линии лебединой шеи... Сама смерть не смогла сделать ее окоченевшей. Она напоминала алебастровую статую, выполненную каким-нибудь искусным скульптором для могилы царицы, или еще заснувшую деву, на которую намело снегу.

Я больше не мог владеть собой и оставаться здесь. Вид этого алькова опьянял меня, лихорадочный аромат розы подымался в моем мозгу, и я принялся ходить по комнате большими шагами, останавливаясь на каждом повороте перед этим возвышением, чтобы рассмотреть очаровательную уснувшую сквозь прозрачный саван. Странные мысли пробегали в моем уме: я воображал, что она на самом деле не совсем умерла, что это только уловка, имеющая целью привлечь меня в этот замок и поведать о любви. Мне даже показалось, что под белым покровом шевельнулась ее ступня и что складки савана справа чуть-чуть наморщились.

Потом я стал спрашивать себя: «Точно ли это Кларимонда? Какое доказательство у меня есть? Разве не мог этот черный паж перейти на службу к другой женщине? И я безумец, что так сокрушаюсь и волнуюсь теперь». Но стук моего сердца отвечал мне: «Это точно она, это точно она». Я приблизился к кровати и особенно внимательно взгляделся в предмет моего беспокойства. Признаться вам? Это совершенство форм, хоть и очищенное и освященное тенью смерти, взволновало меня более сладострастно, чем когда-либо прежде, и этот покой настолько напоминал сон, что можно было обмануться. Я забыл, что

пришел сюда совершить похоронный обряд, и стал воображать себя молодым супругом, входящим в спальню к невесте, которая стыдливо прячет лицо и никак не хочет открыть его. Сокрушенный горем, обезумевший от счастья, трепещущий от страха и одновременно от радости, я склонился к ней, взялся за уголок полога и медленно приподнял его, затаив дыхание, опасаясь разбудить ее. Кровь моя стучала с такой силой, что, казалось, свистела у меня в висках, и пот струился по лбу, как будто мне предстояло сдвинуть с места мраморную плиту.

Это действительно была она — такая, какой я увидел ее в церкви во время рукоположения. Она была так же прекрасна, и смерть казалась еще одним изящным ее украшением. Бледность щек, менее живая розовость губ, опущенные длинные ресницы, выделявшиеся темной бахромой на фоне этой белизны, придавали ей выражение печального целомудрия и задумчивого страдания невыразимо чарующей силы. Ее длинные распущенные волосы, в которые еще было вплетено несколько голубых цветков, лежали подушкой вокруг головы, скрывая под кудрями обнаженные плечи. Прекрасные руки, чище и прозрачнее облаков, лежали скрещенные в позе благочестивого покоя и молитвенного безмолвия, сглаживая все то, что могло быть, несмотря на смерть, слишком соблазнительно в этой изысканной округлости и гладкости слоновой кости обнаженных рук, с которых еще не были сняты жемчужные браслеты.

Я долго оставался так, поглощенный немой созерцанием, и чем больше смотрел на нее, тем меньше мог поверить, что жизнь навсегда покинула это прекрасное тело. Я не знаю, было ли то обманом зрения или игрой света лампы, но, казалось, кровь снова побежала по жилам под этой матовой бледностью;

тем не менее она все еще оставалась совершенно неподвижна.

Я тихонько прикоснулся к ее руке. Она была холодна, но не так, как в тот день, когда она коснулась моей руки под церковным порталом. Я вернулся в прежнее положение, склонясь над ней лицом, и позволил теплоте вину моих слез пролиться на ее щеки. Ах, что за горькое ощущение отчаяния и бессилия! Что за страдание эта ночная служба! Я хотел бы собрать воедино все силы моей жизни, чтобы отдать ей и вдохнуть в это ледяное тело огонь, пожиривший меня. Но шла ночь, и, предчувствуя близость вечного расставания, я не смог отказать себе в последнем и горьком наслаждении запечатлеть поцелуй на мертвых губах той, которой принадлежала моя любовь. И — чудо! Легкое дыхание смешалось с моим дыханием, и губы ее ответили на мой поцелуй. Глаза открылись и слегка блеснули, она вздохнула, опустила скрещенные руки и обняла меня за шею с видом неизъяснимого восторга.

«Ах, это ты, Ромуальд? — произнесла она томным и нежным голосом, похожим на заключительный аккорд в пьесе для арфы. — Что же ты делаешь? Я ждала тебя так долго, что распрощалась с жизнью, но теперь мы обручены, я смогу видеть тебя и приходить к тебе. Прощай, Ромуальд, прощай! Я люблю тебя, — это все, что я хотела сказать тебе, я возвращаю тебе жизнь, которую ты пробудил во мне на минуту своим поцелуем; до встречи!»

Голова ее снова откинулась назад, но руки все еще обнимали меня, как будто удерживая. Яростный порыв ветра, выбив стекло, ворвался в комнату; последний лепесток белой розы дрожал некоторое время, как крыло, на конце стебелька, потом оторвался и вылетел в открытое окно, увлекая за собой душу

Кларимонды. Лампа потухла, и я упал без чувств на грудь прекрасной усопшей.

Очнувшись, я обнаружил себя лежащим в кровати в своей комнатке: старый пес прежнего кюре лизал мою руку, покоившуюся поверх одеяла. Барбара со старческой дрожью суежилась в комнате: то открывала, то закрывала выдвижные ящички стола, протирала пыльные стаканы. Заметив, что я открыл глаза, старуха вскрикнула от радости, собака затявкала и завертела хвостом. Но я был так слаб, что не мог ни вымолвить слово, ни пошевелинуться.

Я узнал, что уже три дня находился в таком состоянии, не подавая признаков жизни, разве что еле слышно дышал. Я не заметил, как прошли эти три дня, и не знаю, где было мое сознание все это время, — у меня не осталось об этом никаких воспоминаний. Барбара сообщила мне, что тот же человек с медным лицом, который приезжал за мною ночью, поутру привез меня обратно в закрытых носилках и тотчас уехал. Едва собравшись с мыслями, я вновь припомнил все обстоятельства той роковой ночи. Вначале я решил, что оказался жертвой таинственного обмана чувств; но память о реальных, осязаемых событиях сразу же разрушила это предположение. Я не мог поверить, что это был сон, поскольку Барбара, как и я, видела этого человека с двумя вороными конями и описала детали его портрета с большой точностью. Тем не менее никто не знал в окрестностях ничего похожего на тот замок, где я нашел Кларимонду.

Однажды утром я увидел только что приехавшего аббата Серапиона. Барбара сообщила ему о моей болезни, и он тут же примчался. Хотя эта поспешность свидетельствовала об участии и заинтересованности в моей судьбе, его посещение не было столь уж при-

ятно мне. Взгляд его был каким-то пронзительным и испытующим, и это смущало меня. Я чувствовал себя неловко, как если бы был виноват перед ним. Он стал первым, кто обнаружил мое внутреннее смятение, и мне была неприятна эта его прозорливость.

Лицемерно-сладким тоном он расспрашивал про здоровье, вперив в меня хищный взгляд желтых львиных глаз и погружая его мне прямо в душу, как бы прощупывая ее. Потом он задал мне несколько вопросов о том, как проходит моя служба, доволен ли я, как провожу время, свободное от выполнения моих обязанностей, появились ли у меня знакомые среди местных жителей, какие книги я предпочитаю, и многое другое выспрашивал он. Я отвечал на все эти вопросы по возможности кратко, а он, не дожидаясь конца ответа, переходил к следующему вопросу. Беседа эта, по всей видимости, не имела никакого отношения к тому, что он хотел сказать.

Наконец безо всякой подготовки, как будто о новости, которую он внезапно вспомнил и боялся опять забыть, он произнес ясным вибрирующим голосом, прозвучавшим у меня в ушах, как трубы Страшного суда:

— Известная куртизанка Кларимонда недавно скончалась во время оргии, которая длилась восемь дней и восемь ночей. В этом было какое-то дьявольское великолепие. Возвратились все мерзости пиршеств Валтасара и Клеопатры. В каком веке мы живем, Боже милостивый! Гостям прислуживали темнокожие рабы, говорящие на незнакомом языке, по виду сущие демоны; в ливрею ничтожнейшего из них мог бы облачиться в торжественный день какой-нибудь император. Вокруг этой Кларимонды все время ходили какие-то странные слухи; все ее любовники нашли самую ужасную или позорную смерть. Гово-

рят, она была женщиной-вампиром, но я-то думаю, что это был сам Вельзевул во плоти.

Тут он умолк и взглянул на меня еще более пристально и внимательно, чем прежде, чтобы видеть, какой эффект произвели на меня его слова. Слыша имя Кларимонды, я не мог защититься ни единым движением, и это новое известие о ее смерти, добавок к тому страданию, которое оно мне причинило, по странному совпадению с ночной сценой, свидетелем коей я стал, повергло меня в трепет и ужас, отразившиеся на моем лице, как ни старался я овладеть собой. Серапион бросил на меня беспокойный и суровый взгляд, после чего произнес:

— Сын мой, я должен предупредить вас: вы стоите над пропастью. Будьте осторожны, не сверзитесь туда! У сатаны длинные когти, и могила не всегда надежная защита. Надгробье Кларимонды надо было бы запечатать тройной печатью; ибо она, говорят, не в первый раз умирает. Боже вас сохрани, Ромуальд!

Произнеся эти слова, Серапион медленно направился к двери. Я больше его не видел: он выехал в город С... почти тотчас же.

Я почти поправился и возвратился к своим привычным обязанностям. Воспоминания о Кларимонде и о словах старого аббата не выходили у меня из головы. Тем не менее не происходило ничего необычного, что могло бы подтвердить мрачные предсказания Серапиона, и я начинал думать, что нарисованные им ужасы и мои собственные страхи были сильно преувеличены. Но однажды ночью я увидел сон.

Едва я стал погружаться в забытие, как услышал, что полог над моей постелью поднялся и кольца на занавеси раздвинулись с громким шумом. Я резко

поднялся на локте и увидел тень женщины, стоявшей передо мной. Я сразу узнал Кларимонду. Она держала в руке небольшую лампу, по форме напоминавшую те, что ставят на могилах; свет лампы придавал ее длинным, тонким пальцам розовую прозрачность, которая едва заметно распространялась дальше, переходя в матовую белизну обнаженных рук. Из одежды на ней был только льняной саван, который покрывал ее на той великолепной постели. Она придерживала его складки на груди, как бы стыдясь своего скудного наряда, но ее маленькой ручки было недостаточно для этого: она была такая белая, что цвет ее одеяния смешивался с цветом кожи, освещенной бледным лучом лампы. Облаченная в эту тонкую материю, выдававшую все линии тела, она напоминала скорее мраморную статую античной купальщицы, чем живую женщину. Была ли она живая или мертвая, статуя или все та же Кларимонда, — красота была прежней. Только зеленый блеск глаз немного потух, и губы, прежде ярко-алые, были теперь окрашены лишь в нежно-розовый цвет, почти такой же, как и щеки. Голубые цветочки, которые я тогда заметил у нее в волосах, теперь совсем засохли и почти все осыпались. Это не мешало ей быть очаровательной — настолько, что, несмотря на всю необычность этого происшествия и на то, что она вошла в комнату совершенно необъяснимым способом, я ни минуты не испытывал страха.

Она поставила лампу на стол и села в ногах моей постели, потом сказала, склоняясь ко мне, своим серебристым и одновременно бархатным голосом, какого я не встречал ни у кого другого:

«Я заставила долго ждать себя, дорогой мой Ро-муальд, и ты, должно быть, подумал, что я тебя позабыла. Но я пришла из самого дальнего далека —

из таких мест, откуда никто еще не возвращался: в том краю, откуда я иду, нет ни луны, ни солнца. Там только пространство и темнота — ни дороги, ни тропинки. Никакой земли под ногами, чтобы пройти, ни капельки воздуха, чтобы долететь. И все же я здесь, ибо любовь сильнее смерти, и в конце концов победит. Ах, сколько зловещих ликов, сколько ужасов видела я, покуда продолжалось мое путешествие. Как трудно было моей душе, возвращающейся в этот мир силою воли, отыскать тело и вернуться к нему. Сколько усилий пришлось мне приложить, чтобы поднять могильную плиту, которой меня накрыли! Смотри — мои бедные ладони все в ссадинах и ушибах. Излечи их поцелуями, любовь моя!» Она поочередно приложила к моим губам холодные ладони и, пока я осыпал их поцелуями, смотрела на меня с улыбкой, полной неизъяснимой благодарности.

Я признаю, к стыду своему, что совсем забыл о совете аббата Серапиона и о том, как был при этом одет. Я сдался без сопротивления после первого же штурма. Я даже не пытался бороться с искушением: свежесть кожи Кларимонды пронизывала меня насквозь, и я чувствовал, как сладострастный трепет пробегает по моему телу. Бедное дитя! Несмотря на свершившееся, я все еще с трудом верил, что она могла быть демоном, — по крайней мере, с виду она совсем не походила на него: никогда сатана не смог бы лучше упрятать свои рога и когти. Ноги ее вновь ослабели, и она присела на край постели в позе, исполненной кокетливой томности. Время от времени она проводила своей маленькой ручкой по моим волосам и закручивала их в локоны, как будто стараясь обрести мое лицо новой прической, сопровождая все это очаровательнейшей болтовней. Я позволял ей это с самой непростительной снисхо-

дительностью. Что примечательно, я нисколько не был удивлен таким неожиданным поворотом дел, и с той же легкостью, с какой мы во сне принимаем как сами собой разумеющиеся события самые странные, я почитал все происходившее совершенно естественным.

«Я любила тебя задолго до того, как увидела, дорогой мой Ромуальд, и повсюду искала тебя. Ты был моей мечтой, и в тот злополучный миг я заметила тебя в церкви. Я тут же сказала: „Это он!“ Я бросила на тебя взгляд, в который вложила всю свою любовь, которую чувствовала к тебе до этого, в тот самый момент, и которую должна была чувствовать потом. Такой взгляд способен был обречь на вечные муки кардинала, заставить короля пасть на колени к моим стопам перед всем двором. Ты же остался бесстрастен и предпочел мне своего Бога.

Ах, как я завидую Богу, которого ты любил и любишь еще больше, чем меня! Горе мне, до чего я несчастна! Никогда сердце твое не будет принадлежать мне одной — мне, воскрешенной единственным твоим поцелуем, Кларимонде умершей, взломавшей ради тебя могильные врата и пришедшей посвятить тебе жизнь, которую она вернула лишь для того, чтобы сделать тебя счастливым!»

Все эти речи прерывались исступленными ласками, от которых чувства мои и рассудок были одурманены до такой степени, что я уже не боялся утешать ее, изрыгая чудовищные кощунства и заверяя, что люблю ее так же, как Бога.

Глаза ее снова ожили и загорелись, как хризопразы. «Это правда, в самом деле? Так же, как Бога? — повторяла она, обвивая меня своими прелестными руками. — Но тогда ты пойдешь со мной, куда я захочу, ты оставишь свои безобразные черные одежды.

Ты будешь самым благородным рыцарем, тебе все будут завидовать. Ты станешь моим возлюбленным. Быть возлюбленным Кларимонды, отказавшимся от рясы священника, — что может быть возвышенней и благородней! Ах, как счастливо мы заживем, у нас будет золотая жизнь! Когда мы отправляемся, мой благородный рыцарь?» — «Завтра, завтра!» — кричал я в исступлении. «Пусть будет так, завтра! — согласилась она. — У меня будет время переодеться, потому что мое платье несколько коротковато и совсем не подходит для такого путешествия. Надо также известить моих людей, которые думают, что я в самом деле умерла, и сокрушаются всей душой. Деньги, платье, кареты — все будет готово. Я приду за тобой в тот же час. Прощай, сердце мое». Она слегка коснулась губами моего лба. Лампа погасла, шторы снова задернулись, и я больше ничего не видел.

На меня навалился мертвый сон, сон без сновидений, и сковал меня до самого утра.

Я проснулся позже, чем обычно, и воспоминание об этом необычайном видении волновало меня весь день. В конце концов я убедил себя, что это был лишь плод моего разгоряченного воображения.

Тем не менее ощущения были столь живыми, что было трудно поверить в их нереальность, и я не без некоторого боязливого предчувствия лег в постель, сперва помолившись Господу, с просьбой удалить от меня дурные помыслы и даровать мне чистый и целомудренный сон. Я сразу же глубоко заснул, и сновидение мое продолжилось. Шторы раздвинулись, и я увидел Кларимонду — не такую, как в прошлую ночь, когда она была бледная в своем бледном саване и с фиалками смерти на щеках, а веселую, бодрую и нарядную, в великолепном дорожном костюме из

зеленого бархата, украшенного золотыми шнурами и подобранного сбоку, чтобы можно было видеть шелковую юбку. Ее белокурые волосы сбегали крупными локонами из-под широкополой черной фетровой шляпы с белыми, причудливо изогнутыми перьями. В руке она держала небольшой хлыстик с золотым свистком на конце. Она легко прикоснулась ко мне и сказала: «Ну так что же, соня? Так-то вы приготовились? Я рассчитывала, что вы будете на ногах. Подымайтесь скорей, нам нельзя терять времени». Я прыгнул с постели.

«Идите! Одевайтесь и выходите, — говорила она, указывая пальцем на небольшой сверток, который принесла с собой. — Кони томятся и грызут удила у ворот. Мы уже должны быть в десяти лье отсюда».

Я поспешно оделся: она хохотала над моей неловкостью, сама подавала мне ту или иную часть туалета и показывала, как правильно ее надеть, когда я ошибался. Она немного завила мне волосы и после этого протянула карманное зеркальце венецианского хрусталя с серебряной филигранью и сказала: «Как ты себе нравишься? Не хочешь ли взять меня к себе на службу в качестве камердинера?»

Это был уже не я — я себя не узнавал. Я был не похож на себя настолько же, насколько законченная статуя не похожа на каменную глыбу. Мое прежнее лицо выглядело не более чем грубой заготовкой того, которое теперь отражалось в зеркале. Я был прекрасен, и эта метаморфоза приятно щекотала мое тщеславие. Эти изысканные одежды, эта богато расшитая куртка сделали из меня совершенно другого человека, и я изумлялся могуществу нескольких локтей ткани, выкроенных некоторым особым образом. Дух моего костюма пронизывал меня насквозь, и через десять минут я мог вполне сойти за щеголя.

Я несколько раз прошелся по комнате, придавая себе непринужденный вид. Кларимонда смотрела на меня с материнской снисходительностью и, кажется, была очень довольна своей работой.

«Ну, довольно ребячеств: в путь, мой милый Ро-муальд! Нам ехать далеко, можем не успеть». Она взяла меня за руку и повлекла за собой. Все двери открывались перед ней, стоило ей коснуться их. Мы проскользнули мимо собаки, не разбудив ее. На пороге мы встретили Маргеритона — всадника, сопровождавшего меня в тот день. Он держал за поводья трех вороных коней, таких же, как те, — одного для себя, другого для нее, третьего для меня. Должно быть, это были испанские жеребцы, рожденные от коней, оплодотворенных Зефиром, ибо мчались они как стрела. Луна, которая взошла, освещая нам путь, катилась по небу, словно колесо, отскачившее от повозки. Нам было видно, как она справа от нас прыгала с дерева на дерево и едва поспевала бежать за нами.

Скоро мы достигли какой-то равнины, где у рощицы нас ожидала карета, запряженная четверкой могучих коней. Мы сели в нее, и фореиторы пустили их бешеным галопом. Одной рукой я обнимал свою Кларимонду за талию, другой держал ее руку. Я чувствовал, как ее полуоткрытая шея слегка касается моего плеча, на которое она положила голову. Никогда я не испытывал такого глубокого счастья. В этот миг я забыл обо всем: я вспоминал о своей службе не больше, чем о том, что я делал во чреве матери, — настолько велика была власть дьявольских чар надо мной.

С этой ночи мое естество как бы расколослось надвое: во мне жили два человека, не знавшие друг друга. То я казался себе священником, которому каждую

ночь снится, что он благородный господин, то благородным господином, который видит себя во сне священником. Я уже не мог различить сон и явь, я не понимал, где кончается иллюзия и начинается реальность. Молодой господин, щеголь и распутник насмехался над священником; священнику были отвратительны выходки молодого распутника. Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались, — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил.

Несмотря на дикость этого положения, мне кажется, я ни на мгновение не бывал близок к безумию. В пределах обоих моих существований я всегда сохранял ясность восприятия. Была только одна нелепая вещь, которой я не мог дать объяснение: как это ощущение одного и того же «я» жило в двух столь различных людях. Это была единственная странность, в которой я не отдавал себе отчета, будь я кюре в деревне *** или *синьором Ромуальдо*, официальным любовником Кларимонды.

Я все время бывал (или, по крайней мере, думал, что бываю) в Венеции; я все еще не мог вполне отличить, что в этом странном приключении было иллюзией, а что реальностью. Мы жили в огромном мраморном дворце на Каналейо, где было множество фресок и статуй, с Тицианом лучших времен в спальне Кларимонды, — во дворце, достойном и короля. Каждый из нас имел в своем распоряжении гребца, гондолу, комнату для занятий музыкой и собственно го поэта.

Кларимонда предпочитала в жизни все великое; она была по натуре немного Клеопатрой. Я же вел жизнь наследного принца и раздувал щеки так, будто происходил из семейства одного из патриархов и первосвященников светлейшей республики. Я не посто-

ронился бы с дороги, чтобы пропустить дождя. Не думая, что с тех пор, как сатана низвергнулся с небес, кто-либо был большим гордецом и наглецом, чем я.

Я посещал Ридотто и предавался азарту игры, ставя на карту целые состояния. Я увидел все прелести светской жизни, проводя дни среди последней погибших родов, театральных актрис, шулеров, прихлебателей и бретеров. Но, несмотря на безалаберность этой жизни, я оставался верен своей Кларимонде. Я любил ее безумно. Она могла бы расшевелить само пресыщение и приковать к себе самую неверность. Иметь Кларимонду было все равно что иметь двадцать женщин, всех женщин на свете, — настолько она была переменчивой, подвижной и всегда разной — настоящий хамелеон! Она заставляла изменять ей с нею же, как будто бы с другими, в совершенстве подражая внешности, манерам и красоте своих возможных соперниц. Она сторицей вознаграждала мою любовь, и тщетно молодые патриции и даже старцы из Совета Десяти делали ей самые блестящие и заманчивые предложения. Некий Фоскари дошел даже до того, что решился просить ее руки. Она отказывала решительно всем: у нее хватало золота, ей хотелось лишь любви — любви юношеской, чистой, которую она пробудила во мне и которая для нее была первой и последней.

Я был бы совершенно счастлив, не будь одного проклятого кошмара, мучившего меня каждую ночь, в котором я был сельским священником, умерщвлял плоть и постоянно каялся в своих дневных прегрешениях. Успокоенный привычкой быть с Кларимондой, я почти не думал уже о том, каким странным образом с нею познакомился. В то же время мне порой вспоминались слова аббата Серапиона и приводили меня в некоторое замешательство.

С некоторых пор Кларимонда стала чувствовать себя хуже; она чахла день ото дня. Приглашенные медики ничего не понимали в ее болезни и не знали, что предпринять. Сделав несколько незначительных предписаний, они больше не появлялись. А Кларимонда между тем бледнела на глазах и застывала все больше и больше: она была почти такой же белой и мертвой, как в ту памятную ночь, в незнакомом замке. Я был в отчаянии, видя, как она медленно угасает. Она, тронутая моим горем, улыбалась мне тихо и грустно роковой улыбкой человека, который знает, что умирает.

Однажды утром я, сидя у ее кровати, устроился завтракать на маленьком столике, чтобы не покидать ее ни на минуту. Разрезая какой-то плод, я случайно порезал палец довольно глубоко. Тотчас же пурпурными струйками побежала кровь, и несколько капель брызнуло на Кларимонду. Глаза ее загорелись, на лице появилось выражение дикой, звериной радости, которого я никогда прежде у нее не видел. Она спрыгнула с постели с ловкостью зверя — обезьяны или кошки, — устремилась к моей ранке и принялась высасывать кровь с видом несказанного сладострастия. Она глотала кровь маленькими глотками, медленно, как что-то драгоценное, — так гурман смакует какой-нибудь херес или сиракузское вино. Она слегка скосила глаза, и ее зеленые радужки из круглых стали продолговатыми. Время от времени она прерывалась, целовала мою руку, потом снова надавливала губами на края ранки, чтобы выжать еще несколько алых капель. Увидев, что кровь больше не течет, она подняла поблескивающие глаза. Ее теплая рука была влажна, посвежевшее лицо — розовее майской зари. Она была прекраснее, чем когда-либо, и чувствовала себя превосходно.

«Я не умру! Я не умру! — вскрикивала она, полуобезумевшая от счастья, бросаясь мне на шею. — Я смогу еще долго любить тебя! Моя жизнь — в твоей, и все, что есть во мне, — от тебя. Несколько капель твоей крепкой, благородной, драгоценнейшей крови, которая целительнее всех эликсиров на свете, возвратили меня к жизни!»

Эта сцена, внушившая мне некоторые сомнения относительно Кларимонды, долго не выходила у меня из головы. В тот же вечер, едва сон перенес меня в мой деревенский домик, я увидел аббата Серапиона, который был суров и озабочен, как никогда прежде. Он пристально взглянул на меня и произнес: «Мало того, что вы губите вашу душу, вы хотите погубить и тело! Несчастный юноша, в какую же ловушку вы попались!» Но, сколь бы глубоко ни поразил меня тон сказанных слов, это впечатление вскоре рассеялось, и тысячи других забот изгнали его из моего сердца.

Между тем однажды вечером я увидел в зеркало, расположенное мною так хитроумно, что Кларимонда не предполагала о его существовании, как она сыпала какой-то порошок в бокал шипучего вина, приготовляемый ею обычно после еды. Я взял бокал, для виду поднес его к губам, потом отставил в сторону, как бы намереваясь не спеша допить позже, и, пользуясь моментом, когда моя красавица отвернулась, выплеснул содержимое под стол. После этого я вернулся к себе в спальню и лег, твердо решив не засыпать и посмотреть, что будет. Мне не пришлось долго ждать: Кларимонда вошла в ночном уборе, разделась и легла на кровать подле меня. Убедившись, что я сплю, она обнажила мою руку, вынула из волос золотую булавку и зашептала:

— Одна капля, одна-единственная, красная, одинокий рубин у меня на кончике иглы... Если ты меня

еще любишь, мне не нужно умирать... Ах, любовь моя, бедняжка, как прекрасна, как ослепительно-пурпурна твоя кровь, сейчас я напьюсь ее... Спи, моя единственная радость, мое божество, спи, дитя мое, я не сделаю тебе зла, я не отниму у тебя жизнь, я возьму только часть ее: она нужна, чтобы не угасла моя жизнь. Если бы я не любила тебя так, я могла бы позволить себе завести других возлюбленных, которым осушала бы вены. Но с тех пор, как я узнала тебя, весь мир мне противен... Ах, твоя благородная рука, такая полная, такая белая... Я никогда не осмеюсь проколоть эту прекрасную голубую вену!

И, продолжая шептать, Кларимонда заплакала. Я чувствовал, как ее слезы проливаются на мою руку, которую она держала в своих ладонях. Наконец она решилась, сделала маленький укол своей булавкой и стала высасывать бежавшую из ранки кровь. И хотя она выпила всего несколько капель, ее охватил страх, что я обескровлен: она помазала ранку какой-то мазью, от которой та мгновенно зажила, а потом заботливо перевязала руку маленькой ленточкой.

Сомнений больше быть не могло: правота аббата Серапиона была доказана. Но, даже несмотря на это, я не мог заставить себя разлюбить Кларимонду. Я по доброй воле отдал бы ей всю кровь, которая была нужна, чтобы поддержать ее призрачное существование. Я, впрочем, не испытывал большого страха: все-таки она была прежде всего женщиной, а не вампиром, и услышанное и увиденное убеждало меня совершенно. Крови в моих жилах имелось тогда в изобилии, она не так уж скоро бы иссякла, и мне не жаль было отдавать жизнь по капле. Я сам обнажил бы свою руку и сказал ей: «Пей! И пусть моя любовь войдет в твое тело вместе с моей кровью!»

Я не сделал бы ни малейшего намека на историю со снотворным, которое она мне подсыпала, и на сцену с булавкой, и мы жили бы в самом добром согласии.

И все же совесть священника терзала меня больше, чем когда-либо прежде. Я не знал, какой еще способ послушания изобрести, чтобы обуздать и умертвить свою плоть. Хотя все мои видения были произвольны и я в них никоим образом не участвовал, я не дерзал прикасаться к Распятию нечистыми руками и призывать Христа мыслью, оскверненной подобным развратом, будь то во сне или наяву.

Пытаясь избежать изнурительных галлюцинаций, я мешал себе погрузиться в сон, придерживал пальцами закрывавшиеся веки или стоял, вытянувшись вдоль стены, и изо всех сил боролся со сном. Но дремота вскоре накатывала на меня; я понимал, что вся моя борьба тщетна, в отчаянии и изнеможении руки мои опускались, и я вновь плыл по течению к берегам моего искушения. Серапион же все неистовей увещевал меня и жестоко упрекал за малодушие и недостаток рвения. Однажды, когда я был особенно встревожен, он сказал мне:

— Чтобы спасти вас от этого наваждения, есть только одно средство, самое крайнее, и тем не менее придется его использовать. От большой болезни — большое лекарство. Я знаю, — продолжал он, — где похоронена Кларимонда. Мы выкопаем ее: надо, чтобы вы увидели, в каком жалком состоянии пребывает объект вашей любви, и не пытались больше погубить свою душу ради смердящего трупа, изъеденного червями и готового рассыпаться в прах. Уж это наверняка заставит вас возвратиться к самому себе.

Я к тому времени настолько устал от своей двойной жизни, что легко поддался его уговорам, желая

раз и навсегда удостовериться, кто же из нас — священник или благородный господин — существовал в действительности. Я решился погубить одного из них ради другого, а может быть, и обоих сразу, ибо подобное существование более продолжаться не могло.

Аббат Серапион вооружился киркой, железным ломиком и фонарем, и с наступлением полночи мы направились на кладбище ***, план которого он знал превосходно. Осветив потайным фонарем надписи на нескольких могилах, мы наконец подошли к одному камню, наполовину заросшему высокой травой, изъеденному мхом и растениями-паразитами. Мы разобрали начало надписи:

*Здесь последний приют Кларимонда нашла —
Та, что первой красавицей в мире была.*

— Это точно здесь, — сказал Серапион.

Он просунул лом в щель камня и начал приподымать его. Плита поддалась, и он принялся работать киркой. Я смотрел, как он, чернее и молчаливее самой ночи, трудится, склонившись над могилой. Он делал свое страшное дело, истекая потом и тяжело дыша, словно и сам пребывал в агонии. Это было поистине странное зрелище, и если бы кто-то увидел нас со стороны, он принял бы нас, вероятнее всего, за осквернителей могил и похитителей саванов, но не за слугителей Господа. В усердии Серапиона было что-то дикое и тяжелое, что делало его скорее похожим на демона, чем на апостола или ангела. Его аскетическое лицо с крупными чертами, резко выступавшими в свете фонаря, не обещало ничего хорошего. Я чувствовал, как ледяной пот покрывает все мое тело, и волосы шевелились у меня на голове. В глубине души я считал, что суровый Серапион со-

вершает мерзкое святотатство, и желал бы, чтобы из темных туч, которые тяжело плыли над нами, вышел огненный трезубец и поразил бы его, стер в порошок. Совы, сидевшие на кипарисовых ветвях, прилетали, напуганные светом фонаря, и тяжело ударились крыльями землистого цвета о стекло, издавая жалобные стоны. Издалека доносилось тьяканье лисиц, и множество зловещих голосов раздавалось в тишине.

Наконец кирка ударилась о гроб; доски издали какой-то звук, одновременно глухой и звонкий, — такой ужасный звук издает ничто, если до него ненароком дотронуться. Серапион отвалил крышку, и я увидел Кларимонду — мраморно-бледную, со скрещенными руками; на ее белом саване пролежала вдоль тела всего одна складка. В уголке поблекшего рта сверкала, как роза, маленькая алая капля. При виде ее Серапион пришел в ярость:

— Ах, это ты, бесовка, мерзкая блудница, пожирательница крови и золота!

Он окропил святой водой тело и гроб, изобразив кропилом крест. Едва эта Божья роса коснулась бедной Кларимонды, как ее прекрасное тело рассыпалось в прах; осталась лишь ужасающе бесформенная кучка пепла и наполовину обуглившихся костей.

— Вот ваша возлюбленная, синьор Ромуальдо, — неумолимо произнес священник, указывая на эти жалкие останки. — Надеюсь, вам больше не захочется путешествовать на Лидо и в Фузину с вашей красавицей?

Я поник головой. Внутри у меня все было разрушено. Я вернулся к себе домой, и синьор Ромуальдо, любовник Кларимонды, распрощался с бедным священником, с которым так долго водил в высшей степени странную компанию.

На следующую ночь я в последний раз видел Кларимонду: она говорила мне, как в первый раз, под церковным порталом: «Несчастный, несчастный, что ты наделал! Ты послушался этого глупого священника! Разве не был ты счастлив? И что я тебе сделала, зачем ты осквернил мою бедную могилу и обнажил нищету моего небытия? Отныне порваны все связи между нашими душами и телами. Прощай, ты будешь обо мне жалеть», — и растаяла в воздухе как дым. Больше я ее не видел.

Увы, она была права. Еще не раз душа моя сожалела о ней: покой был куплен слишком дорогой ценой. Любовь Господа ни в коей мере не могла заменить ее любви.

Такова, брат мой, история моей юности. Никогда не подымайте глаз на женщину: всегда проходите мимо, глядя в землю, ибо, как бы ни были вы целомудренны и спокойны, достаточно бывает одной минуты, чтобы потерять вечность.

Эдгар Аллан По

БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

*Ebn Zaiat*¹

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль рождается из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина — счастье, которое *могло бы сбыться* когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов

¹ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (*лат.*). *Ибн-Зайат*.

и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальнях покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится, — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной, — изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгоцеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда, с годами, подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то *поистине* странно было, как

тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самым бытием, единственным и непреложным.

* * *

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей — только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о теньях, которые могут лечь у ней на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! — и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвивается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, силф в чашах Арнгейма! О, наяда, плещущаяся в струях! А дальше... дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться не рассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменялось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, исказив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной была в ней подмена ее самой. Увы! разрушитель пришел и ушел! а жерт-

ва — где она? Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный поворот в душевном и физическом состоянии моей кухни, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались *трансом*, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она по большей части с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь — ибо мне велели иначе ее и не именовать, — так вот, собственная моя болезнь тем временем стремительно одолевала меня и вылилась наконец в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, становившейся час от часу и что ни миг, то сильнее и взявшей надо мной в конце концов непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют *вниманием*. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но боюсь, что это и вообще задача невозможная — дать заурядному читателю более или менее точное представление о той нервной *напряженности интереса* к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь сущего пустяка.

Забывшись на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге;

грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное слово, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании, — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных, сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоответствие поведению, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это — нечто по самой сути своей совершенно иное и непохожее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением, — но, как правило, отнюдь не ничтожным, — сам того не замечая, упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока наконец, уже на излете подобного парения мысли, — *чаще всего весьма возвышенного*, — не оказывается, что в итоге incitamentum, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда было *самым незначительным*, хотя и приобретало, из-за моего болезненного визионерства, некое новое преломление и значительность, которой

в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению как к некоему центру. Сами же эти размышления *никогда* не доставляли радости. Когда же мечтательное забытие подходило к концу, интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшей из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главной отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на *сосредоточенность*, в то время как у обычного мечтателя она идет на *полет мысли*.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то, во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памятен трактат благородного итальянца Целия Секунд Куриона «*De amplitudine beati regni Dei*»¹, великое творение Блаженного Августина «О Граде Божием» и «*De carne Christi*»² Тертуллиана, парадоксальное замечание которого «*Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est*»³, надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся ничем.

Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосно-

¹ «О величии блаженного царства Божия» (лат.).

² «О пресуществлении Христа» (лат.).

³ «Умер сын Божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно» (лат.).

вание с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея Гефестиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью. И хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать; но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж заметно на *физическом* ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого.

В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были

всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки проходила она перед моими глазами, я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических мыслей. *Теперь* же... теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона¹, я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Было ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышавшимися? Я не мог решить. Она стояла молча, а я... я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжа-

¹ «Ибо ввиду того, что Юпитер дважды всякую зиму посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту ласковую, теплую пору колыбелью красавицы Гальционы» (лат.) — Симонид.

ла сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скрыты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы. Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись *зубы* преображенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о господи, а взглянув, тут же бы и умереть!

* * *

Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кузина вышла из комнаты. Но из разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было оттуда, — жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого потускнения на эмали, ни зазубринки по краям — и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их *теперь* даже ясней, чем *когда* смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот они, передо мной, и здесь, и там, и всюду, и до того ясно, что дотронуться впору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ,

как в ту минуту, когда она улыбнулась мне. А дальше *мономания* моя дошла до полного исступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всесильной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они, только они со всей их неповторимостью, стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их то при одном освещении, то при другом. Рассматривал то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышлял, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того, — иметь свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Салле говорили: «*que tous ses pas étaient des sentiments*»¹; а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «*que toutes ses dents étaient des idées. Des idées!*»² Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! *Des idées!* ах, *потому-то* я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстановить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно — чтобы они достались мне.

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма — сгустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а я так и сидел недвижимо все в той же

¹ «Что каждый ее шаг исполнен чувства» (*фр.*).

² «Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла!» (*фр.*).

уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же *phantasma*¹, мерещившиеся мне зубы, все так же не теряла своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая, она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и растерянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица вперемешку с плачем и горькими стенаниями множества народа. Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники... уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.

* * *

Оказалось, я в библиотеке и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после, все это тоскливое время, я понятия не имел или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью, — тем более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось; однако же все это время, все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука,

¹ Призраки (*лат.*).

мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то замешан; в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «*В чем же?*»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она нашему семейному врачу; но как она попала *сюда*, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и в конце концов взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом и кровь застыла в жилах?

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмущившем молчание ночи, о сбежавшихся домочадцах, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика: и тут его речь стала до ужаса отчетливой — он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышащей, корчащейся, — еще *живой!*

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отме-

тинах человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть — сила была нужна не та; выскользнув из моих дрожащих рук, она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зубоврачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.

КАРМИЛЛА

Пролог

В записке, которая была приложена к нижеследующему повествованию, доктор Гесселиус дает подробный комментарий и ссылается на свой трактат, посвященный тому же предмету, что и данный манускрипт.

Трактат, свидетельствующий, как и все прочие труды доктора, о проникательности и обширных познаниях автора, примечателен еще и тем, что таинственные явления анализируются в нем сжато и с недвусмысленной ясностью. Надобно заметить, что в собрании трудов этого поразительного человека данный трактат составит всего лишь один том из многих.

Публикуя рассказ остроумной леди исключительно ради развлечения публики, я считаю неуместным чем-либо его предварять; таким образом, по зрелом размышлении я решил не помещать здесь ни резюме, ни выдержек из рассуждений многоученого доктора по поводу предмета, который (как он заявляет) «затрагивает, вероятно, сокровеннейшие тайны нашего двойственного существования и его промежуточных форм».

Ознакомившись с манускриптом, я, привлеченный умом и аккуратностью, свойственными, по-видимому, давней корреспондентке доктора Гесселиус-

са, пожелал и сам вступить с нею в переписку. К своему немалому огорчению, я узнал, однако, что ее уже нет в живых.

Впрочем, она едва ли смогла бы многое добавить к своему столь точному и обстоятельному (я полагаю) рассказу, который следует ниже.

Глава I

Детский испуг

Мы живем в Штирии, в Австрии. Богачами нас не назовешь, но обитаем мы в замке, или schloss'e¹. С скромного дохода в этих краях хватает на все с избытком. Восемь-девять сотен в год делают чудеса. При всей нашей бедности мы сльвем здесь состоятельными людьми. Мой отец — англичанин, я ношу английскую фамилию, хотя в Англии никогда не была. Но, живя здесь, в этих уединенных и неприхотливых местах, где все так удивительно дешево, я в самом деле не вижу, каким дополнительным комфортом или даже роскошью мы могли бы обзавестись, будь у нас много больше денег.

Мой отец состоял на австрийской службе. Уйдя в отставку и располагая пенсией и наследством, он купил по дешевке это феодальное владение и немного земли при нем.

Невозможно себе представить окружение более живописное и уединение более полное. Замок стоит на небольшой возвышенности в лесу. Дорога, очень старая и узкая, проходит перед подъемным мостом (он ни разу на моей памяти не поднимался); наполненный водой ров обнесен частоколом и служит

¹ Замок (нем.).

пристанищем множеству лебедей и белым флотилиям водяных лилий.

Над всем этим красуется schloss: многооконный фасад, башни, готическая капелла.

Перед воротами замка лес отступает, образуя очень живописную, неправильных очертаний поляну, а направо крутой готический мост переносит дорогу через речной поток, петляющий в густой тени леса.

Я уже говорила, что место это очень уединенное. Судите сами: если смотреть от двери холла в сторону дороги, то лес, среди которого стоит наш замок, простирается на пятнадцать миль вправо и на двенадцать влево. Ближайшая обитаемая деревня находится на расстоянии семи ваших английских миль. Ближайшим обитаемым замком издавна был schloss старого генерала Шпильсдорфа, почти в двадцати милях вправо.

Я сказала «ближайшая обитаемая деревня», потому что всего лишь в трех милях к западу, то есть в направлении замка генерала Шпильсдорфа, есть разрушенная деревня, в ней причудливая маленькая церковь; теперь она стоит без крыши. В боковом приделе — заброшенные могилы гордого рода Карнштайн, ныне угасшего; этот род владел некогда château¹, теперь тоже опустевшим, который возвышается в чаще леса над молчаливыми руинами городка.

Почему обезлюдели эти странные и меланхолические места? По сему поводу существует легенда, которую я поведаю вам в другой раз.

Теперь я должна вам рассказать, сколь немногочисленное общество собирается за обеденным сто-

¹ Замок (фр.).

лом в нашем замке (я не говорю здесь о слугах и жильцах примыкающих к замку строений). Слушайте и удивляйтесь! Это всего-навсего мой отец, самый добрый человек на земле, но уже немолодой, и я. В то время, о котором я рассказываю, мне было всего лишь девятнадцать. С тех пор минуло восемь лет. Я и мой отец — вот и вся семья владельцев замка. Моя мать, дворянка из Штирии, умерла, когда я была совсем маленькой, но почти с самого младенчества меня опекала моя добрая гувернантка. Ее полное приветливое лицо было знакомо мне всегда, сколько себя помню. Это мадам Перродон, уроженка Берна. Ее забота и добродушие частично возместили мне потерю матери, о которой у меня даже не осталось воспоминаний, так рано я ее лишилась. Мадам была третьей персоной за нашим обеденным столом. Была и четвертая, мадемуазель де Лафонтен, дама, которую, думаю, можно назвать «воспитательницей манер». Она говорила на французском и немецком, мадам Перродон — на французском и ломаном английском; добавьте сюда наш с отцом английский, на котором мы говорили каждый день, отчасти чтобы не забыть этот язык, отчасти из патриотических побуждений. В результате получался вавилон, вызывавший насмешки посторонних. Не буду пытаться воспроизвести его в этом рассказе. Были еще две-три молодые дамы, примерно моего возраста, мои подруги, которые время от времени гостили у нас; а я иногда, в свою очередь, бывала в гостях у них.

Вот и все общество, которым мы довольствовались; но были еще, конечно, случайные визиты «соседей», которых отделяли от нас всего каких-то пять или шесть лиг. Тем не менее могу вас заверить, жизнь моя была довольно уединенной.

Мои благоразумные гувернантки контролировали меня лишь настолько, насколько это было возможно в случае с довольно избалованной девушкой, единственный родитель которой во всем предоставлял ей едва ли не полную свободу.

С детства не могу забыть один эпизод, который произвел на меня ужасное впечатление, не изгладившееся до сих пор. Это одно из моих самых ранних детских воспоминаний. Некоторые сочтут его столь незначительным, что не стоило бы и упоминать его здесь. Но скоро вы поймете, почему я о нем рассказываю. Детская комната, в которой жила я одна, находилась в верхнем этаже замка и представляла собой обширное помещение с высоким дубовым потолком. Мне было тогда шесть лет, не больше. Однажды ночью я проснулась, огляделась, не вставая с кровати, и обнаружила, что горничной в комнате нет. Не было и няни, и я решила, что осталась одна. Я не испугалась, потому что принадлежала к числу тех счастливых детей, которым, стараниями взрослых, никогда не приходилось слышать рассказов о привидениях, волшебных сказок и всего прочего, что заставляет нас прятать голову под одеяло, когда внезапно заскрипит дверь или задрожит пламя погасающей свечи и на стене заплывет тень от столбика кровати, вытягиваясь в сторону твоего лица. Я была лишь обижена и раздосадована, обнаружив, что мной, как я решила, пренебрегли, и начала хныкать, готовясь зареветь во весь голос, но тут, к моему удивлению, увидела у края кровати строгое, но очень красивое лицо, смотревшее на меня. Это была молодая женщина, которая стояла на коленях, положив руки на одеяло. Приятно пораженная, я перестала хныкать. Женщина приласкала меня, легла в мою постель и с улыбкой притянула меня к себе.

Сладостное чувство покоя сразу же овладело мной, и я снова заснула. Проснулась я, внезапно ощутив, будто две иглы одновременно очень глубоко вонзились мне в грудь. Я громко закричала. Женщина отпрянула, не спуская с меня глаз, а затем соскользнула на пол и, как мне показалось, спряталась под кроватью.

Тут только я действительно испугалась и завопила во всю мочь. Няня, горничная, экономка вбежали в комнату, выслушали мой рассказ и принялись на все лады истолковывать услышанное, всячески стараясь тем временем меня успокоить. Но я, хотя и была еще ребенком, заметила на их лицах бледность и непривычную тревогу. Они заглядывали под кровать, под столы, осматривали комнату, рывком открывали шкафы, а экономка прошептала няне: «Потрогайте эту вмятину на постели — там кто-то лежал, чем угодно могу поклясться; это место еще теплое».

Помню, как обнимала и целовала меня горничная и как все три женщины осматривали мою грудь — то место, где чувствовалась боль от укола, — и объявили, что никаких следов не обнаружили.

Экономка и две другие служанки остались дежурить на всю ночь, и с тех пор, пока мне не исполнилось четырнадцать лет, в детской всегда находилась кто-нибудь из служанок.

Происшествие это надолго расстроило мои нервы. Послали за доктором; это был бледный пожилой человек. Хорошо помню его длинное мрачное лицо, слегка рябое, и каштановый парик. Долго еще он приходил к нам через день и давал мне лекарство, которое я, разумеется, терпеть не могла.

На следующее утро после этого видения я все еще была напугана до полусмерти и не соглашалась оставаться одна ни на минуту, даже при свете дня.

Помню, как пришел наверх мой отец, как он стоял у кровати, весело что-то говорил, задал много вопросов няне и громко смеялся над одним из ответов; как он похлопал меня по плечу, поцеловал, сказал, чтобы я не боялась, что все это был сон и ничего больше и вреда от него не будет.

Но я не успокоилась, ибо знала, что визит странной женщины был *не* сном, и я *ужасно* боялась.

Немного утешило меня уверение горничной, что это она приходила в спальню и легла в кровать рядом со мной и что спросонья я не узнала ее лица. Однако и это не вполне удовлетворило меня, хотя слова горничной подтвердила няня.

Помню, как в тот же день в комнату вошел почтенный старый человек в черной сутане в сопровождении няни и экономки, немного поговорил с ними, потом со мной — очень ласково. Лицо у него было милое и доброе. Он сказал мне, что сейчас они будут молиться, соединил мои руки и попросил меня тихо повторять, пока они молятся: «Господи, внимли всем молящим за нас, во имя Господа нашего Иисуса». Думаю, слова были именно такие, потому что я часто повторяла их про себя, а няня и годы спустя велела мне включать эти слова в мои молитвы.

Я очень хорошо помню задумчивое, ласковое лицо этого седовласого человека в черной сутане, помню, как он стоял в этой скромно отделанной коричневой комнате с высоким потолком, среди неуклюжей мебели в стиле, бывшем в моде триста лет назад; как скудный свет рассеивал сумрак, проникая через маленькое окно с частым переплетом. Священник преклонил колени, три женщины сделали то же, и он громко молился дрожащим голосом — как мне показалось, очень долго. Я позабыла всю мою жизнь, предшествовавшую этому событию, и некоторый пе-

риод после него тоже смутен; но сцены, которые я только что описала, выступают из тьмы подобно живым фантазмагорическим картинкам.

Глава II

Гостя

А теперь я собираюсь поведать о событиях столь необыкновенных, что лишь при полном доверии ко мне вы не примете эту историю за выдумку. Тем не менее они не только произошли в действительности, но я сама была их участницей.

Был чудесный летний вечер. Отец пригласил меня, как иногда делал и прежде, совершить вместе с ним небольшую прогулку вдоль опушки леса, по той красивой большой поляне перед замком, о которой я уже говорила.

— Генерал Шпильсдорф не сможет в ближайшие дни к нам приехать, — сказал отец во время прогулки.

Генерал собирался погостить у нас несколько недель, и мы ожидали его прибытия на следующий день. Он должен был привезти с собой молодую даму, свою племянницу и воспитанницу, мадемуазель Райнфельдт, которую я никогда не видела, но, по описаниям, представляла как весьма очаровательную девушку и надеялась провести в ее обществе много счастливых дней. Молодая дама, живущая в городе или в окружении многочисленных соседей, и представить себе не может, как я была разочарована. Этот визит и связанное с ним новое знакомство заполняли мои мысли и мечты уже много недель.

— А когда же он приедет? — спросила я.

— До осени не приедет. Не раньше чем через два месяца, думаю, — ответил отец. — И я теперь очень

рад, дорогая, что ты так и не познакомилась с мадемуазель Райнфельдт.

— Почему? — Я испытывала одновременно и разочарование и любопытство.

— Потому что молодая леди умерла. Я совсем забыл, что не сказал тебе об этом, но тебя не было в комнате, когда я вечером получил письмо от генерала.

Я была потрясена. В своем первом письме, шесть или семь недель назад, генерал Шпильсдорф упоминал, что его племяннице нездоровится, но там не было даже отдаленного намека на такую опасность.

— Вот письмо генерала, — сказал отец, протягивая мне письмо. — Он не помнит себя от горя; похоже, им овладело отчаяние, когда он писал это письмо.

Мы уселись на грубо сделанную скамью под величественными липами. Солнце во всем своем меланхолическом великолепии садилось за лесом; река, которая течет мимо нашего дома в сторону упомянутого уже мной старого готического моста, в двух шагах от нас огибала одну за другой купы стройных деревьев, отражая в своем потоке постепенно блекнувшее малиновое небо. Письмо генерала Шпильсдорфа было таким необычным, страстным, местами противоречивым, что я прочла его дважды, во второй раз вслух для отца, и все еще не могла в нем разобраться; оставалось разве что предположить, что генерал от горя повредился рассудком.

В письме было сказано:

«Я потерял мою дорогую дочь — я ведь был связан к ней, как к дочери. В последние дни болезни моей дорогой Берты я был не в силах написать Вам. До этого мне и в голову не приходило, какая опас-

ность ей грозит. Я ее потерял, а теперь мне известно все, но слишком поздно. Она умерла в невинной умиротворенности, в блаженной надежде на вечное спасение. Виной всему тот дьявол, который предательски воспользовался нашим легкомысленным гостеприимством. Я думал, что дал приют в своем доме невинности, веселью — душе, во всем подобной утраченной мной Берте. Боже! Как я был глуп! Благодарю Тебя за то, что дитя мое умерло, не ведая причины своих страданий. Она отошла в лучший мир, не имея ни малейшего представления ни о природе своей болезни, ни об отвратительных страстях, повлекших за собой все эти несчастья. Я посвящу остаток своих дней поискам этого чудовища, чтобы уничтожить его. Мне сказали, что можно надеяться на успех моего благого и праведного дела. Пока что я блуждаю в потемках. Проклинаю свое самодовольное неверие, свое презренное высокомерие, слепоту, упрямство — но поздно. Я не могу сейчас писать или говорить яснее. Мысли путаются. Как только немного приду в себя, я какое-то время посвящу наведению справок; возможно, для этого мне даже придется отправиться в Вену. Как-нибудь осенью, месяца через два или раньше, если буду жив, наведаюсь к Вам, с Вашего разрешения; тогда и расскажу все то, что не решаюсь сейчас доверить бумаге. Прощайте. Молитесь за меня, дорогой друг».

Такими словами заканчивалось это странное письмо. Хотя мне так ни разу и не пришлось увидеться с Бертой Райнфельдт, глаза мои наполнились слезами при этом неожиданном известии; я была и поражена и разочарована до глубины души.

Солнце уже село, и наступили сумерки, когда я вернула отцу письмо генерала.

Был мягкий ясный вечер, и мы медленно прогуливались, размышляя, что бы могли значить неистовые и отрывочные фразы, которые я только что читала. Нам предстояло одолеть еще почти милю, чтобы выбраться на дорогу, проходящую вдоль фасада замка. К тому времени уже ярко сияла луна. На подъемном мосту мы встретили мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен, которые с непокрытыми головами вышли полюбоваться чудесным лунным светом.

Приближаясь, мы слышали их оживленную беседу. Мы присоединились к ним на подъемном мосту и обернулись, чтобы тоже насладиться дивным зрелищем.

Поляна, по которой мы только что прогуливались, лежала перед нами. Слева узкая дорога, висясь, уходила под купы царственных деревьев и терялась в лесной чаще. Справа та же дорога вела к живописному горбтому мосту, вблизи которого стояли руины башни, некогда охранявшей проход; за мостом на крутой возвышенности смутно виднелись в тени деревьев несколько серых, увитых плющом глыб.

На лугах расстилалась тонкая пелена тумана, похожая на дым, окутывая даль прозрачным покрывалом; в лунном свете кое-где мерцала река.

Более приятную, умиротворенную сцену невозможно себе представить. Новость, которую я только что услышала, придала меланхолический оттенок этому зрелищу; но ничто не могло нарушить его глубокую безмятежность, зачарованную красоту туманной панорамы.

Мы с отцом, ценителем красивых пейзажей, молча смотрели вдаль. Обе гувернантки стояли чуть позади, перевозносили красоту сцены и упражнялись в красноречии по поводу лунного света.

Мадам Перродон была особа средних лет, полная, романтическая. Она и говорила и вздыхала на поэти-

ческий манер. Мадемуазель де Лафонтен (отец ее был немец, и потому она претендовала на познания в психологии, метафизике, отчасти в мистике) объявила, что такой интенсивный свет луны, как хорошо известно, указывает на особую духовную активность. Яркий свет полной луны влияет на сны, на сумасшедших, на нервных людей и прочая, и прочая; луна оказывает удивительное, жизненно важное физиологическое воздействие. Мадемуазель рассказала, что ее кузен, служивший помощником капитана на торговом судне, однажды в такую же ночь задремал на палубе, лежа навзничь, обратив лицо к луне. Ему приснилось, что какая-то старуха вцепилась когтями ему в лицо. Пробудившись, он обнаружил, что лицо его самым ужасающим образом перекосилось; с тех пор его черты так и не обрели былой симметрии.

— Луна этой ночью исполнена одилической и магнетической сил, — сказала она, — взгляните назад, на фасад замка: как вспыхивают и мерцают серебром его окна, будто невидимая рука зажгла в комнатах огни в ожидании чудесных гостей.

Бывает такое праздное состояние души, когда не хочется говорить, но звук чужой речи приятен для нашего равнодушного слуха; и я вглядывалась в даль, с удовольствием прислушиваясь к беседе, напоминавшей позвякивание колокольчиков.

— На меня нашла хандра этой ночью, — прервал паузу отец и процитировал Шекспира, которого имел обыкновение читать вслух, чтобы не забывать английский:

Не знаю, отчего я так печален.
Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже.
Но где я грусть поймал, нашел...¹ —

¹ Пер. Т. Щепкиной-Куперник.

Дальше забыл. У меня такое чувство, будто нам грозит какая-то большая беда. Думаю, это имеет отношение к горестному письму бедного генерала.

В тот же миг наше внимание привлекли непривычные звуки: шум колёс экипажа и стук множества копыт.

Звуки, казалось, приближались со стороны возвышенности за мостом, и очень скоро оттуда появился экипаж. Сначала по мосту проехали двое всадников, за ними последовала карета, запряженная четверкой лошадей, а замыкали процессию еще двое верховых.

По виду это был дорожный экипаж, принадлежавший знатной особе, и наше внимание было немедленно поглощено примечательным зрелищем. А через несколько мгновений события приняли совсем неожиданный оборот. Как только экипаж пересек середину круглого моста, одна из передних лошадей испугалась. Паника передалась остальным; сделав пару рывков, вся четверка пустилась в бешеный галоп, пронеслась между двумя передними верховыми и загрохотала по дороге, приближаясь к нам со скоростью урагана.

Волнение, вызванное этой сценой, переросло в тревогу, когда мы отчетливо услышали протяжные женские крики, доносившиеся из окна экипажа.

Мы все бросились вперед, охваченные любопытством и ужасом, отец молча, остальные — издавая испуганные восклицания.

Напряженное ожидание продолжалось недолго. Перед подъемным мостом замка на пути экипажа стояла с одной стороны великолепная липа, а с другой — старинный каменный крест. При виде его лошади, летевшие во весь опор, свернули в сторону,

так что колесо экипажа наткнулось на выступающие корни дерева.

Мне было ясно, что сейчас произойдет. Я закрыла глаза и отвернулась, не в силах вынести это зрелище, и в то же мгновение услышала крик своих старших приятельниц, которые все видели.

Любопытство заставило меня открыть глаза. На дороге царил полнейший хаос. Две лошади лежали на земле, два колеса вращались в воздухе; мужчины снимали постромки; внушительного вида дама выбралась из экипажа и стояла, ломая руки и время от времени поднося к глазам платок. Через дверцу экипажа извлекли тем временем молодую даму, не подававшую признаков жизни. Мой милый папа, со шляпой в руках, уже стоял рядом со старшей дамой, очевидно, предлагая ей воспользоваться всеми средствами, имевшимися в замке, для оказания помощи. Дама, казалось, не слышала его; она не спускала глаз со стройной девушки, которую уложили возле пригорка.

Я подошла. Молодая дама, очевидно, была оглушена, но, во всяком случае, жива. Мой отец, гордившийся своими медицинскими познаниями, ощупал запястье девушки и заверил старшую даму, объявившую себя ее матерью, что пульс, пусть слабый и неровный, все же четко различим. Дама сложила руки и обратила глаза вверх, как будто благодаря небеса, но тут же снова принялась разыгрывать сцену скорби. Некоторым людям, думаю, свойственна такая театральность.

Это была, что называется, интересная для своего возраста женщина; прежде она, должно быть, считалась красавицей. Роста она была высокого, но не худа, одета в черный бархат, довольно бледна, но с гордым и внушительным, хотя и необычайно взволнованным сейчас лицом.

— Когда же придет конец моим несчастьям и горестям? — стонала она, когда я приблизилась. — Поездка моя — это дело жизни или смерти, один час промедления все погубит. Кто знает, скоро ли мое дитя придет в себя и сможет продолжать путешествие. Придется покинуть ее; я не могу, не смею медлить. Не скажете ли, где находится ближайшая деревня? Придется оставить дочь там; вернусь я через три месяца, а до того мне не удастся ни повидать мою дорогую девочку, ни даже получить от нее весточки.

Я потянула отца за рукав и горячо зашептала ему на ухо: «Папа, пожалуйста, попроси оставить ее у нас — это будет чудесно. Ну пожалуйста».

— Если мадам доверит свое дитя заботам моей дочери и ее верной гувернантки, мадам Перродон, и разрешит ей эти три месяца погостить у нас, на моем попечении, она окажет нам этим великую честь. А мы уж приложим все усилия, чтобы сберечь доверенное нам сокровище.

— Я не могу этого сделать, сударь, это значило бы безбожно злоупотребить вашей добротой и любовью, — отвечала дама смущенно.

— Напротив, вы бы оказали нам величайшую любезность в ту минуту, когда мы особенно в этом нуждаемся. Моя дочь только что претерпела жестокое разочарование из-за несостоявшегося визита, которого она долго ждала и который предвкушала с большой радостью. Если вы доверите молодую леди нашему попечению, это как нельзя лучше утешит мою дочь. Ближайшая деревня на вашем пути расположена далеко, и там нет такой гостиницы, где вы могли бы поместить свое дитя. Поездка же на большое расстояние для нее опасна. Если, как вы говорите, дела ваши не терпят отлагательств, придется

вам расстаться с дочерью здесь, и, можете мне поверить, мы о ней позаботимся лучше, чем кто бы то ни было.

В осанке и внешности дамы сквозило нечто столь неординарное, впечатляющее, а манеры ее были столь примечательны, что, даже не видя пышности ее свиты, можно было предположить в ней важную особу.

К этому моменту экипаж был уже поднят, а лошади, вполне усмирненные, опять запряжены.

Дама бросила на свою дочь взгляд, который мне показался не таким любящим, как можно было ожидать судя по предыдущей сцене; потом она подала знак моему отцу и удалилась вместе с ним на несколько шагов, так что разговор их стал недостижим для слуха. Лицо дамы сделалось сосредоточенным и суровым, совсем не таким, как раньше.

Я была поражена тем, что отец, казалось, не заметил этой перемены, и сгорала от любопытства: что же она нашептывала отцу почти в самое ухо с такой серьезностью и поспешностью?

На разговор дама потратила минуты две, самое большее три, потом повернулась и, пройдя несколько шагов, оказалась рядом со своей дочерью, которую поддерживала мадам Перродон. На мгновение она опустилась на колени подле дочери и зашептала ей что-то на ухо. Мадам предположила, что это было краткое благословение. Потом, быстро поцеловав девушку, вошла в экипаж, дверца закрылась, лакеи в пышных ливреях вскочили на запятки, верховые пришпорили лошадей, форейторы щелкнули хлыстами, лошади с места в карьер ударились в галоп, угрожая снова понести, и экипаж полетел прочь, сопровождаемый двумя верховыми, замыкавшими кавалькаду.

Глава III

Мы сравниваем наши впечатления

Мы провожали глазами кортеж, пока он не скрылся из виду в туманном лесу, вслед за чем замерли в ночном воздухе стук копыт и грохот колес.

Пережитое приключение можно было бы счесть галлюцинацией, если бы не присутствие молодой дамы, которая как раз открыла глаза. Лицо ее было обращено в другую сторону. Я видела только, как она подняла голову, осматриваясь, и услышала мелодичный голос, жалобно произнесший:

— Мама, где ты?

Наша добрая мадам Перродон откликнулась несколькими ласковыми фразами, стараясь успокоить ее.

Потом незнакомка спросила:

— Где я? Что это за место? — И добавила: — Я не вижу экипажа. А матушка, где она?

Мадам отвечала на все ее вопросы, какие только расслышала, и постепенно молодая дама припомнила, как произошел несчастный случай, и обрадовалась, услышав, что никто не пострадал. Узнав, что мама оставила ее здесь и обещала вернуться месяца через три, она заплакала.

Я собиралась присоединиться к мадам Перродон, утешавшей незнакомку, но мадемуазель де Лафонтен, удержав меня за руку, сказала:

— Не подходите; одного собеседника ей сейчас более чем достаточно. При таких обстоятельствах малейшее возбуждение может пойти во вред.

Я подумала: «Как только ее благополучно уложат в постель, я непременно поднимусь в ее комнату».

Тем временем отец послал слугу на лошади за врачом (тот жил в двух лигах отсюда), а для молодой дамы готовили спальню.

Наконец незнакомка встала и, опираясь на руку мадам, медленно прошла по подъемному мосту к воротам замка.

Слуги уже ожидали в холле и тут же проводили девушку в ее комнату.

В качестве гостиной мы обычно использовали продолговатую комнату с четырьмя окнами, смотрящими на ров, подъемный мост и тот лесной пейзаж, который я только что описала.

Обставлена она старинной дубовой мебелью с большими резными шкапами-горками и стульями, обитыми малиновым утрехтским бархатом. Стены увешаны гобеленами. На них, заключенные в широкие золотые рамы, красуются человеческие фигуры в натуральный рост, в старинных, очень любопытных одеяниях. Представленные здесь персонажи охотятся с соколом, просто охотятся и вообще развлекаются. Комната очень уютная, не слишком официальная. Здесь мы пили чай, так как мой отец, склонный при каждом удобном случае проявлять патриотизм, настаивал на том, чтобы этот национальный напиток регулярно появлялся на столе наряду с кофе и шоколадом.

Той ночью мы сидели здесь при свечах и обсуждали вечерние происшествия.

Мадам Перродон и мадемуазель де Лафонтен присутствовали тоже. Молодая незнакомка погрузилась в глубокий сон, как только ее уложили в кровать, и обе дамы поручили ее заботам слуг.

— Как вам понравилась наша гостья? — спросила я, едва мадам вошла в комнату. — Расскажите мне о ней все.

— Я от нее в восторге, — ответила мадам. — Она, думаю, самое прелестное создание, какое я когда-либо видела; примерно вашего возраста и такая кроткая и милая.

— Она настоящая красавица, — вступила в разговор мадемуазель, которая успела на минутку заглянуть в комнату незнакомки.

— А голосок какой приятный! — добавила мадам Перродон.

— А вы заметили, когда экипаж подняли, что там была женщина, — осведомилась мадемуазель, — которая не выходила наружу, только выглядывала в окно?

Нет, мы ее не видели.

Тогда мадемуазель описала ее: отвратительная черная женщина, на голове что-то вроде цветного тюрбана. Она все время таращилась из окна экипажа, ухмыляясь и кивая в сторону обеих дам. Глаза горящие, с огромными яркими белками, зубы оскалены, будто в приступе ярости.

— А вы заметили, что за безобразный сброд эти их слуги? — спросила мадам.

— Да, — сказал отец, только что вошедший в комнату, — вид у них разбойный, в жизни не видел никого уродливей. Надеюсь, они не ограбят бедную леди в лесу. Но, правда, в ловкости этим негодникам не откажешь: вмиг все привели в порядок.

— Я бы сказала, что их утомило слишком долгое путешествие, — предположила мадам. — Вид у них неприглядный, это верно, но, кроме того, удивительно исхудавшие и хмурые лица. Честно говоря, я сгораю от любопытства; но, вероятно, молодая леди обо всем нам завтра расскажет, если будет хорошо себя чувствовать.

— Не думаю, — произнес отец, таинственно улыбаясь и покачивая головой, будто что-то скрывал от нас.

Это еще более подстегнуло мое любопытство. Очень уж мне хотелось узнать, что произошло между ним и дамой в черном бархате во время краткого,

но серьезного разговора непосредственно перед ее отъездом.

Как только мы остались одни, я пустился в расспросы. Долго уговаривать отца не пришлось.

— Не вижу особых причин от тебя это скрывать. Она говорила, что ей неловко обременять нас заботами о своей дочери; сказала, что ее дочь — девушка хрупкого здоровья, нервная, но никакого рода припадкам не подвержена, равно как и галлюцинациям, и что она, в сущности, вполне нормальный человек. Заметь, кстати, что я никаких вопросов не задавал.

— Странно, к чему были эти оговорки? — вмешалась я. — Не вижу в них необходимости.

— Во всяком случае, это *было* сказано, — усмехнулся отец, — а раз ты хочешь знать все, что произошло, а не произошло почти ничего, то я не опускаю никаких подробностей. Потом моя собеседница добавила: «Я предприняла далекую поездку, жизненно важную для меня, — здесь она сделала ударение, — срочную и секретную; вернуться за дочерью мне удастся не ранее чем через три месяца. Все это время она будет хранить молчание о том, кто мы такие, откуда приехали и куда направляемся». Вот и все, что я узнал. Мать нашей гостьи очень чисто говорит по-французски. При слове «секретная» она помолчала несколько секунд, глядя мне в глаза пристально и сурово. Думаю, она придает этому большое значение. Уехала она чрезвычайно поспешно, это ты сама видела. Надеюсь, я не сделал слишком большой глупости, взяв на себя заботу об этой молодой леди.

Что касается меня, то я была в восторге. Я изнывала от нетерпения, ожидая, когда доктор наконец позволит мне увидеться и поговорить с гостьей. Вы, городские жители, даже представить себе не можете,

что означает для нас, в нашей глуши, появление новых друзей.

Доктора пришлось ждать почти до часу, но уйти и лечь в постель мне было бы не легче, чем догнать пешком экипаж, уносивший княгиню в черном бархате.

Когда врач спустился в гостиную, мы услышали очень хорошие новости о состоянии пациентки. Она уже сидела, пульс стал ровным. По всей видимости, здоровье ее было в полном порядке. Она не получила никакого увечья, небольшой шок прошел, не оставив следа. Мой визит, без сомнения, не нанесет ей вреда, если мы обе захотим встретиться. Получив разрешение, я тотчас послала узнать, позволит ли мне наша гостья зайти на несколько минут в ее комнату.

Служанка немедленно вернулась с ответом, что та жelaет этого больше всего на свете.

Можете быть уверены, что я не замедлила воспользоваться разрешением.

Гостью поместили в одну из самых красивых комнат нашего замка, разве что не в меру величественную. На стене напротив кровати висел мрачный гобелен, изображавший Клеопатру со змеей на груди, на остальных стенах были представлены другие торжественные классические сцены. Мрачность старинных гобеленов, немного поблекших, искупалась богатой позолоченной резьбой и пышностью прочей отделки.

Горели свечи. Незнакомка сидела в кровати; на ее стройную красивую фигуру был наброшен тот самый подбитый шелком халат, расшитый цветами, которым мать прикрывала девушке ноги, когда бедняжка лежала на земле.

Что же заставило меня, когда я приблизилась к гостье с небольшой приветственной речью, мгновен-

но замолкнуть и отпрянуть на несколько шагов? Сейчас расскажу.

Передо мной было то самое лицо, которое я видела в детстве в столь памятную мне ночь, лицо, о котором я многие годы так часто размышляла с ужасом, когда никто не догадывался, о чем я думаю.

Лицо это, миловидное, даже красивое, в первый миг, когда я его увидела, несло на себе все тот же отпечаток меланхолии.

Но почти мгновенно на нем вспыхнула странная, подчеркнутая улыбка узнавания.

Не меньше минуты длилось молчание, и она наконец заговорила — я не смогла.

— Поразительно! — воскликнула гостья. — Двенадцать лет назад я видела ваше лицо во сне, и с тех пор оно постоянно меня преследует.

— В самом деле поразительно! — повторила я, с усилием подавляя ужас, на несколько секунд сковавший мне язык. — Двенадцать лет назад, в видении или наяву, я, без сомнения, вас видела. С тех пор я не забывала ваше лицо. Оно все время стояло у меня перед глазами.

Ее улыбка смягчилась. То, что представилось мне в ней странным, исчезло, а ямочки на щеках теперь показались восхитительными.

Я пришла в себя и, вспомнив о законах гостеприимства, приветствовала гостью и описала то удовольствие, которое доставил ее нечаянный визит нам всем, в особенности мне.

Произнеся эти слова, я взяла ее за руку. Я была немного застенчива, как и все одинокие люди, но обстоятельства придали мне красноречия и даже смелости. Гостья пожала мою руку и накрыла ее своей. Глаза ее горели. Она быстро взглянула мне в лицо, снова улыбнулась и покраснела.

Она очень мило ответила на мое приветствие. Я села рядом с ней, не переставая удивляться, и она сказала:

— Послушайте, я вам поведаю о том, что мне тогда привиделось; это просто чудо, что обе мы видели друг друга во сне живо, будто в реальности, и такими, какие мы сейчас, — хотя тогда, разумеется, обе были детьми. Мне было лет шесть. Я проснулась после какого-то спутанного, тревожного сна и оказалась в комнате, непохожей на мою детскую. Стены ее были обшиты грубой работы панелями из какого-то темного дерева, вдоль стен — шкафы, кровати, стулья, скамьи. Мне показалось, что кровати пустые и, кроме меня, в комнате никого нет; осмотревшись вокруг и особенно залюбовавшись железным подсвечником с двумя ветвями — который я, без сомнения, узнала бы, доведись мне снова его увидеть, — я стала пролезать под одной из кроватей, чтобы добраться до окна, но, когда поднималась, услышала чей-то плач. Взглянув вверх (я еще не встала с колен), я увидела вас — без малейшего сомнения, — как вижу сейчас: красивая молодая дама с золотистыми волосами и большими голубыми глазами, а губы... ваши губы... Это были вы, в точности как сейчас. Вы мне понравились; я вскарабкалась на постель и обняла вас; кажется, мы обе уснули. Меня разбудил крик: вы сидели в кровати и кричали. От испуга я соскользнула на пол и — так мне почудилось — на мгновение потеряла сознание. Придя в себя, я снова оказалась дома, в своей детской. С тех пор мне и запомнилось ваше лицо. Я не могла ошибиться, это не простое сходство. Именно вы — та дама, которую я тогда видела.

Настала моя очередь рассказать о своем видении, что я и сделала, поразив мою новую знакомую до глубины души.

— Не знаю, кто кого должен больше бояться, — произнесла она, снова улыбаясь. — Не будь вы так прелестны, я бы вас очень боялась, а теперь, тем более поскольку мы обе такие молодые, я чувствую только, что мы с вами познакомились двенадцать лет назад и уже подружились; во всяком случае, с самого раннего детства судьба назначила нам быть подругами. Не знаю, испытываете ли вы ко мне такое же странное притяжение, как я к вам; у меня никогда не было подруги — неужели я найду ее теперь? — Она вздохнула, устремив на меня страстный взгляд своих красивых темных глаз.

По правде говоря, я испытывала странное чувство по отношению к прекрасной незнакомке. Я чувствовала, говоря ее словами, «притяжение» к ней, но и отталкивание тоже. И все же притяжение резко преобладало. Она интересовала меня и покоряла: она была так красива и так необыкновенно обаятельна.

Я заметила теперь, что гостьей как будто овладевают усталость и апатия, и поспешила пожелать ей доброй ночи.

— Доктор считает, — добавила я, — что вам на эту ночь нужен присмотр. Одна из наших горничных будет ночевать в вашей комнате. Вы увидите: это очень толковая и спокойная девушка.

— Это так любезно с вашей стороны, но я не засну: я никогда не могла спать в присутствии посторонних. Мне не понадобится никакая помощь, и, признаюсь в своей слабости, меня преследует страх перед грабителями. Наш дом однажды ограбили и убили двух слуг, так что я всегда запираюсь на ключ. Это стало привычкой. Вы так любезны — знаю, вы меня простите. Я вижу, в двери есть ключ. — Она на мгновение обняла меня своими прелестными руками и прошептала на ухо: — Спокойной ночи, дорогая; мне

очень жаль с тобой расставаться, но — спокойной ночи; завтра утром, но не слишком рано, мы снова увидимся.

Гостя со вздохом откинулась на подушку; ее красивые глаза следили за мной нежно и меланхолично. Она снова пробормотала: «Спокойной ночи, моя радость».

В молодых людях симпатия и даже более сильные чувства вспыхивают мгновенно. Мне льстила ее очевидная любовь ко мне, ничем пока не заслуженная, нравилось то, как она мгновенно прониклась ко мне доверием. Она решительно намеревалась стать моей очень близкой подругой.

Наступил следующий день, и мы встретились снова. Я была во многих отношениях в восторге от своей новой приятельницы.

При свете дня ее внешность ничуть не проигрывала — она была, несомненно, самым красивым созданием, какое я когда-либо встречала, а неприятное воспоминание о лице, виденном в детском сне, уже потеряло эффект неожиданности.

Она призналась, что испытала подобный же шок, увидев меня, и точно такую же легкую антипатию, какая примешивалась к моему восхищению ею. Теперь мы вместе посмеялись над нашим мимолетным испугом.

Глава IV

Ее привычки. Прогулка

Я уже говорила вам, что меня очаровывало в ней почти все. Но не совсем все.

Она была выше среднего роста. Вначале я опишу ее. Она была стройна и удивительно грациозна.

За исключением вялости — крайней вялости — движений, ничто в ее облике не указывало на болезненность. Прекрасный цвет лица; черты мелкие и изящные; глаза большие, темные и блестящие; волосы совершенно удивительные. Ни у кого мне не случалось видеть таких густых и длинных волос, как у нее. Я любовалась ими, когда они были распущены; нередко погружала в них руку, приподнимала и смеялась, удивляясь их весу. Они были изысканно красивы: мягкие, глубокого темно-каштанового цвета, с золотым отливом. Мне нравилось, как они ниспадали в беспорядке под собственной тяжестью, когда она сидела, откинувшись на спинку стула, в своей комнате и что-нибудь рассказывала мелодичным, низким голосом. Я сворачивала их, заплетала и расплетала, играла ими. Боже! Если бы я только знала!

Я уже говорила, что кое-что в ней мне не нравилось. В первую ночь нашего знакомства меня покорило ее доверие, но, как выяснилось, в том, что касалось ее самой, ее матери, обстоятельств, приведших ее сюда, собственно во всем, что имело отношение к ее жизни, планам и близким людям, она неизменно оставалась настороженно-скрытной. Наверное, я была неразумна, возможно, неправа, и, разумеется, мне следовало уважать обязательства, наложенные на моего отца дамой в черном бархате. Но любопытство — неутомонное и бесцеремонное чувство, и ни одна девушка не станет терпеть, если от нее что-то скрывают. Ну кому будет хуже, если я узнаю то, что так страстно жажду знать? Неужели она сомневается в моих благоразумии и честности? Почему она не верит, когда я клянусь так торжественно, что ни одному смертному ни единым словом не обмолвлюсь о ее тайне?

В ее улыбчивом, меланхоличном, упорном отказе просветить меня хоть чуть-чуть мне виделась не свойственная ее возрасту холодность.

Не скажу, что мы из-за этого ссорились; она никогда со мной не ссорилась. Конечно, было очень дурно и невоспитанно с моей стороны так настойчиво ее расспрашивать, но я не могла с собой совладать; кроме того, я с тем же успехом могла бы и не упорствовать.

То, что она мне рассказала, было ничем по сравнению с моими неумеренными ожиданиями.

Все это можно свести к трем весьма общим фразам: ее звали Кармила; она из очень древней и благородной семьи; ее дом находится к западу отсюда.

Она ни слова мне не сказала ни о том, как именовался их род, ни об их фамильном гербе и девизе, ни о названии их владений, ни даже о том, из какой они страны.

Не следует думать, что я беспрерывно осаждала ее вопросами. Я подстерегала удобный момент и проявляла больше вкрадчивости, чем настойчивости. Раз или два, впрочем, я предпринимала прямую атаку. Но, вне зависимости от выбранной тактики, меня неизменно ждало поражение. Упреки и ласки были бесполезны. Должна добавить при этом: она уклонялась от моих вопросов так мило, так грустно умоляла меня, стараясь отвлечь мое любопытство, сопровождала это таким потоком страстных заверений в любви ко мне и убежденности в моем благородстве и такими многочисленными обещаниями в конце концов раскрыть все тайны, что у меня не хватало духу долго на нее обижаться.

Она обхватывала своими прелестными руками мою голову, привлекала меня к себе и, прижавшись щекой к моей щеке, шептала мне в самое ухо: «Лю-

бовь моя, твое сердечко ранено; не считай меня жестокой: я подчиняюсь неборимому закону своей силы и слабости; если твое сердечко ранено, мое неистовое сердце кровоточит вместе с твоим. В восторге безграничного самоуничтожения я живу в твоей жаркой жизни, а ты должна умереть — блаженно умереть — в моей. Против этого я бессильна; как я прихожу к тебе, так и ты в свой черед придешь к другим и познаешь восторг той жестокости, которая есть не что иное, как любовь. Потому до времени не стремись узнать больше, чем знаешь сейчас, но доверься мне всей своей любящей душой».

Когда поток слов иссякал, она, трепеща, еще теснее прижимала меня к себе, а ее теплые губы осторожно покрывали нежными поцелуями мою щеку.

Ее возбуждение и страстные речи были мне непонятны.

В таких случаях — бывало это, надо сказать, не очень часто — мне хотелось освободиться из этих нелепых объятий; но силы, казалось, оставляли меня. Ее бормотание звучало как колыбельная, я переставала сопротивляться и впадала в оцепенение. Лишь после того как она разжимала объятия, я приходила в себя.

Когда на нее находил этот стих, она мне не нравилась. Я испытывала странное, лихорадочное волнение, иногда приятное, вместе со смутным страхом и гадливостью. Пока длились эти сцены, у меня не было ясных мыслей, но любовь к ней, переходившая в обожание, уживалась во мне с отвращением. Это парадоксально, знаю, но не буду и пытаться как-то по-иному объяснить свои чувства.

Сейчас, когда с тех пор прошло уже более десяти лет, я пишу эти строки дрожащей рукой, неуверенно,

с ужасом припоминая некоторые происшествия и ситуации, относившиеся к тому тяжкому испытанию, через которое я, сама того не ведая, проходила; хотя основной порядок событий запечатлелся у меня в уме достаточно живо и четко. Но, подозреваю, в жизни всегда бывают некоторые эмоциональные сцены, сопровождающиеся необузданным, диким возбуждением наших чувств, которые вспоминаются потом очень неясно и расплывчато.

Иногда, после часа апатии, моя странная и красивая приятельница брала мою руку и снова и снова нежно пожимала ее, слегка зардевшись, устремляла на меня томный и горящий взгляд и дышала так часто, что ее платье вздымалось и опадало в такт бурному дыханию. Это походило на пыл влюбленного; это приводило меня в смущение; это было отвратительно, и все же этому невозможно было противиться. Пожирая меня глазами, она привлекала меня к себе, и ее жаркие губы блуждали по моей щеке. Она шептала, почти рыдая:

— Ты моя, ты должна быть моей, мы слились навеки.

Доведя меня до нервной дрожи, она откидывалась на спинку стула и прикрывала глаза своими миниатюрными ладонями.

— Разве мы родня? — спрашивала я. — Что это все значит? Может быть, я напоминаю тебе кого-то, кто тебе дорог? Но не нужно так делать, я этого не люблю. Я не понимаю тебя, я самое себя не понимаю, когда ты так смотришь и так говоришь.

Она вздыхала в ответ на мою горячность, потом отворачивалась и роняла мою руку.

Я тщетно пыталась выдумать какую-нибудь приемлемую теорию, объясняющую эти весьма необыч-

ные вспышки чувств. Это не было ни аффектацией, ни притворством. Несомненно, это было внезапное проявление подавленных инстинктов и эмоций. Может быть, что бы ни говорила ее мать, Кармила была подвержена кратким припадкам умопомешательства? Или за всем этим крылась какая-то романтическая тайна? Я читала о таком в старинных книгах. Что если какой-нибудь воздыхатель прибеж к маскараду, чтобы пробраться в дом с помощью умной бывалой авантюристки? Но многое говорило против этого предположения, столь лестного для моего тщеславия.

Я не могла похвалиться ни малейшим знаком внимания, походившим на мужское восхищенное преклонение. Минуты страсти перемежались длинными интервалами обыденности, веселости, задумчивой меланхолии, во время которых — если не считать того, что иногда, как я замечала, глаза Кармиллы, полные меланхолического огня, следили за мной, — я, бывало, почти ничего для нее не значила. За исключением очень коротких периодов загадочного возбуждения, она вела себя как обычная девушка, и в ней всегда присутствовала вялость, совершенно несовместимая с манерой держаться; свойственной мужчине в полном здравии.

У Кармиллы имелись некоторые странные привычки. Возможно, городской жительнице они не покажутся столь необычными, как нам, деревенским людям. Она спускалась в гостиную очень поздно, обычно не раньше часа, выпивала чашку шоколада, но ничего не ела, потом мы отправлялись на прогулку. Она почти сразу же уставала и либо возвращалась в замок, либо усаживалась на одну из скамеек, которые и там и тут были поставлены среди деревьев. Это была телесная слабость, ум ее не разделял.

Моя подруга всегда охотно заводи́ла беседу́ и говори́ла очень живо́ и умно́.

Временами она мимоходом упоминала свой родной дом или какое-нибудь приключение, сценку, детское воспоминание, описывая при этом странных людей и обычаи, о каких нам никогда и слышать не приходилось. Из этих случайных намеков я заключила, что ее родные места находятся значительно дальше отсюда, чем мне думалось вначале.

Когда мы однажды днем сидели так под деревьями, мимо нас прошла похоронная процессия. Хорошили прелестную молодую девушку, которую я часто встречала, дочь одного из лесничих. Бедняга шел за гробом своей любимой дочери; она была единственным ребенком, и нельзя было не заметить, что отец совершенно убит горем. Крестьяне шли за ним парами и пели похоронный гимн.

Когда они поравнялись с нами, я встала, чтобы почтить процессию, и присоединилась к мелодичному пению.

Моя спутница довольно бесцеремонно тряхнула меня, и я с удивлением обернулась.

Она сказала резко:

— Ты что, не слышишь, как это фальшиво?

— Напротив, очень мелодично, — ответила я, раздраженная ее вмешательством. Я боялась, что участники этой маленькой процессии заметят происходящее и будут обижены. Поэтому я сразу возобновила пение, но вновь была вынуждена смолкнуть.

— У меня сейчас уши лопнут, — фыркнула Кармила со злостью и заткнула уши своими маленькими пальчиками. — Кроме того, нечего говорить, что у нас одна вера; эти ваши церемонии приводят меня в ужас, и я ненавижу похороны. Пустая суета! Люди

должны умирать, каждый умрет — и от этого станет только счастливее. Пойдем домой.

— Отец ушел со священником на кладбище. Я думала, ты знаешь, что ее хоронят сегодня.

— Ее? Я не знаю, кого это — ее, мне нет дела до крестьян, — отозвалась Кармила, сверкнув своими красивыми глазами.

— Это бедная девушка, которой две недели назад почудился призрак, и с тех пор она уже не вставала. Вчера она умерла.

— Не говори мне о привидениях, а то я не смогу заснуть сегодня.

— Надеюсь, это не чума и не лихорадка; очень на то похоже, — продолжала я. — Всего лишь неделю назад умерла молодая жена свинопаса. Она рассказывала, что кто-то схватил ее за горло, когда она лежала в постели, и чуть не задушил. Папа говорит, что такие жуткие фантазии сопровождают некоторые формы лихорадки. За день до этого она была совершенно здорова. А тут стала чахнуть и умерла, не проболев и недели.

— Ну ладно, ее похороны, я надеюсь, позади, и ее гимн спет, и эта разноголосая тарабарщина не будет больше раздражать нам уши. Она меня вывела из себя. Сядь здесь, рядом со мной... ближе; возьми мою руку, сожми ее... крепче... крепче...

Мы прошли несколько шагов назад, к другой скамейке.

Кармила села. В ее лице произошла перемена, которая встревожила и даже на мгновение испугала меня. Оно помрачнело и стало мертвенно-бледным. Зубы Кармиллы были стиснуты, руки тоже, она хмурила брови и поджимала губы. Глядя вниз, в землю, она принялась неудержимо лихорадочно дрожать. Она, казалось, напрягала все свои силы,

чтобы подавить истерический припадок, отчаянно борясь с ним; наконец у Кармиллы вырвался низкий конвульсивный крик страдания, и постепенно она пришла в себя.

— Ну вот! Все из-за этих мучителей с их гимнами! — сказала Кармилла наконец. — Держи меня, не отпускай. Уже проходит.

И в самом деле припадок постепенно проходил; и возможно, чтобы рассеять мрачное впечатление, которое на меня произвело это зрелище, она принялась необычайно оживленно болтать: так мы и вернулись домой.

Никогда до этого случая я не замечала у Кармиллы сколько-нибудь явственных признаков той хрупкости здоровья, о которой говорила ее мать. И ничего похожего на раздражение она тоже до сих пор ни разу не выказывала.

И то и другое рассеялось как летнее облачко, и с тех пор только один раз я была свидетельницей мимолетного проявления ее гнева. Вот как это случилось.

Однажды, глядя в окно гостиной, мы увидели на подъемном мосту, а затем и во дворе замка одного хорошо мне знакомого странствующего артиста и шарлатана. Он посещал наш замок обычно два раза в год.

Это был горбун с худыми, резкими чертами лица, обычно сопровождаемыми телесной ущербности. Он носил острую черную бородку и широко, до самых ушей, улыбался, показывая белые клыки. Одет он был в желтое, черное и алое, перепоясан несчетным множеством ремней и ремешков, на которых болталась всякая всячина. За спиной он нес магический фонарь и два ящика: в одном из них, как мне было хорошо известно, помещалась саламандра, а в дру-

гом — мандрагора. Эти монстры очень потешали моего отца. Они были составлены из частей обезьян, попугаев, белок, рыб и ежей, высушенных и сшитых воедино с большим искусством, неизменно потрясавшим зрителей. При госте были скрипка, коробка с приспособлениями для фокусов, пара рапир и маски, прицепленные к поясу. Свисали с него еще и прочие загадочные предметы, а в руках он держал черный посох с медными ободками. Косматая поджарая собака, спутник горбуна, следовала за ним по пятам; внезапно, почуяв что-то подозрительное, она остановилась на подъемном мосту и душераздирающе завывала.

Тем временем бродячий артист, стоя посреди двора, приподнял свою причудливую шляпу и отвесил весьма церемонный поклон, рассыпая обильные любезности на отвратительном французском и почти столь же ужасном немецком. Потом он отцепил свою скрипку, начал пикировать веселую мелодию, запел под нее, забавно фальшивя, и принялся с нелепой важностью проворно приплясывать. Это заставило меня рассмеяться, несмотря на завывания собаки.

Затем он приблизился к окну с многократными улыбками и приветствиями, держа шляпу в левой руке, а скрипку — под мышкой, и в плавной безостановочной речи стал пространно прославлять свои таланты, богатые возможности различных искусств, которые он готов поставить нам на службу, любопытные и занимательные предметы, которые продемонстрирует по первому требованию.

— Не пожелают ли ваши милости приобрести амулет против упыря, что, подобно волку, рыщет, сказывают, по здешним лесам? — проговорил горбун, роняя свою шляпу на камни. — Народ мрет от

него направо и налево. А вот амулет — он никогда не подведет. Пришпильте только его к подушке — и можете смеяться упырю прямо в лицо.

Амулет этот состоял из узких длинных полосок пергамента с нанесенными на них каббалистическими знаками и чертежами.

Кармила тотчас же купила амулет; я последовала ее примеру.

Горбун смотрел на нас снизу, мы улыбались, глядя на него сверху. Нам было весело, по крайней мере мне. Тут мне показалось, что его пронзительные черные глаза, когда он глядел вверх на наши лица, обнаружили что-то любопытное.

Вмиг он развернул кожаный футляр, заполненный всевозможными причудливыми инструментиками из стали.

— Извольте взглянуть, ваша милость, — обратился он ко мне, показывая на инструменты. — Я практикую наряду с другими полезными искусствами благородное ремесло дантиста. Черт побери эту собаку! — вставил горбун. — Заткнись, скотина! Она воеет так, что милостивой госпоже ни слова не слышно. У вашей высокородной подруги, молодой госпожи справа от вас, острейшие зубки — длинные, тонкие, заостренные как шило, как иглы — ха-ха! Мне это хорошо видно отсюда, снизу, — глаза у меня зоркие. Может статься, эти зубки поранят молодую госпожу, а думаю, так и будет — и вот он я, и все, что нужно, при мне — напильник, шило, щипцы. Я их сделаю гладкими и плоскими, если ее милость пожелает, не как у рыбы, а как пристало такой красивой молодой госпоже. Что? Молодая госпожа сердится? Я был чересчур дерзок? Я оскорбил ее?

Молодая госпожа действительно выглядела очень рассерженной, когда отошла от окна.

— Как осмелился этот паяц так оскорбить нас? Где твой отец? Я потребую, чтобы он наказал наглеца. Мой отец приказал бы привязать негодяя к помпе, и выпороть хлыстом, и выжечь клеймо, да так, чтоб до костей прожгло!

Кармила отошла на шаг-другой от окна и села. Стоило ей потерять из виду своего обидчика, как ее гнев угас так же внезапно, как вспыхнул, и к ней постепенно вернулось ее обычное настроение. Маленький горбун и его глупые выходки были забыты.

Мой отец в тот вечер был расстроен. Придя домой, он рассказал нам, что произошло еще одно несчастье, подобное двум недавним. Сестра одного молодого крестьянина из нашего имения, в миле отсюда, тяжело заболела. Произошло это, по ее словам, после нападения, похожего на предыдущие, и теперь девушка медленно, но верно угасала.

— Все это, — добавил отец, — имеет вполне естественное объяснение. Несчастные заражают друг друга своими суевериями и таким образом воссоздают в своем воображении те страшные картины, о которых рассказывали соседи.

— Именно это меня больше всего и пугает, — заметила Кармила.

— Почему же?

— Я очень боюсь, как бы мне не почудилось что-нибудь жуткое; думаю, плод воображения ничуть не лучше реальности.

— Мы в деснице Божьей; без Его соизволения ничего не бывает, и, кто любит Его, тот всегда будет спасен. Он наше прибежище, наш Создатель — и Он позаботится о своем творении.

— Какой создатель! Природа! — возразила молодая дама моему милому отцу. — А эта болезнь, которая свирепствует в округе, тоже от природы. При-

рода... Все происходит от природы — так ведь? Все, что есть и в небесах, и на земле, и под землей, живет и действует по законам природы. Так я считаю.

— Доктор обещал прийти сегодня, — сказал отец, помолчав. — Хотелось бы знать, что он обо всем этом думает и что, по его мнению, следует делать.

— Доктора мне ничем не помогли, — произнесла Кармила.

— А ты была больна? — спросила я.

— Так больна, как тебе и не снилось.

— Давно?

— Да, давно. У меня была та же самая болезнь; но я все позабыла, кроме боли и слабости, и не так уж это и мучительно — другие болезни хуже.

— И ты тогда была очень молода?

— Разумеется. Не будем больше говорить об этом. Ты ведь не хочешь причинить боль своей подруге? — Кармила томно взглянула мне в глаза, любовно обняла меня за талию и увела из комнаты.

Отец читал у окна какие-то бумаги.

— Почему твоему папе нравится нас пугать? — спросила моя очаровательная подруга со вздохом, слегка вздрагивая.

— Да нет же, дорогая Кармила, у него и в мыслях этого не было.

— Ты боишься, дорогая?

— Я очень боялась бы, если бы думала, что есть реальная угроза такого же нападения, как было с этими несчастными.

— Ты боишься умереть?

— Да, все боятся.

— Но умереть как влюбленные — умереть вместе, чтобы вместе жить... Девушки — это гусеницы, которые живут в этом мире, чтобы в конце концов стать бабочками, когда придет лето; но в промежутке они

бывают личинками и куколками, знаешь ли — каждая форма с присущими ей особенностями, потребностями и строением. Так утверждает месье Бюффон в своей большой книге, которая стоит в соседней комнате.

Позже пришел доктор и на некоторое время уединился с папой. Это был очень искусный врач; лет ему было за шестьдесят. Доктор пудрил волосы, а свое бледное лицо выбривал так гладко, что оно походило на тыкву. Из комнаты они вышли вместе, и я слышала, как папа со смехом говорил:

— Вы меня удивляете. Вы же мудрый человек. А как насчет гиппогрифов и драконов?

Доктор улыбался и отвечал, покачивая головой:

— Как бы то ни было, жизнь и смерть — состояния загадочные, и нам мало что известно о том, какие они таят в себе возможности.

Они прошли мимо, и больше я ничего не расслышала. Тогда я не знала, что имеет в виду доктор, но теперь, кажется, догадываюсь.

Глава V

Удивительное сходство

Вечером из Граца прибыл сын реставратора живописи, мрачный смуглый юноша, с лошадкой и повозкой, груженной двумя большими ящиками, полными картин. От нашей малой столицы, Граца, нас отделяет десять лиг, и, когда в schloss прибывал какой-нибудь ее посланец, все мы обычно толпились вокруг него в холле, чтобы послушать новости.

Это событие вызвало в наших уединенных местах настоящую сенсацию. Ящики поставили в холле, а сам столичный житель оставался на попечении

слуг, пока не поужинал. Затем в сопровождении помощников, вооружившись молотком, долотом и отверткой, он вышел в холл, где мы собрались, чтобы наблюдать за вскрытием ящиков.

Кармила сидела и смотрела равнодушно, как на свет появлялись одна за другой старые картины, почти исключительно портреты, прошедшие процесс обновления. Моя мать была из старинной венгерской семьи, и большая часть картин, которые предстояло повесить на прежние места, попала к нам от нее.

Отец держал в руке список, читал его вслух, а художник отыскивал соответствующий номер. Не знаю, так ли уж хороши эти картины, но они, несомненно, очень старые, а некоторые из них еще и весьма любопытные. В большинстве своем они имели то преимущество, что я их видела, можно сказать, в первый раз, потому что дым и пыль времени едва не погубили их совсем.

— А вот эту картину я вижу впервые, — сказал отец. — В верхнем углу — имя, насколько могу разобрать, «Марция Карнштайн», и дата, «1698», и мне хотелось бы знать, как она здесь очутилась.

Я вспомнила ее; это была небольшая картина, примерно полтора фута в высоту, почти квадратная, без рамы, но она так потемнела от древности, что рассматривать ее было бесполезно.

Художник извлек ее с заметной гордостью. Картина была очень красива; она ошеломляла; она, казалось, жила. Это было изображение Кармиллы!

— Кармила, дорогая, это просто чудо. На этой картине — ты, живая, улыбающаяся, готовая заговорить. Правда, красиво, папа? И посмотри — даже родинка на шее.

Отец с усмешкой подтвердил:

— Конечно, сходство поразительное. — Но смотрел он в другую сторону, не очень-то удивился и продолжал беседовать с реставратором, вполне достойным называться художником.

Тот со знанием дела рассуждал о портретах и других работах, которым его искусство только что вернуло свет и краски, в то время как я, вглядываясь в изображение, все более изумлялась.

— Можно мне повесить эту картину в своей комнате, папа? — спросила я.

— Конечно, дорогая, — улыбнулся отец. — Я очень рад, что ты обнаружила такое сходство. Если это так, то картина еще красивее, чем я предполагал.

Молодая дама словно бы не услышала этого столь приятного комплимента. Она откинулась на спинку сиденья, ее красивые глаза под длинными ресницами задумчиво глядели на меня; она улыбалась; казалось, она была в экстазе.

— И теперь легко прочесть имя в углу картины. Это не Марция; буквы как будто золотые. Здесь написано. «Миркалла, графиня Карнштайн». Над именем изображение короны, а внизу надпись: «А. D. 1698». Я из рода Карнштайн, то есть мама из этого рода.

— Ах, — отозвалась Кармила вяло, — я, видимо, тоже — очень отдаленное родство, очень древнее. Кто-нибудь из Карнштайнов еще жив сейчас?

— Нет, не осталось, наверное, никого, кто носил бы это имя. Род давно вымер — погиб, надо полагать, в одной из гражданских войн, — но руины замка находятся всего лишь в трех милях отсюда.

— Любопытно, — протянула она лениво. — Но посмотри, какая красивая луна! — Кармила глядела в сторону приоткрытой двери холла. — Что если нам немного прогуляться по двору, взглянуть на дорогу и на реку.

— Так похоже на ту ночь, когда ты к нам приехала.

Моя подруга с улыбкой вздохнула.

Она встала; обняв друг друга за талию, мы вышли на мощный двор.

Не спеша, в полном молчании, мы прошли к подъемному мосту. Вид оттуда открывался чудесный.

— Значит, ты думала о той ночи. — Она почти шептала. — Ты рада, что я здесь?

— Я в восторге, дорогая Кармила.

— И ты просила, чтобы картину, которая, по твоему, похожа на меня, повесили у тебя в комнате, — пробормотала Кармила со вздохом, крепче обняла меня за талию и уронила свою прелестную головку мне на плечо.

— Как ты романтична, Кармила. Когда ты мне поведаешь свою историю, окажется, что это какой-то сплошной роман.

Она молча поцеловала меня.

— Я уверена, Кармила, что ты была влюблена, что и сейчас продолжается какая-то любовная история.

— Я ни в кого не была влюблена и никогда не влюблюсь, — прошептала она, — разве что в тебя.

Как красива она была при лунном свете!

Взглянув на меня странно и робко, она проворно уткнула лицо в мой затылок и волосы, бурно, почти со всхлипом, вздохнула и вложила свою дрожащую руку в мою ладонь.

Ее нежная пылающая щека прижалась к моей.

— Милая моя, — бормотала она, — я живу в тебе, а ты умрешь ради меня, ведь я так тебя люблю.

Я отшатнулась.

Кармила смотрела на меня потухшими, бессмысленными глазами, лицо ее сделалось бледным и безжизненным.

— Кажется, похолодало, дорогая? — произнесла она сонно. — На меня напала дрожь — наверное, я задремала? Пойдем домой. Пойдем же, пойдем.

— У тебя нездоровый вид, Кармила, немного бледный. Тебе непременно нужно выпить вина, — сказала я.

— Хорошо, выпью. Мне сейчас уже лучше. Еще немного, и будет совсем хорошо. Да, дай мне немножко вина, — отвечала Кармила, когда мы подошли к двери. — Давай еще чуть-чуть посмотрим; может быть, я в последний раз люблюсь лунным светом вместе с тобой.

— Как ты себя чувствуешь, Кармила, дорогая? Тебе действительно лучше?

Я начала тревожиться, как бы она не стала жертвой той странной эпидемии, которая, как говорили, распространилась в наших местах.

— Папа будет ужасно огорчен, — добавила я, — если решит, что ты почувствовала даже самое легкое недомогание и не дала нам немедленно знать. По соседству есть очень хороший доктор, тот самый, который был у папы сегодня.

— Не сомневаюсь, что хороший. Я знаю, какие заботливые вы все, но, дитя мое, я уже прекрасно себя чувствую. Это не болезнь, а просто легкая слабость. Говорят, это у меня вялость; я неспособна напрыгаться, долго идти пешком — утомляюсь быстрее трехлетнего ребенка, а по временам мне совсем отказывают силы, и тогда я становлюсь такой, какую ты меня только что видела. Но после этого я легко прихожу в себя, в считанные минуты. Посмотри, все уже в порядке.

В самом деле так оно и было. Потом мы с ней долго самозабвенно болтали, и остаток вечера прошел без «страстей», как я это называла. Я имею

в виду ее странный вид и безумные речи, которые приводили меня в смущение и даже пугали.

Однако ночью случилось событие, которое придало моим мыслям совершенно новый оборот и, кажется, даже Кармиллу потрясло так, что ее вялость на время уступила место энергии.

Глава VI

Очень странная болезнь

К тому времени, когда мы вернулись в гостиную и уселись пить кофе и шоколад (Кармилла, правда, не пила), моя подруга выглядела совершенно здоровой. Мадам и мадемуазель де Лафонтен присоединились к нам и составили небольшую карточную партию, а тем временем пришел папа — «на чайную церемонию», как он выражался.

Когда игра была закончена, отец сел на диван рядом с Кармиллой и спросил с легкой тревогой в голосе, не получала ли она со времени прибытия сюда известий от матери.

Она ответила:

— Нет.

Потом он спросил, не знает ли Кармилла, куда нужно адресовать сейчас письмо к ее матери.

— Не могу сказать, — отвечала она уклончиво, — но я уже подумывала об отъезде; я слишком злоупотребила вашей добротой и гостеприимством. Я вам доставила массу хлопот. Мне нужно бы взять завтра экипаж и поехать вослед маме; я знаю, где ее найти, только не смею проговориться.

— Об этом не может быть и речи! — воскликнул отец, к моему великому облегчению. — Мы не можем отпустить вас таким образом, и я соглашусь на

ваш отъезд не иначе как в обществе вашей матушки, которая оказала нам честь, решившись оставить вас здесь до своего возвращения. Я был бы очень рад узнать, что вы поддерживаете с ней связь. Сегодня вечером известия о росте загадочной эпидемии, распространившейся в наших местах, стали еще тревожнее, и, лишенный возможности получить совет от вашей матери, я чувствую, моя прекрасная гостья, что на меня ложится очень большая ответственность. Но я сделаю все, что возможно. Одно ясно: вам не следует думать о том, чтобы покинуть нас без прямого указания вашей матушки. Слишком много огорчения принесет нам ваш отъезд, чтобы мы так легко на него согласились.

— Тысячу раз благодарю вас, сударь, за ваше гостеприимство, — откликнулась Кармилла с застенчивой улыбкой. — Вы все были бесконечно добры ко мне; за всю свою жизнь я очень редко бывала так счастлива, как в этом прекрасном *château*, на вашем попечении и в обществе вашей милой дочери.

После чего отец, довольный, со старомодной галантностью поцеловал ей руку. Эта краткая речь явно ему польстила.

Я, как обычно, проводила Кармиллу в ее комнату, и мы немного поболтали, пока она готовилась ко сну.

Наконец я сказала:

— Как ты думаешь, ты будешь когда-нибудь со мной вполне откровенна?

Она с улыбкой обернулась, но молчала, только продолжала улыбаться.

— Ты не отвечаешь? — продолжала я. — Значит, не можешь сказать ничего хорошего; мне не следовало тебя об этом спрашивать.

— Ты имеешь полное право спрашивать об этом или о чем угодно другом. Ты сама не знаешь, как ты

мне дорога. У меня не может быть от тебя тайн. Но я связана клятвой, страшной клятвой, и не смею рассказать свою историю даже тебе. Уже близок час, когда ты все узнаешь. Ты будешь считать меня жестокой, эгоистичной, но любовь всегда эгоистична — чем пламенней, тем эгоистичней. Ты даже представить себе не можешь, как я ревнива. Ты должна идти со мной, любя меня, к смерти; или же ненавидеть меня, но все равно идти со мной, ненавидя, через смерть и дальше. Слова «равнодушные» не существуют для моей апатичной натуры.

— Ну вот, Кармила, ты снова принялась болтать эту дикую чепуху, — прервала я ее поспешно.

— Это не я, не маленькая дурочка со множеством капризов и причуд; это ради тебя какой-то мудрец говорит моими устами. Ты была когда-нибудь на балу?

— Нет же, опять ты за свое. Расскажи мне об этом. Это, должно быть, чудесно.

— Я почти все забыла, прошли годы с тех пор.

Я рассмеялась:

— Ты слишком молода. Ты не могла еще забыть свой первый бал.

— Я вспоминаю его, но с трудом. Все это мне видится, как ныряльщику, который смотрит на мир через плотную, текучую, но прозрачную среду. Случившееся в ту ночь спутало все воспоминания, заставило их потускнеть. Я едва не была убита в моей постели, я была ранена сюда, — она коснулась груди, — и с тех пор все изменилось.

— Ты едва не умерла?

— Да, едва не умерла... жестокая любовь... странная любовь, отнимающая жизнь. Любовь требует жертв, и жертв кровавых. А теперь пора спать. Мне так лень вставать и запира́ть дверь...

Она лежала, подложив свои маленькие ручки под щеку, так что они тонули в ее густых волосах, головка покоилась на подушке, а блестящие глаза сопровождали все мои движения. Она улыбалась робкой, непонятной мне улыбкой.

Я пожелала ей спокойной ночи и тихо вышла из комнаты, испытывая чувство неловкости.

Я часто задавалась вопросом, молится ли когда-нибудь наша прелестная гостья? Мне определенно ни разу не случилось видеть ее стоящей на коленях. Утром она спускалась в гостиную, когда наши семейные молитвы давно были прочитаны, а вечером ни разу не покидала гостиную, чтобы присоединиться к краткой общей молитве в холле.

Если бы во время одного из наших беззаботных разговоров случайно не выяснилось, что она была крещена, я бы не знала, считать ли ее христианкой. Я ни разу не слышала от нее ни одного слова о религии. Если бы я лучше знала свет, это особенное пренебрежение или антипатия не удивили бы меня так сильно.

Страх нервозных людей заразителен, и люди схожего темперамента через некоторое время непременно начинают им подражать. Я позаимствовала у Кармиллы привычку запирать дверь спальни. Пережив ее причудливые опасения, я стала бояться вторжения ночных взломщиков или убийц. По ее примеру я обыскивала комнату, дабы убедиться, что нигде не затаился убийца или грабитель.

Приняв эти мудрые меры предосторожности, я ложилась в постель и засыпала всегда при свете. Это была очень давняя привычка, и ничто не могло побудить меня от нее отказаться.

В такой твердыне я могла спокойно отдыхать. Но сны проходят через каменные стены, освещают

темные комнаты и затемняют светлые, а их персонажи свои выходы на сцену и уходы с нее совершают как им вздумается и смеются над дверными замками.

Этой ночью я видела сон, который стал началом очень странной болезни.

Я не могу назвать этот сон кошмаром, так как я ясно сознавала, что сплю. В то же время я понимала, что нахожусь в своей комнате и лежу в постели, как и было наяву. Я видела, или мне казалось, что вижу, комнату и мебель в ней в точности такими, как перед сном, только было очень темно. И тут я заметила, как у подножия кровати что-то мелькнуло — что именно, я различить не могла. Но скоро я разглядела, что это было черное как сажа животное, напоминающее громадного кота. Длиной оно было четыре-пять футов. Так я решила, когда обнаружилось, что это существо размерами не уступает каминному коврику. Животное продолжало ходить взад-вперед с гибкой и зловещей неутомимостью зверя в клетке. Кричать я не могла, хотя, как вы можете предположить, была испугана. Шаги зверя становились все быстрее, а в комнате стремительно темнело и наконец стало так темно, что я больше не различала ничего, кроме его глаз. Я почувствовала, как животное легко вспрыгнуло на кровать. Пара больших глаз приблизилась к моему лицу, и внезапно я ощутила жгучую боль, как будто две большие иглы, на расстоянии дюйма или двух одна от другой, вонзились мне в грудь. Я с криком проснулась. В комнате всю ночь горела свеча, и я увидела женскую фигуру, стоявшую в ногах кровати немного справа. Фигура была в темном свободном одеянии, распущенные волосы закрывали плечи. Она стояла как каменная: ни малейшего движения, ни дыхания.

Пока я смотрела на нее, фигура каким-то образом переместилась ближе к двери; затем дверь открылась и она вышла.

Вместе с чувством облегчения ко мне вернулась способность дышать и двигаться. Моя первая мысль была, что это Кармила вздумала подшутить надо мной и что я забыла запереть дверь. Я поспешила к двери и обнаружила, что она закрыта, как обычно, изнутри. Выглянуть наружу я побоялась — меня охватил ужас. Я кинулась в постель, накрыла голову одеялом и ни жива ни мертва пролежала до утра.

Глава VII

Нисхождение

Бесполезно и пытаться передать вам, с каким ужасом я до сих пор вспоминаю происшествие той ночи. Это не похоже на преходящий испуг, вызванный страшным сном. Со временем страх, казалось, усиливался и пропитывал собой комнату, где явилось привидение, и даже мебель, которая его окружала.

На следующий день я не решалась остаться одна ни на минуту. Я рассказала бы все папе, если бы не два обстоятельства. Во-первых, я боялась, что он посмеется над моим рассказом, а мне об этом невыносимо было и подумать; во-вторых, папа мог бы вообразить, что я стала жертвой таинственной болезни, распространившейся в округе. У меня самой таких опасений не было, а так как отцу в последнее время нездоровилось, мне не хотелось его тревожить.

Довольно было моих двух добрых приятельниц, мадам Перродон и бойкой мадемуазель де Лафон-

тен. Они обе заметили, что я расстроена и взволнована, и наконец пришлось поведать им о своих тревогах.

Мадемуазель рассмеялась, но мадам Перродон казалась обеспокоенной.

— Кстати, — воскликнула мадемуазель со смехом, — в длинной липовой аллее, под окном спальни Кармиллы, завелись привидения!

— Вздор! — воскликнула мадам, которая, вероятно, сочла такой разговор неуместным. — От кого вы это слышали, милочка?

— Мартин рассказывает, что он дважды, когда чинили старые ворота, вставал до рассвета и оба раза видел одну и ту же женскую фигуру, которая шла по липовой аллее.

— Еще бы не видел, ведь на лугу пасутся коровы, а их надо доить, — заметила мадам.

— Разумеется, но дурню вздумалось испугаться, и не как-нибудь, а до полусмерти.

— Только ни слова об этом Кармилле, ведь аллея видна из окна ее комнаты, — вмешалась я, — а Кармилла еще бóльшая трусиха, чем я, если это, конечно, возможно.

Кармилла в тот день спустилась в гостиную позже, чем обычно.

— Этой ночью я так испугалась, — сказала она, когда мы собрались вместе. — Уверена, мне привиделось бы что-нибудь жуткое, если бы не амулет этого несчастного маленького горбуна, которого я так ругала. Мне снилось, как черная тень ходит у моей кровати, я проснулась в полнейшем ужасе, и несколько секунд мне действительно чудилась у камина темная фигура, но я нащупала под подушкой свой амулет, и фигура тут же исчезла. Если бы у меня не было амулета, наверняка явилось бы чудище и, возможно, ста-

ло бы меня душить, как тех несчастных, о которых нам рассказывали.

— Послушай, — вмешалась я и пересказала свое приключение. Во время рассказа Кармила выглядела до полусмерти напуганной.

— А амулет был близко? — спросила она серьезно.

— Нет, я его бросила в китайскую вазу в гостиной, но я, конечно, возьму его с собой, когда буду ложиться спать, раз ты в него так веришь.

За давностью лет я уже не помню, даже не представляю себе, как я смогла настолько преодолеть свой страх, чтобы ночью улежся спать в одиночестве в своей комнате. Помню отчетливо, что приколола амулет к подушке. Я заснула почти мгновенно и спала всю ночь даже крепче, чем обычно.

Следующую ночь я провела так же. Спала прекрасно: глубоко и без снов. Но проснулась с ощущением усталости и тоски, однако легким, не чрезмерным.

— Ну, что я тебе говорила? — воскликнула подруга, когда я описала, как спокойно спала. — Я и сама так чудесно выспалась этой ночью; я приколола амулет к ночной рубашке, на грудь. В предыдущую ночь он был слишком далеко. Я абсолютно уверена, что все это — воображение, кроме снов. Я всегда считала, что сны приносят злые духи, но наш доктор сказал, что это не так. Просто пролетает лихорадка или другая какая-нибудь болезнь — он говорил, так часто случается, — и стучится в дверь, а войти не может. Вот она и подает мимоходом тревожный сигнал.

— А в чем тогда заключаются чары амулета, как ты думаешь?

— Он окурен или пропитан каким-то лекарством, это противоядие против малярии.

— Так, значит, он действует только на тело?

— Конечно. Не думаешь же ты, что злые духи боятся каких-то обрывков ленты или ароматических веществ из аптекарской лавки? Нет, это болезни, носясь в воздухе, сначала затрагивают наши нервы и таким образом поражают мозг, но, прежде чем они овладевают тобой, противоядие их отгоняет. Я уверена, именно так и действует амулет. Никакого волшебства, все вполне естественно.

Как бы мне хотелось согласиться с Кармиллой! Однако я старалась, и неприятные впечатления стали изглаживаться из памяти.

Несколько ночей я спала спокойно, но каждое утро чувствовала ту же усталость и была вялой целый день. Я не узнавала себя. Меня постепенно охватывала странная меланхолия, и мне не хотелось от нее избавляться. Появились туманные мысли о смерти. Мной исподволь овладевало представление, что я медленно слабею, и оно, как ни странно, не было мне неприятно. Мысль эта была печальной, но состояние, ею вызванное, одновременно и сладостным. Что бы со мной ни происходило, моя душа с этим примирилась.

Я не допускала и мысли, что больна, не соглашалась ни признаться в этом папе, ни сказать, чтобы послали за доктором.

Кармилла проявляла еще бóльшую привязанность ко мне, чем раньше, и странные приступы томного обожания случались с ней еще чаще. Она пожирала меня глазами со все большим пылом, по мере того как убывали мои телесные и душевные силы. Это походило на вспышки умопомешательства и всегда неприятно поражало меня.

Не сознавая этого, я тогда находилась на далеко не первой стадии самой странной болезни, какой когда-либо страдал смертный. Ее начальные симптомы

обладают неизъяснимым очарованием — что совершенно примиряло меня с разрушительным действием этой стадии болезни. Удовольствие усиливалось, пока не достигло определенной точки, после чего к нему постепенно стал примешиваться ужас, который, как вы убедитесь, наконец обесцветил и извратил все мое существование.

Первая перемена, которая произошла со мной, была довольно приятной. Я подошла тогда очень близко к тому поворотному пункту, от которого начинается нисхождение в бездну Аверна, или в преисподнюю.

Во время сна меня начали посещать какие-то смутные странные ощущения. В первую очередь это был приятный, прохладный трепет, какой испытываешь в воде, когда плывешь против течения. Вскоре к нему добавились сны, которые казались нескончаемыми и были так смутны, что мне никогда не удавалось вспомнить ни обстановку, ни персонажей, ни сколько-нибудь связный эпизод. От этих снов душу тяготила усталость, как после долгого периода большого умственного напряжения и опасности. Припоминалось, что я в каком-то темном месте разговаривала с людьми, которых не могла разглядеть. Особенно запечатлелся в памяти отчетливый женский голос, очень низкий, доносившийся как будто с большого расстояния, медленный, вызывавший всегда ощущение неизъяснимой торжественности и страха. Иногда мне чудилось, что чья-то рука мягко движется вдоль моей щеки и затылка. Иной раз словно бы теплые губы целовали меня, и поцелуи становились более долгими и нежными, когда добирались до шеи, но здесь губы замирали. Мое сердце билось быстрее, дыхание невероятно учащалось — и прерывалось совсем; затем следовали рыдания, перераставшие в удушье, ужасные конвульсии, и я теряла сознание.

Прошло уже три недели с начала этой непонятной болезни. Недомогание за последнюю неделю сказалось на моей внешности: лицо было утомленное, побледневшее, глаза расширились, под ними появились темные круги.

Отец часто спрашивал, не больна ли я, но с упрямством, которое мне теперь трудно объяснить, я продолжала уверять, что совершенно здорова.

До известной степени это было правдой. Я не испытывала боли, не могла пожаловаться ни на какие нарушения в организме. Моя болезнь казалась плодом воображения или нервного расстройства, и, хотя муки были ужасны, я с болезненной скрытностью хранила их при себе.

Это не могла быть та жуткая болезнь, которую крестьяне называли «упырь», потому что я болела уже три недели, а у них болезнь длилась три дня, иногда чуть больше, после чего смерть прекращала их страдания.

Кармила жаловалась на плохие сны и возбужденные нервы, но ее нездоровье ни в коем случае не внушало таких тревог, как мое. Я говорила уже, что мое состояние было крайне опасным. Если бы я отдавала себе отчет в том, в каком положении нахожусь, я на коленях взывала бы о помощи и совете. На меня действовал наркотик чужого скрытого влияния, и мое восприятие притупилось.

Сейчас я собираюсь рассказать вам об одном сне, который привел к странному открытию.

Однажды ночью вместо голоса, который я привыкла слышать в темноте, мне послышался другой голос — мелодичный и нежный и в то же время грозный, — который сказал: «Твоя мать предостерегает тебя: берегись убийцы». Тут же неожиданно вспыхнул свет, и я увидела Кармиллу, стоявшую у изножия

моей кровати в белой ночной рубашке и с подбородка до ног залитую кровью.

Я проснулась с криком. Мной владела одна мысль: Кармиллу убивают. Я помню, как вскочила с кровати, и дальше, как стою в коридоре и зову на помощь.

Мадам и мадемуазель, испуганные, выбежали из своих комнат. В коридоре всегда горела лампа; гувернантки обнаружили меня и узнали о причине переполоха.

Я настояла на том, чтобы постучать в дверь комнаты Кармиллы. Ответа не последовало. Мы принялись громко колотить в дверь. Мы звали Кармиллу, но все тщетно.

Нас охватила безумная тревога, потому что дверь была закрыта. В панике мы поспешили назад, в мою комнату. Здесь мы долго и неистово звонили в колокольчик. Если бы папина комната находилась в этом крыле дома, мы тут же позвали бы его на помощь. Но, увы, туда не долетало ни звука, а на далекую вылазку никто из нас не решился.

Вскоре, однако, по лестнице взбежали слуги. Тем временем я надела халат и комнатные туфли и мои компаньонки также успели привести себя в порядок. Узнав голоса слуг, доносившиеся из коридора, мы вместе вышли из комнаты и возобновили наши, по-прежнему бесплодные, призывы у комнаты Кармиллы. Я велела мужчинам выломать запоры. Они это сделали, и мы, высоко подняв горящие свечи, остановились в дверях и заглянули в комнату.

Мы звали Кармиллу, но ответа так и не было. Мы осмотрели комнату. Ничего особенного там не обнаружилось. Спальня оставалась в том же виде, в каком я ее покинула, пожелав своей подруге доброй ночи. Но Кармилла исчезла.

Глава VIII

Поиски

При виде комнаты, совершенно нетронутой, если не считать следов нашего насильственного вторжения, мы немного остыли и вскоре образумились настолько, что отпустили мужчин. Мадемуазель пришлось в голову, что Кармила, возможно, проснулась от грохота и стука в дверь, в панике выскочила из постели и спряталась в естественном шкафу или за гардиной и теперь не может, конечно, оттуда выйти, пока не удалятся мажордом и его верные мирмидоны. После этого мы снова принялись искать и звать ее.

Но все было бесполезно. Наши недоумение и тревога росли. Мы осмотрели окна, но они были закрыты. Я умоляла Кармиллу, если она спряталась, положить конец этой жестокой шутке — выйти и успокоить нас, но тщетно. К тому времени я убедилась, что Кармиллы нет ни в спальне, ни в туалетной комнате, дверь которой оставалась закрытой снаружи. Там ее и быть не могло. Я терялась в догадках. Может быть, Кармила обнаружила один из тех тайных переходов, которые, по словам старой экономки, имелись в замке, хотя сведений об их точном местоположении не сохранилось? Через некоторое время, без сомнения, будут разрешены все загадки, которые сейчас ставят нас в тупик.

Был пятый час, и я предпочла провести остаток ночи в комнате мадам. Дневной свет не принес загадки.

На следующее утро все домочадцы, во главе с моим отцом, включились в лихорадочные хлопоты. Замок был обыскан сверху донизу. Парк тоже. Никаких следов пропавшей обнаружить не удалось. Со-

бирались обшаривать дно реки; отец был в отчаянье: как он встретит мать несчастной девушки, что ей скажет? Я тоже рвала на себе волосы, но мое горе было совсем иного рода.

Утро прошло в тревоге и возбуждении. Был уже час дня, а известий не поступало. Я поднялась в комнату Кармиллы и обнаружила ее стоявшей перед туалетным столиком. Меня словно громом поразило. Я не могла поверить своим глазам. Она поманила меня молча своим изящным пальчиком. Ее лицо выражало крайний испуг.

Вне себя от радости я бросилась к ней; снова и снова целовала и обнимала ее. Потом начала бешено звонить в колокольчик, желая созвать как можно больше народу, чтобы успокоительное известие поскорее дошло до моего отца.

— Кармилла, дорогая, что было с тобой все это время? Мы умирали от беспокойства, — воскликнула я. — Где ты была? Как вернулась?

— Эта ночь была ночью чудес, — отозвалась она.

— Ради бога, объясни все, что можешь.

— В третьем часу ночи, — сказала она, — когда я, как обычно, легла в постель, двери моей спальни были закрыты: и та, что ведет в туалетную комнату, и та, что выходит в галерею. Я спала спокойно и, насколько помню, без снов, но проснулась несколько минут назад на диване в туалетной комнате и обнаружила, что дверь в спальню открыта, а другая дверь взломана. Не понимаю, почему я не очнулась раньше? Стоял, должно быть, ужасный шум, а я сплю очень чутко; и как меня могли перенести с постели на диван, не разбудив при этом? Я ведь просыпаюсь от малейшего движения!

К тому времени мадам, мадемуазель, отец и большая часть слуг были уже в комнате. Кармиллу,

конечно, засыпали вопросами, поздравлениями и приветствиями. Но им она могла сказать только то же, что и мне, и, казалось, менее всех других была способна придумать какое-нибудь объяснение происшедшему.

Мой отец прошелся по комнате взад-вперед, размышляя. На мгновение я перехватила направленный на него взгляд Кармиллы — хмурый и хитрый.

Когда отец отослал слуг, а мадемуазель ушла на поиски бутылочки валерианы и нюхательной соли, в комнате Кармиллы не оставалось никого из посторонних, кроме отца, мадам и меня самой. Отец в задумчивости подошел к Кармилле, очень мягко взял ее за руку, подвел к дивану и сел рядом с ней.

— Вы меня простите, дорогая, если я рискну высказать одно предположение и задать вам один вопрос?

— Кто же имеет на это больше прав? — отозвалась она. — Спрашивайте обо всем, что вам угодно, и я отвечу. Но от всего, что произошло, у меня осталось только недоумение. Я абсолютно ничего не знаю. Задавайте любые вопросы, какие вам вздумается. Но вам, конечно, известны мои обязательства перед матерью.

— Конечно, дитя мое. Я не буду касаться тех предметов, о которых вы обязаны молчать. Итак, чудеса этой ночи заключаются в том, что вас подняли с кровати и перенесли в другую комнату, не разбудив при этом. Когда это случилось, как представляется, окна были закрыты, а обе двери заперты изнутри. Я скажу вам, как я объясняю эти события, а сначала задам вопрос.

Кармилла сидела, опершись на руку. Вид у нее был унылый. Мадам и я слушали, затаив дыхание.

— Вопрос такой: не велась ли когда-нибудь речь о том, что вы ходите во сне?

— Никогда, разве что в детстве.

— Но в детстве вам случалось ходить во сне?

— Да, случалось, я знаю. Мне об этом часто говорила моя старая няня.

Отец улыбнулся и кивнул.

— Произошло вот что. Во сне вы поднялись с постели, отперли дверь, но не оставили ключ в замке, как обычно, а взяли с собой. Вы закрыли дверь снаружи, опять вынули ключ и, прихватив его с собой, отправились в одну из двадцати пяти комнат на этом этаже или в другие помещения, выше этажом или ниже. Здесь так много комнат и чуланов, такое множество громоздкой мебели, такие скопления старого хлама, что этот старый дом меньше чем за неделю полностью не обыскать. Теперь вы понимаете, что я имею в виду?

— Да, но не все, — ответила Кармила.

— А как ты, папа, объяснишь, что она оказалась на диване в туалетной комнате, которую мы обыскали так тщательно?

— Мадемуазель Кармила пришла туда, по-прежнему во сне, после того как вы обыскали комнату, а потом внезапно проснулась, увидела, где находится, и была удивлена не меньше всех других. Желал бы я, чтобы все тайны имели такое же простое и невинное объяснение, как ваша тайна, Кармила, — сказал он со смехом. — Итак, мы можем поздравить себя: для того чтобы самым правдоподобным образом объяснить происшедшее, нам не пришлось привлекать ни действие наркотика, ни попытку взлома, ни отравление, ни ведьм — ничего такого, что могло бы встревожить Кармиллу или кого-нибудь еще.

Кармила выглядела очаровательно, прекраснее и представить себе невозможно. Я подумала, что собственная ей грациозная томность еще больше подчеркивает ее красоту. Думаю, отец молча сравнивал ее со мной, потому что он сказал:

— Хотел бы я, чтобы моя бедная Лора выглядела поздоровее. — И вздохнул.

Таким образом всем нашим тревогам благополучно пришел конец, а Кармила возвратилась к своим друзьям.

Глава IX

Доктор

Так как Кармила и слышать не хотела о том, чтобы в ее комнате спала служанка, той, по распоряжению отца, была устроена постель рядом с дверью спальни; таким образом попытка нашей гостьи предпринять еще одну подобную прогулку была бы пресечена тут же, в дверях.

Ночь прошла спокойно, а рано утром пришел доктор осмотреть меня. Отец послал за ним без предупреждения.

Мадам проводила меня в библиотеку, где ожидал тот самый важный маленький доктор с пудренными волосами и в очках, которого я упоминала раньше.

Я поведала ему свою историю. Во время рассказа он все больше мрачнел.

Мы с ним стояли в одной из оконных ниш, лицом к лицу. Когда я закончила рассказ, доктор прислонился к стене и с интересом, к коему примешивался ужас, устремил на меня серьезный взгляд.

После минутного размышления он спросил мадам, нельзя ли ему повидать моего отца.

Послали за отцом. Тот вошел и с улыбкой произнес:

— Полагаю, доктор, вы хотите сказать, что я, старый дурак, зря вас сюда позвал? Надеюсь, так оно и есть.

Но его улыбка померкла, когда доктор, с очень мрачным видом, знаком подозвал его к себе.

Они некоторое время беседовали в той самой нише, где доктор только что говорил со мной. Похоже, шел серьезный спор. Мы с мадам, сгорая от любопытства, стояли в дальнем конце этой обширной комнаты. До нас не долетело ни единого слова, потому что говорили они очень тихо, а фигура доктора была полностью скрыта глубокой оконной нишей. Что касается отца, то виднелись только нога, рука и плечо. Думаю, голоса звучали еще глуше из-за большой глубины ниши, образуемой окном и толщиной стен.

Через некоторое время отец выглянул в комнату; он был бледен, задумчив и, как мне показалось, взволнован.

— Лора, дорогая, подойди сюда на минутку. Мадам, доктор говорит, что вас мы сейчас беспокоить не станем.

Я подошла, впервые почувствовав некоторую тревогу, потому что, хотя была очень слаба, больной себя не считала. Человеку всегда кажется, что силы можно восстановить в любую минуту, когда пожелаешь.

Как только я приблизилась, отец протянул мне руку, глядя, однако, на доктора, и сказал:

— Это, конечно, очень странно; мне трудно это понять. Лора, иди сюда, дорогая. Послушай теперь доктора Шпильсберга и соберись.

— Вы упоминали ощущение, похожее на укол двух игл, пронзающих кожу где-то возле шеи, в ту

ночь, когда в первый раз видели страшный сон. Вы уже не чувствуете в этом месте боли?

— Нет, ничуть.

— Вы не могли бы указать пальцем место этого предполагаемого укола?

— Немного ниже горла — здесь, — ответила я.

Место, которое я указала, было прикрыто воротом домашнего платья.

— Теперь убедитесь сами, — сказал доктор. — Вы не будете возражать, если отец немножко опустит ворот вашего платья? Это необходимо, чтобы определить симптомы болезни.

Я согласилась. Это было всего лишь на дюйм-два ниже края воротника.

— Господи — вот оно! — воскликнул мой отец, побледнев.

— Теперь вы убедились сами, — произнес доктор с мрачным удовлетворением.

— Что это? — воскликнула я, пугаясь.

— Ничего, моя милая юная госпожа, кроме небольшого синячка размером с кончик вашего пальца. А теперь, — продолжал он, обращаясь к отцу, — вопрос в том, что нам делать?

— Это опасно? — взмолилась я, вся дрожа.

— Не думаю, моя дорогая, — ответил доктор. — Я не вижу, почему бы вам не выздороветь. Не вижу, почему бы вам не начать выздоравливать уже сейчас. Именно в этом месте возникает ощущение удушья?

— Да.

— И — постарайтесь припомнить получше — именно из этого места распространяются волны, которые вы описали, похожие на холодный встречный поток?

— Кажется, да. Думаю, так и есть.

— Ага, видите? — добавил он, обращаясь к моему отцу. — Могу я поговорить с мадам?

— Конечно.

Доктор подозвал к себе мадам и сказал:

— Я нахожу, что эта юная особа серьезно больна. Надеюсь, болезнь пройдет без последствий, но нужно будет предпринять некоторые шаги, какие именно — я вскоре вам объясню. А тем временем, мадам, будьте добры не оставлять мисс Лору одну ни на минуту. Это все, что я могу предписать сейчас. Это чрезвычайно важно.

— Я знаю, что мы можем на вас положиться, мадам, — добавил отец.

Мадам с жаром заверила его в этом.

— Что касается тебя, дорогая Лора, — уверен: ты выполнишь предписания доктора. Я хотел бы попросить вашей консультации по поводу еще одной пациентки. Ее симптомы слегка напоминают симптомы моей дочери, с которыми вы только что ознакомились. Они намного слабее проявляются, но по характеру — те же. Эта юная госпожа — наша гостья. Вы сказали, что сегодня вечером будете в наших краях. Было бы прекрасно, если бы вы у нас поужинали и осмотрели эту молодую особу. Она встает не раньше полудня.

— Благодарю вас, — отозвался доктор. — Я буду у вас около семи вечера.

Оба повторили напоследок все свои распоряжения и вместе вышли из дому. Я видела, как они прогуливались взад-вперед между дорогой и рвом, по заросшей травой площадке перед замком, судя по всему погруженные в серьезный разговор.

Доктор назад не вернулся. Он сел на лошадь, попрощался с отцом и поехал через лес в восточном направлении. Тут же к замку со стороны Дранфельда подъехал посыльный с письмами, спешил и протянул моему отцу мешок.

Тем временем мы с мадам пытались докопаться до причин тех странных и серьезных предписаний, которые в один голос дали нам доктор и мой отец. Мадам (как она потом сказала мне) предположила, что доктор опасается внезапного припадка и того, что, не получив своевременно помощи, я могу скончаться или, по крайней мере, серьезно пострадать.

Мне такое объяснение не пришло в голову, и я вообразила (возможно, к счастью для себя), будто цель предписаний — всего-навсего обеспечить меня компаньонкой, которая проследит, чтобы я не переутомлялась, не ела незрелых фруктов и не делала всех тех бесчисленных глупостей, к которым, как принято считать, склонна молодежь.

Приблизительно через полчаса вошел отец с письмом в руках:

— Это письмо запоздало — оно от генерала Шпильсдорфа. Он мог быть здесь еще вчера, но приедет завтра, а может, и сегодня.

Папа вложил мне в руку вскрытое письмо, но не выглядел радостным, как обычно в предвкушении приезда гостей, особенно таких любимых, как генерал. Напротив, казалось, он предпочел бы, чтобы генерал провалился в тартарары. Заметно было, что у отца на уме какая-то тайная мысль.

— Папа, милый, ты мне расскажешь?.. — начала я, внезапно взяв его за руку и умоляюще заглядывая ему в лицо.

— Возможно.— Он ласково погладил меня по голове.

— Доктор считает, что я очень больна?

— Нет, дорогая; он думает, что, если принять необходимые меры, ты будешь совсем здорова или, по крайней мере, на пути к полному выздоровлению

через день либо два, — ответил он немного сухо. — Было бы лучше, если бы наш милый генерал выбрал другое время, то есть мне хотелось бы, чтобы ты была вполне здорова и могла принять его.

— Но скажи, папа, — настаивала я, — чем я больна, по мнению доктора?

— Ничем; оставь меня, — отрезал он. Я никогда не видела его в таком раздражении. Заметив, вероятно, что я обижена, отец поцеловал меня и добавил: — Через день-два ты все узнаешь; то есть все, что известно *мне*. А пока выбрось это из головы.

Он повернулся и вышел из комнаты. Но, прежде чем я начала обдумывать все эти странности и строить предположения, отец вернулся и объявил, что собирается в Карнштайн, распорядился приготовить экипаж к двенадцати, и что мы с мадам должны сопровождать его. Он едет по делу, чтобы повидать священника, живущего неподалеку от этих живописных мест. А Кармила, которая никогда там не была, может, когда встанет, присоединиться к мадемуазель. Та повезет все необходимое для пикника, который мы устроим в развалинах замка.

В двенадцать я была готова, и вскоре мы отправились на задуманную отцом прогулку. От подъемного моста мы повернули направо и поехали через крутой готический мост к западу, в сторону покинутой деревни и руин замка Карнштайн.

Ничего замечательней такой прогулки в лесу я и представить себе не могу. Пейзаж разнообразят отлогие холмы и лощины, поросшие красивым лесом, совершенно лишенным той правильности, какой отличаются искусственные насаждения или культивированный ландшафт.

Неровности местности часто уводят дорогу в сторону и заставляют ее красиво петлять, огибая края оврагов и крутые склоны холмов. Многообразие ландшафта кажется неисчерпаемым.

На одном из таких поворотов мы внезапно наткнулись на нашего старого друга генерала, который направлялся нам навстречу в сопровождении верхового слуги. Его багаж везли следом в наемной повозке. Когда мы остановились, генерал спешился и после обычных приветствий легко позволил себя уговорить и занял свободное место в экипаже, а слугу с лошастью отослал в замок.

Глава X

Осиротевший

В последний раз мы видели нашего соседа около десяти месяцев назад, но за это время он, казалось, постарел на несколько лет. Он похудел; свойственное ему прежде выражение добродушной безмятежности уступило место печали и тревоге. Темно-голубые глаза генерала, всегда пронзительные, теперь горели суровым огнем под лохматыми седыми бровями. Люди не меняются так под влиянием одного только горя; здесь, казалось, примешивались и другие, гневные чувства.

Не успели мы двинуться в путь, как генерал, со своей обычной прямоотой, завел разговор о том, как он осиротел, по его выражению, со смертью своей любимой племянницы и воспитанницы. И тут он заговорил тоном крайнего озлобления и ярости, проклиная «адское коварство», жертвой которого она стала, и, позволяя гневу взять верх над благочестием, удивлялся долготерпению Господню, попускающему су-

ществовать на земле страстям столь чудовищным и злобе столь дьявольской.

Мой отец, сразу заподозривший, что произошло нечто из ряда вон выходящее, попросил генерала, если это не будет для него чересчур мучительно, изложить нам обстоятельства, ставшие, по его мнению, достаточным поводом для таких драматических высказываний.

— Охотно бы рассказал, — промолвил тот, — но вы мне не поверите.

— Почему же? — спросил отец.

— Потому, — с вызовом ответил генерал, — что вы не верите ничему, вступающему в противоречие с вашими предубеждениями и иллюзиями. Я помню время, когда сам был таким, но с тех пор я многому научился.

— Испытайте меня. Я не такой догматик, как вы думаете. Кроме того, мне очень хорошо известно, что вы вообще не привыкли чему-либо верить без доказательств, и поэтому я весьма склонен уважать ваши суждения.

— Вы правы, предполагая, что меня нелегко было заставить поверить в чудеса, — а то, что со мной произошло, иначе не назовешь; экстраординарные доказательства вынудили меня считаться с фактами, которые решительно противоречат всем моим прежним воззрениям. Я стал жертвой заговора сверхъестественных сил.

Невзирая на недавнее заявление отца о вере в проницательность генерала, я заметила, как в тот миг он бросил на собеседника взгляд, в котором сквозило явное сомнение в его вменяемости.

К счастью, генерал этого не видел. Он с мрачным интересом оглядывал поляны и лесные панорамы, открывавшиеся перед нами.

— Вы направляетесь к руинам Карнштайна? — спросил он. — Да, это счастливое совпадение. Я, знаете ли, собирался попросить вас отвезти меня туда, чтобы их осмотреть. Я сейчас провожу некоторые исследования... Там ведь имеется разрушенная капелла, а в ней множество гробниц, принадлежащих этому угасшему роду.

— Так там, значит... Любопытно, — проговорил отец. — Уж не подумываете ли вы объявить себя наследником титула и состояния?

Отец сказал это весело, но генерал не присоединился к его смеху, даже не улыбнулся, как того требует вежливость, в ответ на шутку друга; напротив, вид у него был мрачный и даже свирепый. Мысли его были сосредоточены на чем-то, вызывавшем гнев и ужас.

— Отнюдь нет, — возразил он резко. — Я намереваюсь извлечь из-под земли кое-кого из этих расприкрасных особ. Я надеюсь, с Божьей помощью, совершить там благочестивое святотатство, которое избавит нашу землю от неких монстров, а честным людям даст возможность спокойно спать в своих постелях, не подвергаясь нападению убийц. Я должен, дорогой друг, рассказать вам о странных вещах; настолько странных, что несколько месяцев назад я сам отверг бы их, сочтя невероятными.

Мой отец снова взглянул на него, но на этот раз без недоверия, а скорее с пониманием и тревогой.

— Род Карнштайн, — сказал отец, — угас давно: по меньшей мере столетие назад. Моя дорогая жена по материнской линии происходила от Карнштайнов. Но имя и титул давно перестали существовать. Замок в руинах; даже деревня заброшена; в последний раз там видели дымок над крышею полвека назад, а теперь уже и крыш не осталось.

— Совершенно верно. Я многое об этом узнал со времени нашей последней встречи; многое, что вызовет ваше удивление. Но лучше рассказать все по порядку. Вы видели мою воспитанницу, мое дитя — так я ее могу назвать. Никогда не было создания более прекрасного, а всего лишь три месяца назад — и более цветущего.

— Да, бедная девочка! Когда я видел ее в последний раз, она, несомненно, была очень красива. Не могу выразить, как я был поражен и опечален. Я знаю, дорогой друг, каким это было для вас ударом.

Он взял генерала за руку, и они обменялись сердечным рукопожатием. В глазах старого солдата показались слезы. Он не пытался их скрыть. Он сказал:

— Мы с вами очень старые друзья; я знал, что вы будете мне сочувствовать, бездетному старику. Она была мне очень дорога; за заботу она платила любовью, согревавшей мой дом и делавшей мою жизнь счастливой. Теперь всему конец. Срок, отпущенный мне на земле, близится к пределу; но, с Божьей помощью, надеюсь, прежде чем умру, оказать услугу человечеству и стать орудием Небес, отомстив демонам, что убили мое бедное дитя в расцвете надежд и красоты.

— Вы только что посулили рассказать нам все по порядку, — напомнил мой отец. — Прошу, сделайте это; уверяю, мной руководит не простое любопытство.

К тому времени мы достигли развилки, где от дороги в Карнштайн ответвляется дорога на Друнштааль, откуда приехал генерал.

— Далеко еще до руин замка? — спросил генерал, беспокойно глядя вперед.

— Около полулиги. Прошу вас, расскажите нам свою историю, как обещали.

Глава XI

История

— Охотно, — произнес генерал с усилием и после короткой паузы, приведя в порядок свои мысли, приступил к рассказу, одному из самых странных, какие мне доводилось слышать. — Получив ваше любезное приглашение, моя дорогая девочка с большим удовольствием предвкушала визит к вашей очаровательной дочери. — Здесь генерал отвесил мне галантный, но меланхолический поклон. — Тем временем мы были приглашены к моему старому другу, графу Карлсфельду, чей замок находится в шести лигах по ту сторону Карнштайна. Мы должны были принять участие в *fêtes*¹, которые, как вы помните, он устраивал в честь своего сиятельного гостя, великого князя Карла.

— Да, и, вероятно, это были блестящие торжества, — вставил отец.

— Княжеские! Но ведь его гостеприимство поистине королевское. Не иначе как он владеет лампой Аладдина. В ту ночь, с которой начались мои несчастья, был устроен великолепный маскарад. Парк был открыт, деревья увешаны цветными фонарями. Такого фейерверка, как там, не видел даже Париж. А музыка — это, как вы знаете, моя слабость, — что за восхитительная музыка! Оркестр, возможно, лучший в мире и лучшие певцы, из крупнейших оперных театров Европы. Вы прогуливаетесь по парку, среди фантастической иллюминации; замок сияет луной, из расположенных длинными рядами окон струится яркий свет, и до вас внезапно долетают, постепенно нарастая, восхитительные голоса из какой-нибудь тихой

¹ Празднества (*фр.*).

рощи или со стороны озера, с лодок... Видя и слыша все это, я как будто переносился в дни своей юности, исполненные романтики и поэзии.

Когда закончился фейерверк и начался бал, мы вернулись в роскошную анфиладу, открытую для танцующих. Бал-маскарад, как всем известно, — красивое зрелище, но такого великолепия, как в тот раз, я никогда еще не видел.

Собралось весьма аристократическое общество. Я был едва ли не единственным из присутствующих, кто ничего собой не представлял.

Моя дорогая девочка выглядела совершенной красавицей. Маски на ней не было. Возбуждение и восторг придали неизъяснимое очарование ее чертам, и без того прелестным. Я заметил молодую даму в маске, великолепно одетую, которая, как мне показалось, следила за моей воспитанницей с необычайным интересом. Эта дама уже не в первый раз попадалась мне на глаза. Я видел ее тем вечером: сперва в большом холле, затем на террасе под окнами замка, когда она прогуливалась вблизи нас, все так же присматриваясь. Ее сопровождала дама постарше, тоже в маске, одетая богато и нарядно и державшаяся с достоинством, как важная особа. Если бы лицо молодой дамы было открыто, я, конечно, мог бы определить точнее, действительно ли она наблюдает за моей бедной девочкой. Теперь я совершенно уверен, что так оно и было.

Мы находились тогда в одной из гостиных. Моя бедная дорогая девочка присела отдохнуть после танцев на один из стульев у двери; я стоял рядом. Две вышеупомянутые дамы подошли к нам, и та, что была моложе, села на соседний стул, а ее компаньонка встала рядом со мной и некоторое время негромко говорила что-то своей подопечной.

Воспользовавшись привилегиями, данными тем, кто носит маску, она обратилась ко мне и тоном старой приятельницы, называя меня по имени, завела разговор, крайне возбудивший мое любопытство. Она упоминала многие места, где мы встречались: при дворе, в знатных домах. Она намекала на незначительные случаи, о которых я давно и думать забыл, но воспоминания о них, как обнаружилось, подспудно жили во мне и тут же явились на Божий свет.

Мне не терпелось узнать, кто же она такая. Но все расспросы дама парировала весьма искусно и деликатно. Ее знакомство со многими эпизодами моей жизни казалось почти необъяснимым; ей, по-видимому, доставляло естественное, в общем-то, удовольствие дразнить мое любопытство и наблюдать, как я, совершенно озадаченный, бросался от одного предположения к другому.

Тем временем молодая дама, которую ее мать, раз или два обратившись к ней, называла странным именем Милларка, так же просто и непринужденно вступила в беседу с моей воспитанницей.

Она сослалась на то, что ее мать — моя очень давняя знакомая. Она рассуждала о преимуществах той дерзости, которая дозволяется маскам, с дружеской непринужденностью похвалила платье моей воспитанницы и очень изящно восхитилась мимоходом ее красотой. Молодая дама развлекала мою племянницу, забавно критикуя публику, толпившуюся в бальном зале, и смеялась над шутками моей бедной девочки. Она была, когда ей этого хотелось, очень остроумной и живой собеседницей, и через короткое время девушки уже сделались близкими подругами, а молодая незнакомка опустила свою маску, под которой обнаружилось поразитель-

но красивое лицо. Я никогда раньше ее не видел, моя дорогая девочка — тоже. Но черты этого незнакомого лица были столь обаятельны и прелестны, что их притягательной силе невозможно было противиться. Моя бедная девочка была очарована. Никогда еще я не был свидетелем такого бурного увлечения с первого взгляда, за исключением ответного увлечения самой незнакомки, которая, казалось, совершенно потеряла голову из-за моей воспитанницы.

Тем временем я позволил себе вольность, оправданную маскарадом, и задал немало вопросов старшей даме.

«Вы поставили меня в тупик, — сказал я со смехом. — Может быть, довольно? Не соблаговолите ли вы теперь снять маску, чтобы быть в равных условиях?»

«Ну возможно ли выставить более неразумное требование? — отвечала она. — Предложить даме отказать от ее преимущества! Кроме того, почему вы так уверены, что узнаете меня? Человек меняется с годами».

«Как вы можете убедиться». — Я поклонился с довольно печальной усмешкой.

«Так учат философы, — добавила она. — Почему вы думаете, что, если вы увидите мое лицо, это вам поможет?»

«Я на это надеюсь. Не пытайтесь казаться старше, чем вы есть; ваша фигура вас выдает».

«Тем не менее прошли годы с тех пор, как мы в последний раз виделись, точнее сказать, с тех пор как вы меня видели, ведь речь идет как раз об этом. Милларка — моя дочь, следовательно, я уже не молод, даже в глазах тех людей, которых годы научили снисходительности, и мне может быть неприят-

но подвергнуться сравнению с тем образом, который остался у вас в памяти. Вам не приходится снимать маску, так что вам нечего предложить мне взамен».

«Я взываю к вашему состраданию, когда прошу снять ее».

«А я — к вашему, когда прошу об этом не просить».

«Хорошо, тогда, по крайней мере, вы скажете мне, француженка вы или немка; вы одинаково безупречно говорите на обоих языках».

«Сомневаюсь, что я вам это открою, генерал: вы решили захватить меня врасплох и обдумываете, с какой стороны напасть».

«Во всяком случае, вы не станете отрицать, что если уж вы оказали мне честь, вступив со мной в беседу, то должен же я знать, как к вам обращаться. *Madame la Comtesse?*¹»

Она рассмеялась и, без сомнения, уклонилась бы и от этого вопроса, если, конечно, считать, что ход беседы был хотя бы отчасти случайным. Я ведь теперь думаю, что все обстоятельства разговора были с величайшей хитростью подготовлены заранее.

«Что касается этого...» — начала она, но тут же ее прервал какой-то господин в черном. Его элегантную и изысканную внешность портил лишь один недостаток: смертельная, как у покойника, бледность. Одет он был не в маскарадное платье, а в обычный вечерний костюм. Незнакомец обратился к моей собеседнице без улыбки, но с церемонным необычно низким поклоном:

«Не позволит ли *Madame la Comtesse* сказать ей несколько слов, которые, вероятно, ее заинтересуют?»

¹ Госпожа графиня (*фр.*).

Дама быстро обернулась к нему и приложила палец к губам; потом сказала мне: «Проследите, чтобы никто не занял моего места, генерал, я поговорю и тут же вернусь».

Отдав игривым тоном это распоряжение, она отошла немного в сторону вместе с господином в черном и несколько минут вела с ним, казалось, серьезный разговор. Затем они вместе медленно пошли дальше через толпу и на какое-то время скрылись из виду. Я воспользовался паузой, чтобы постараться вспомнить, кто эта дама, так хорошо, по-видимому, меня знавшая.

Мне пришла было мысль обернуться и присоединиться к разговору между моей прелестной воспитанницей и дочерью графини, чтобы подготовить сюрприз: узнать к возвращению графини ее имя, титул, название замка и поместья. Но тут как раз она вернулась в сопровождении бледного человека в черном. Проговорив напоследок: «Я извещу госпожу графиню, когда ее коляска подъедет к дверям», он с поклоном удалился.

Глава XII

Просьба

«Значит, нам придется расстаться с госпожой графиней, но, надеюсь, всего лишь на несколько часов», — сказал я, низко кланяясь.

«Может быть, на несколько часов, а может, и на несколько недель. Досадно: этот разговор с ним, именно сейчас... А теперь вы меня узнали?»

Я заверил ее, что нет.

«Вы узнаете, кто я, но не сейчас. Наша дружба более давняя и близкая, чем вы, возможно, подозре-

ваете. Я не могу пока назвать себя. Через три недели я буду проезжать мимо вашего прекрасного замка — я о нем наводила справки. Тогда я загляну к вам на час-другой и мы возобновим нашу дружбу, оставившую у меня массу приятных воспоминаний. А сейчас неожиданные новости свалились на меня как снег на голову. Нужно незамедлительно отправляться в дорогу. Предстоит тяжелое путешествие, почти сто миль пути. Я в растерянности. Мой вынужденный отказ назвать свое имя ставит меня в затруднительное положение, мне ведь придется обратиться к вам с очень необычной просьбой. Моя дочь пока не успела полностью восстановить силы. Недавно она отправилась понаблюдать за охотой, ее лошадь упала, и бедная девочка еще не оправилась от шока. Наш врач сказал, что ей в ближайшее время решительно противопоказано всякое напряжение. Соответственно, мы прибыли сюда очень медленным темпом — не больше шести лиг в день. А теперь меня призывают дела чрезвычайной важности, ехать придется безостановочно день и ночь; речь идет о жизни и смерти. В чем заключается эта экстраординарная и спешная миссия, я смогу объяснить при нашей следующей встрече, которая, надеюсь, состоится через несколько недель, и тогда уже не будет необходимости что-либо скрывать».

Она продолжала излагать свою просьбу тоном человека, который просит скорее о совете, чем об услуге. Но это относилось только к ее манере говорить, видимо совершенно неосознанной. Сама просьба была составлена в самых умоляющих выражениях, какие только можно себе представить. Заключалась она ни более ни менее в том, чтобы я на время отсутствия графини взял на свое попечение ее дочь.

Это была, с учетом всех обстоятельств, странная, чтобы не сказать дерзкая, просьба. Графиня некоторым образом разоружила меня, перечислив и признав справедливыми все возможные возражения и положившись полностью на мое рыцарство. В ту же минуту по роковой случайности, которая, казалось, предопределила все, что произошло в дальнейшем, ко мне подошла моя бедная девочка и вполголоса стала меня упрашивать пригласить к нам ее новую подругу Милларку. Она только что постаралась выяснить, как Милларка отнесется к такому приглашению, и полагает, что та будет в восторге, при условии, конечно, что матушка не станет возражать.

При иных обстоятельствах я попросил бы Берту немного подождать, пока мы, по крайней мере, не узнаем, кто такие наши собеседницы. Но у меня не было времени на размышления. Обе дамы совместно атаковали меня. Должен признаться, что изысканная красота молодой дамы, ее необычайное обаяние, а также элегантность и аристократичность побудили меня решиться, и, побежденный окончательно, я покорился и чересчур легкомысленно принял на себя заботу о девице, которую мать звала Милларкой.

Графиня кивнула дочери, и та выслушала серьезно и внимательно ее рассказ, составленный в самых общих выражениях, о том, какие внезапные и безотлагательные дела ее призывают, а также о том, что дочь остается на моем попечении. Графиня добавила, что я — один из ее самых давних и дорогих друзей.

Я, конечно, сказал несколько слов, приличествовавших случаю, и, поразмыслив, обнаружил, что попал в довольно щекотливое положение.

Господин в черном вернулся и очень церемонно проводил даму к выходу.

Поведение незнакомца убеждало меня в том, что графиня — особа более значительная, чем можно было предположить, судя по ее скромному титулу.

Напоследок графиня предупредила меня, чтобы я до ее возвращения не пытался узнать о ней больше, чем уже мог догадаться. Нашему уважаемому хозяину, у которого она гостила, известна причина.

«Здесь, — добавила она, — нам с дочерью задерживаться небезопасно. Около часа назад я неблагоприятно сняла на минуту маску, и мне показалось, что вы меня увидели. Тогда я решила под каким-нибудь предлогом завести с вами разговор. Если бы выяснилось, что вы видели меня, я положила бы на ваше благородство и просила хранить мою тайну несколько недель. Теперь я знаю, что ошиблась, но, если вы сейчас подозреваете или, по размышлении, заподозрите, кто я, — точно так же полностью вверяю себя вашему благородству. Моя дочь будет так же хранить тайну. Не сомневаюсь, вы время от времени будете предостерегать Милларку, чтобы она по легкомыслию не проговорила».

Графиня прошептала дочери несколько слов, дважды поцеловала ее в спешке, удалилась в сопровождении господина в черном и исчезла в толпе.

«Из окна соседней комнаты видна дверь холла, — сказала Милларка. — Я хочу посмотреть на маму в последний раз и послать ей воздушный поцелуй».

Мы, конечно, пошли вместе с ней. Мы выглянули из окна и обнаружили красивый старомодный экипаж, окруженный толпой курьеров и слуг. Поблизости виднелась тонкая фигура бледного госпо-

дина в черном. Он укутал плечи графини толстым бархатным плащом, который держал наготове, и набросил ей на голову капюшон. Она кивнула и слегка коснулась его руки. Господин в черном несколько раз низко поклонился, дверца закрылась, и экипаж тронулся с места.

«Уехала», — промолвила Милларка со вздохом.

«Уехала», — повторил я про себя, впервые — с тех пор как согласился исполнить просьбу графини — задумавшись о совершенном безумии.

«Вверх и не взглянула», — добавила молодая дама жалобно.

«Возможно, графиня сняла маску и не хотела, чтобы видели ее лицо, — сказал я, — и, кроме того, она не могла знать, что вы смотрите в окно».

Милларка вздохнула и перевела взгляд на меня. Она была так красива, что я смягчился. Мне стало стыдно, что я на мгновение раскаялся в своем гостеприимстве, и я вознамерился искупить свою мысленную невежливость.

Молодая дама, снова надев маску, вместе с моей воспитанницей уговорила меня вернуться в парк, где вскоре должен был возобновиться концерт. Мы так и сделали и стали прогуливаться по террасе под окнами замка. Милларка держалась по-свойски и развлекала нас живыми описаниями и историями из жизни знатных особ, которых мы видели на террасе. Мне она с каждой минутой все больше и больше нравилась. Ее безобидные сплетни казались мне очень занимательными, ведь я так давно не был в большом свете. Я не без удовольствия думал о том, как оживит ее присутствие наши, иногда одинокие, домашние вечера.

Бал продолжался чуть ли не до восхода солнца. Великий князь любит танцевать до рассвета, так что

лояльные подданные и помыслить не могли уйти и лечь спать.

Мы как раз проходили через переполненный людьми зал, когда моя воспитанница спросила, куда подевалась Милларка. Я думал, что Милларка была с ней, а она — что со мной. Мы потеряли нашу новую знакомую из виду.

Все мои попытки найти ее оказались безуспешными. Я опасался, что, на мгновение отстав от нас, Милларка растерялась, приняла кого-то другого за своих новых друзей, последовала за этими людьми и потеряла их в обширном парке, где прогуливались участники празднеств.

Тут я в полной мере осознал, какую совершил глупость, взяв на свое попечение молодую даму, о которой не знал ничего, даже ее фамилии. Связав себя обещанием, смысла которого не понимал, я не мог даже указать, когда буду наводить справки, что разыскиваемая молодая дама — дочь уехавшей несколько часов назад графини.

Наступило утро. Когда уже совсем рассвело, я прекратил поиски. Почти до двух часов дня мы не имели известий о моей пропавшей подопечной.

Около двух в дверь комнаты моей племянницы постучала служанка и сказала, что молодая дама, на вид очень расстроенная, поручила ей узнать, где можно найти генерала барона Шпильсдорфа и молодую госпожу, его дочь, на попечении которых ее оставила мать.

Несмотря на небольшую неточность, не приходилось сомневаться в том, что это нашлась наша юная подруга; так оно и было. Если бы Небу было угодно нас от нее избавить!

Она рассказала моей бедной девочке историю, оправдывавшую ее долгое отсутствие. Очень поздно,

отчаявшись нас найти, она, по ее словам, пришла в комнату экономки и там крепко заснула. Спала долго, но все же едва восстановила силы после бала.

В тот же день Милларка отправилась с нами домой. В конечном счете я был очень доволен, что у моей дорогой девочки появилась такая очаровательная компаньонка.

Глава XIII

Лесник

Вскоре, однако, выяснились некоторые неприятные обстоятельства. Милларка жаловалась на крайнюю слабость — следствие нервной болезни — и никогда не выходила из своей комнаты раньше полудня. Далее случайно обнаружилось, что, хотя она всегда запирала изнутри дверь своей спальни и никогда не вынимала ключ из замочной скважины, пока не наступало время впустить горничную, помогавшую ей одеться, тем не менее иногда рано утром ее, без сомнения, не было в комнате. То же повторялось несколько раз и позже, днем. Поиски продолжались, пока Милларка сама не давала о себе знать. Несколько раз из окон замка, когда заря еще только занималась, видели, как она шла через лес на восток и выглядела при этом как сомнамбула. Это убедило меня в том, что Милларка ходит во сне. Но эта гипотеза не объясняла всех загадок. Как она покидает свою комнату, если дверь остается запертой изнутри? Как выходит из дома, не отодвинув засовы на двери или на окне?

Не успело разрешиться это недоумение, как возникли гораздо более серьезные поводы для беспокойства.

Моя дорогая девочка стала терять красоту и здоровье таким загадочным и даже ужасным образом, что я был безумно напуган.

Началось все со страшных снов, потом ей стал видеться призрак, иногда похожий на Милларку, иногда — на какое-то животное туманных очертаний, прохаживавшееся взад-вперед у кровати. Под конец возникли непонятные ощущения. Одно из них, не лишенное приятности, но очень странное, как она говорила, напоминало поток ледяной воды, омывающей грудь. В последнее время ей казалось, будто немного ниже горла ей в тело вонзаются две большие иглы, причиняя резкую боль. Еще через несколько ночей последовало постепенно нараставшее, конвульсивное ощущение удушья, а за ним — потеря сознания.

Я легко различала каждое слово, которое произносил милый старый генерал, потому что дорога уже приближалась к той самой разрушенной деревне, где последний очаг погас больше полувека назад, и мы теперь ехали по поросшей травой обочине.

Можете себе представить, какое странное чувство я испытывала, когда в рассказе о болезни бедной девушки, которая, если бы не произошло несчастье, была бы сейчас нашей гостьей, узнавала свои собственные симптомы, столь точно воспроизведенные. Представьте себе также, каково мне было выслушивать описание привычек и загадочных странностей, свойственных не кому иному, как нашей прекрасной гостье — Кармилле!

Мы выехали на открытое место и внезапно оказались в бывшей деревне, среди торчащих труб и фронтонов, а рядом, на пригорке, высились в окру-

жении гигантских деревьев башни и зубчатые стены разрушенного замка.

Как в страшном сне, я вышла из экипажа. В молчании, так как всем нам было о чем поразмыслить, мы быстро поднялись по склону и начали бродить по просторным комнатам, винтовым лестницам и темным коридорам замка.

— И это было когда-то роскошным владением Карнштайнов! — сказал наконец старый генерал, взглянув из большого окна за деревню на безбрежные холмистые просторы леса. — Здесь обитали дурные люди, и в этих стенах писались анналы, запятнанные кровью, — продолжал он. — Ужасно, что эти монстры и после смерти продолжают преследовать род человеческий своими свирепыми страстями. Там внизу — часовня Карнштайнов.

Он указал на серые стены полускрытой листвою готической постройки, стоявшей немного ниже на склоне.

— Я слышу там, среди деревьев, окружающих часовню, стук топора, — добавил он. — Возможно, лесоруб даст нужные мне сведения и укажет могилу Миркаллы, графини Карнштайн. Одни лишь крестьяне и хранят фамильные предания здешних знатных родов. Обладатели титулов и состояний мгновенно все забывают, стоит только угаснуть самому роду.

— У нас дома есть портрет Миркаллы Карнштайн. Не хотите ли посмотреть? — спросил мой отец.

— С меня пока довольно, дорогой друг, — ответил генерал. — Думаю, что видел оригинал, и одной из причин, которые привели меня к вам раньше, чем я первоначально намеревался, было желание осмотреть ту самую часовню, в которую мы сейчас направляемся.

— Что, вы видели Миркаллу?! — воскликнул отец. — Но она мертва уже более века!

— Не так мертва, как вы думаете. Я об этом узнал недавно.

— Признаюсь, генерал, вы меня совершенно ошеломили, — отозвался отец.

В его взгляде мне почудилась та же тень сомнения, которую я заметила раньше. Но хотя временами в манерах старого генерала отражались гнев и ненависть, признаков сумасшествия в них не было.

Когда мы проходили под тяжелой аркой готической церкви — размеры часовни позволяли присвоить ей это наименование, — генерал произнес:

— У меня, в те немногие годы, что еще отпущены мне на земле, остается только одна цель: осуществить месть, на которую, слава Богу, способна рука смертного.

— О какой мести вы говорите? — спросил отец, все более изумляясь.

— Я говорю о том, чтобы обезглавить чудовище. — Вспыхнув от ярости, генерал топнул ногой, отчего в глубине руин мрачно откликнулось гулкое эхо. Подняв сжатый кулак, он свирепо рассек им воздух, словно бы орудовал топором.

— Что?! — воскликнул отец в замешательстве.

— Отсечь ей голову.

— Отрубить ей голову?

— Да, топором, заступом — чем угодно, что может рассечь эту проклятую глотку. Увидите. — Генерал содрогнулся от гнева. Он продолжал на ходу: — На этот брус можно присесть; ваша милая дочь устала, пусть она посидит, а я в нескольких словах завершу свою страшную историю.

Прямоугольный деревянный брус, лежавший на поросшем травой полу часовни, мог служить скамьей,

и я охотно села. Генерал тем временем подозвал лесоруба, который обрубал сучья, упиравшиеся в старые стены; и вот этот крепкий малый с топором в руках предстал перед нами.

Он не ведал ничего о могилах, но сказал, что один старик, здешний лесничий, который живет в настоящее время в доме священника в двух милях отсюда, знает каждое надгробие старинного рода Карнштайн. За небольшие чаевые лесоруб брался, если мы одолжим ему одну из наших лошадей, привезти старика сюда за полчаса с небольшим; что он и сделал.

— Давно вы служите в здешнем лесу? — спросил старика мой отец.

— Я здесь в лесниках, у старшего лесничего в подчинении, сколько себя помню, — отвечал он на своем *patois*¹, — а до меня — папаша мой и все мои деды и прадеды, каких я знаю. Могу вам в здешней деревне тот самый дом указать, где мои предки жили испокон веку.

— А как случилось, что деревня опустела? — спросил генерал.

— Мертвяки тут пошаливали, ваша милость. После их выследили, могилы раскопали, все, как положено, проверили и поступили по закону: головы отсекли, колья вогнали и сожгли их на костре, но прежде того они много селян сгубили. Все было устроено как закон велит, — продолжал он, — могил раскопали видимо-невидимо, оживших мертвецов отправили на тот свет, а в деревне — все неспокойно. Но тут случилось одному знатному господину из Моравии проезжать по здешним местам. Дошло до него, что здесь за дела творятся, и взялся он

¹ Местный говор (*фр.*).

избавить нашу деревню от этой напасти. Он в этих делах знал толк — в тамошних краях таких мастаков много. Вот что он сделал: дождался ночи, когда ярко светила луна, и, как зашло солнце, поднялся на башню вот этой самой церкви. Оттуда кладбище, что внизу, видно как на ладони. Глядит он и видит: вампир вылезает из могилы, полотно, в которое был завернут, рядышком складывает и шаст в деревню — народ изводить.

Чужеземный господин сошел тогда с башни, схватил саван и взобрался с ним обратно. Вампир воротился, а савана как не бывало. Углядел он на башне того господина из Моравии и как закричит на него. А тот ему в ответ знак подает: полезай, мол, сюда, забирай свое добро. Вампир послушался, стал карабкаться на крышу. Долез до края, а моравский господин мечом ему череп надвое и расколол и спихнул его вниз, на церковный двор. А после сошел по винтовой лестнице и отсек ему голову. А на другой день отнес ее с телом вместе в деревню, а там народ вбил в вампира кол, а после сжег, как заведено.

Тот знатный моравский господин имел позволение от тогдашнего старшего в роду перенести гробницу Миркаллы, графини Карнштайн. Так он и сделал, и скоро все позабыли, где она стояла прежде.

— А ты не можешь показать нам, где она была? — спросил генерал нетерпеливо.

Лесник покачал головой и улыбнулся.

— Теперь это ни единой живой душе неизвестно, да и тело, говорят, снесли в другое место; но и этого вам в точности никто не скажет.

Закончив рассказ, лесник второпях уронил на землю топор и удалился, а мы остались дослушивать странную историю генерала.

Глава XIV

Встреча

— Моей дорогой девочке, — снова заговорил генерал, — становилось все хуже и хуже. Врач, который лечил ее, оказался бессильным справиться с болезнью — а я тогда считал это болезнью. Он видел мою тревогу и предложил устроить консультацию. Я пригласил более знающего врача из Граца. Через несколько дней доктор прибыл. Он оказался добрым, набожным, а также и ученым человеком. Осмотрев вместе мою бедную воспитанницу, оба врача удалились в библиотеку для совещания. Из соседней комнаты мне слышно было, что их голоса звучат несколько резче, чем бывает при отвлеченной дискуссии. Я постучал в дверь и вошел. Оказалось, что старый доктор из Граца излагает свою теорию, а соперник оспаривает его слова с нескрываемой насмешкой, раздражаясь при этом приступами хохота. С моим приходом неподобающие проявления прекратились, и перебранка закончилась.

«Сударь, — сказал мой первый врач, — мой ученый собрат, видимо, считает, что вам надобен не доктор, а заклинатель».

«Простите, — проговорил старый врач из Граца с недовольным видом. — Я изложу свой собственный взгляд на этот случай в другой раз. Остается только сожалеть, Monsieur le General¹, что мое искусство и познания оказались ненужными. Перед уходом я буду иметь честь кое-что вам сообщить».

С задумчивым видом доктор уселся за стол и принялся писать. Глубоко разочарованный, я отключался. Когда я повернулся, чтобы выйти из комна-

¹ Господин генерал (*фр.*).

ты, второй врач указал через плечо на своего пишущего коллегу, а потом, пожав плечами, многозначительно постучал себя по лбу.

Консультация, таким образом, не сдвинула дело с мертвой точки. Опечаленный, я вышел в парк. Через десять или пятнадцать минут меня догнал доктор из Граца. Он попросил прощения за то, что пошел за мной, но, как он сказал, совесть не позволяла ему уйти, не добавив еще несколько слов. Он уверен, что не мог ошибиться: таких симптомов не бывает ни при одной естественной болезни. Смерть уже очень близка. Больной осталось жить день, может быть, два. Если бы удалось предотвратить роковой припадок, то при большом старании и искусстве, вероятно, можно было бы вернуть ее к жизни. Но сейчас болезнь находится на грани необратимости. Еще одна атака — и исчезнет последняя искра жизни, которая в любой момент готова погаснуть.

«О каких припадках вы говорите?» — взмолился я.

«Все сказано в этой записке, которую я передаю вам из рук в руки и ставлю неперемное условие, чтобы вы послали за ближайшим священником и вскрыли письмо в его присутствии. Ни в коем случае не читайте записку до прибытия священника: не исключено, что вы ею пренебрежете, а речь идет о жизни и смерти. Если вам не удастся найти священника, тогда, конечно, можете прочесть записку сами».

Прежде чем окончательно распрощаться, доктор спросил, не пожелаю ли я встретиться с человеком, необычайно сведущим в тех предметах, которые, возможно, по прочтении письма будут интересовать меня более всего остального. Доктор с большой серьезностью порекомендовал мне пригласить этого человека к себе.

Священника не нашли, и я прочитал письмо один. В иное время или при иных обстоятельствах оно бы позабавило меня. Но к каким только шарлатанским выдумкам не прибегают люди в погоне за последним шансом, когда все привычные средства оказались бесполезны, а жизнь любимого существа висит на волоске?

Вы сказали бы, что не может быть ничего абсурдней, чем письмо этого ученого человека. Оно было настолько чудовищным, что могло бы послужить основанием для помещения доктора в сумасшедший дом. Он утверждал, что пациентка страдала от посещений вампира! Уколы пониже горла, которые она описывала, по его словам, были уколом двух длинных, тонких и острых зубов, которые, как хорошо известно, являются характерной принадлежностью вампиров. Не вызывает сомнения, добавлял он, наличие небольших синеватых отметок, которые все авторы, их описывающие, в один голос называют следами дьявольских губ; все симптомы, о которых рассказывала больная, в точности повторяют жалобы других жертв.

Будучи абсолютным скептиком в отношении таких сверхъестественных существ, как вампиры, я усмотрел в мистической теории, выдвинутой любезным доктором, еще один пример странной смеси ума и учености с некоторой склонностью к галлюцинациям. Однако я был в такой беде, что предпочел действовать в соответствии с инструкциями, данными в письме, чем сидеть сложа руки.

Я спрятался в темной туалетной комнате, смежной со спальней бедной больной. В спальне горела свеча, и мне было видно, что Берта заснула. Я стоял у двери, глядя в щелку. На столике позади меня лежал меч — я в точности следовал указаниям док-

тора. В начале второго ночи я увидел, как некое живое существо, крупное и черное, весьма неопределенных очертаний, прокралось, как будто, к ногам постели, а затем проворно припало к горлу бедной девочки, где мгновенно раздулось в большую пульсирующую массу.

Несколько мгновений я стоял словно окаменев. Потом бросился вперед с мечом в руках. Черное существо внезапно отпрянуло, скользнуло вниз, и тут же я увидел, что приблизительно в ярде от кровати, устремив на меня горящий злобой и ужасом взгляд, стоит Милларка. Недолго думая, я ударил ее мечом, но в то же мгновение она оказалась у двери, совершенно невредимая. В ужасе я бросился за ней и ударил снова. Милларка исчезла! А меч разлетелся вдребезги, угодив в дверь.

Не могу вам описать, что творилось в доме в ту жуткую ночь. Все были на ногах, все суетились. Призрак Милларки исчез. Но жертва быстро слабела и до восхода солнца умерла.

Старый генерал был взволнован. Мы не вступали с ним в разговор. Мой отец отошел немного в сторону и принялся читать надписи на могильных плитах. Продолжая изучать надгробия, он шагнул в боковой придел. Генерал прислонился к стене, вытер глаза и тяжело вздохнул. Тут я с облегчением услышала приближавшиеся голоса Кармиллы и мадам. Голоса смолкли.

Среди безлюдных руин я выслушала только что странную историю, имевшую отношение к властительным, титулованным мертвецам, чьи надгробия истлевали вокруг под покровом пыли и плюща, а с другой стороны — пугающе сходную с таинственными событиями моей собственной жизни; и вот в этом

призрачном месте, в тени изобильной листвы, которая нависала со всех сторон высоко над безмолвными стенами, я почувствовала, как ко мне подкрадывается ужас. У меня сердце упало при мысли, что мои подруги не решились войти и потревожить эти печальные и зловещие развалины.

Старый генерал устремил глаза в землю и оперся рукой об основание разбитого надгробия.

И тут я с радостью увидела в узком стрельчатом дверном проеме (его венчал резной демонический гротеск — излюбленный мотив циничной и устрашающей фантазии старых мастеров готики) красивое лицо Кармиллы, входившей в сумрачную часовню.

Я уже собиралась встать и заговорить и кивнула, улыбаясь в ответ на ее необычайно обаятельную улыбку, когда наш престарелый спутник с криком схватил топорик лесоруба и бросился вперед. При виде его черты Кармиллы преобразились, превращаясь в звериные. Пока она, припадая к земле, делала шаг назад, произошла мгновенная жуткая метаморфоза. Прежде чем я успела вскрикнуть, генерал размахнулся, но Кармила нырнула под его ударом и, оставшись невредимой, своей крошечной ручкой схватила его за запястье. Несколько мгновений генерал пытался освободить свою руку, но она разжалась, топор упал, а девушка исчезла.

Пошатываясь, генерал прислонился к стене. Его седые волосы стояли дыбом, на лице выступила испарина, как в агонии.

Эта страшная сцена разыгралась молниеносно. Далее я помню стоящую передо мной мадам, которая нетерпеливо снова и снова задает вопрос:

— Где мадемуазель Кармила?

Я наконец ответила:

— Не знаю... не могу сказать... она направилась туда. — Я указала на дверь, через которую только что вошла мадам. — Всего лишь минуточку-другую назад.

— Но я, расставшись с мадемуазель Кармиллой, все время стояла здесь, в проходе, — и она не возвращалась.

Потом мадам начала звать Кармиллу, высовываясь поочередно во все двери, проходы и окна, но ответа не было.

— Она назвалась Кармиллой? — спросил генерал, все еще волнуясь.

— Да, Кармиллой, — ответила я.

— Ага, это Милларка. Ее же в очень давние времена именовали Миркалла, графиня Карнштайн. Прочь от этого проклятого места, моя бедная девочка, и чем скорее, тем лучше. Поезжай в дом священника и оставайся там до нашего прибытия. Иди! Лучше тебе никогда больше не видеть Кармиллу; здесь ты ее не найдешь.

Глава XV

Суд и казнь

Тут в дверь капеллы, откуда появилась и где исчезла затем Кармилла, вошел самый странный человек, какого я когда-либо видела. Он был высок, узкогруд, сутул, одет в черное. Лицо у него было смуглое и высохшее, в глубоких складках; на голове причудливой формы широкополая шляпа. Волосы, длинные и седеющие, спускались ему на плечи. На носу сидели очки в золотой оправе. Шел он медленно, странной шаркающей походкой. На лице, обращенном то вверх, в небеса, то вниз, в землю, казалось, навечно застыла улыбка; длинные руки чудака болтались,

а тонкие кисти, облаченные в старые черные перчатки, слишком широкие для них, махали и жестикулировали будто сами по себе.

— Это он! — воскликнул явно обрадованный генерал, шагнув вперед. — Мой дорогой барон, счастливив вас видеть; я и не надеялся встретиться с вами так скоро.

Генерал подал знак моему отцу, который уже успел вернуться, и подвел к нему этого чудного старого господина, которого называл бароном. Генерал по всей форме представил их друг другу, и они сразу вступили в серьезную беседу. Незнакомец вынул из кармана какой-то свиток, развернул его и положил на стертую надгробие, стоявшее рядом. В руках у него был пенал, которым он проводил воображаемые линии, соединявшие различные точки на бумаге. Поскольку все трое переводили взгляд то в одну, то в другую точку здания, я поняла, что в руках у барона план капеллы. Свою, можно сказать, лекцию он сопровождал время от времени чтением отрывков из потертой книжечки, пожелтевшие страницы которой были плотно исписаны.

Отец, генерал и барон, беседуя на ходу, прошлись в конец бокового придела (я стояла напротив), потом принялись большими шагами мерить расстояние; наконец все трое остановились и начали пристально разглядывать обломок стены. Они отстраняли плечом, за него цеплявшийся, постукивали тростями по штукатурке, местами соскребая, местами сбивая ее. В конце концов им удалось обнаружить широкую мраморную плиту с рельефной надписью.

С помощью лесоруба, который вскоре вернулся, они расчистили монументальную надпись и высеченный в камне герб. Это оказалось давно потерянное надгробие Миркаллы, графини Карнштайн.

Старый генерал, боюсь, не отличавшийся набожностью, воздел руки и глаза к небесам в немой благодарственной молитве.

— Завтра, — услышала я его голос, — сюда придет член Имперской комиссии и будет предпринято расследование в соответствии с законом. — Затем, повернувшись к старому господину в золотых очках, которого я вам описала, генерал сердечно пожал ему обе руки: — Барон, как мне благодарить вас? Как нам всем вас благодарить? Вы избавите эти края от чумы, которая более полувека косила здешних обитателей. Слава Богу, мы наконец выследили нашего страшного врага.

Мой отец отвел незнакомца в сторону, генерал последовал за ними. Я догадалась: отец отводит их подальше, чтобы рассказать о моих приключениях. Во время разговора, как я заметила, они нередко бросали взгляды в мою сторону.

Отец подошел ко мне, несколько раз поцеловал и повел прочь из часовни.

— Нам пора, но, прежде чем мы отправимся домой, нам нужен в компанию тот добрый священник, который живет поблизости; нужно уговорить его поехать с нами в замок.

Священник нашелся, и я была рада наконец оказаться дома, потому что страшно устала. Но удовлетворение быстро сменилось испугом, когда я обнаружила, что от Кармиллы нет известий. Никто не объяснил мне сцену, разыгравшуюся в развалинах часовни, и было понятно, что отец намерен пока держать меня в неведении.

Еще страшнее мне было вспоминать о происшедшем из-за зловещего отсутствия Кармиллы. Ночному сну предшествовали на этот раз странные приготовления. Две служанки и мадам дежурили ночью

в спальне, а священник вместе с моим отцом — в прилегающей к ней туалетной.

Священник совершил вечером какой-то торжественный ритуал, смысл которого я понимала не больше, чем причины из ряда вон выходящих мер предосторожности, призванных обеспечить мою безопасность во время сна.

Несколькими днями позже я узнала все.

С исчезновением Кармиллы прекратились мои ночные мучения.

Вы слышали, несомненно, об ужасном суеверии, которое распространено в Верхней и Нижней Штирии, в Моравии, в Силезии, в турецкой Сербии, в Польше, даже в России, а именно о вере в вампиров, которую принято называть суеверием.

Если чего-нибудь стоят свидетельские показания, принесенные по всей форме, в торжественной обстановке, в соответствии с судебной процедурой, перед бесчисленными комиссиями из множества членов, известных своей честностью и умом, составивших такие объемные отчеты, каких не удостоился ни один другой предмет, — если все это чего-нибудь стоит, тогда трудно отрицать существование такого феномена, как вампиризм, трудно даже сомневаться в нем.

Что касается меня, то мне не приходилось слышать другой теории, объяснявшей события, очевидцем и участницей которых я стала, кроме этих старинных и подкрепленных многочисленными свидетельствами народных верований.

На следующий день в капелле Карнштайна состоялось заседание судебной комиссии. Могила графини Миркаллы была вскрыта; генерал и мой отец опознали в той женщине, лицо которой открылось взглядам, свою вероломную и прекрасную гостью.

Ее кожа, хотя со времени погребения прошло уже сто пятьдесят лет, была окрашена в теплые живые тона, глаза открыты; из гроба не исходил трупный запах. Два медика, один состоявший на службе в комиссии, другой — со стороны следствия, засвидетельствовали тот удивительный факт, что имелось слабое, но различимое дыхание и соответствующее биение сердца. Конечности сохранили гибкость, кожа — эластичность, а свинцовый гроб был наполнен кровью, в которую на глубину в семь дюймов было погружено тело. Таким образом, здесь имелись все признаки и доказательства вампиризма. Поэтому тело, в соответствии с издавна заведенным порядком, извлекли из гроба и в сердце вампира вогнали острый кол. При этом вампир издал пронзительный вопль, точь-в-точь похожий на предсмертный крик живого человека. Мертвецу отсекли голову, и из отделенного затылка хлынул поток крови. Тело и голову положили затем на костер и сожгли, а пепел бросили в реку. Река унесла его, а здешние края с тех пор были навечно избавлены от вампира.

У моего отца есть копия отчета Имперской комиссии с подписями всех участников заседания, удостоверяющими правдивость сказанного. Именно из этого официального документа я позаимствовала свой краткий рассказ о последней жуткой сцене.

Заключение

Вы, возможно, считаете, что все это пишется вполне хладнокровно. Ничего подобного; я не могу вспоминать происшедшее без волнения. Только ваши неоднократно высказанные настоятельные просьбы побудили меня взяться за занятие, которое на не-

сколько месяцев вывело меня из равновесия и снова вызвало к жизни тень неизъяснимого ужаса, многие годы наполнявшего страхом мои дни и ночи и делавшего непереносимым одиночество.

Позвольте мне добавить несколько слов о бароне Форденбурге, том самом чудаке, любознательности и эрудиции которого мы обязаны обнаружением могилы графини Миркаллы.

Он обосновался в Граце, где, живя на жалкие гроши, оставшиеся ему от когда-то роскошных родовых поместий в Верхней Штирии, посвятил себя детальному старательному исследованию вампиризма, этих чудесным образом подтвердившихся преданий. Барон изучил как свои пять пальцев все большие и малые труды, посвященные этому предмету: «*Magia Posthuma*», Phlegon «*De Mirabilibus*», Augustinus «*De curâ pro Mortuis*», «*Philosophiae et Christianae Cogitationes de Vampiris*»¹ Иоганна Кристофера Харенберга и множество других — из их числа я припоминаю только те несколько книг, которые он давал моему отцу. У барона имелся объемистый сборник решений суда, основываясь на которых он вывел систему принципов (часть из них действует всегда, другие — только в отдельных случаях), управляющих существованием вампиров. Замечу между прочим, что мертвенная бледность, приписываемая этим выходцам с того света, не более чем мелодраматическая выдумка. Как в могиле, так и в человеческом обществе они являют видимость жизнеспособности и здоровья. Будучи извлеченными на свет Божий, они демонстрируют все те

¹ «Посмертная магия»; «О чудесном» Флегона; «О почитании усопших» Августина; «Философские и христианские рассуждения о вампирах» (лат.).

признаки, которые послужили доказательством, что давно умершая графиня Карнштайн ведет существование вампира.

Как они умудряются каждый день в определенные часы ускользать из могил и возвращаться в них, не потревожив могильную насыпь, гроб и саван, — всегда признавалось совершенно необъяснимым. Двойственное существование вампира поддерживается ежедневным сном в могиле. Отвратительное пристрастие вампира к человеческой крови подкрепляет его силы во время бодрствования. Вампиры склонны поддаваться под очарование некоторых людей. Эта всепоглощающая страсть напоминает любовь. Следуя за предметом своей страсти, вампиру приходится проявлять неистощимое терпение и хитрость, потому что доступ к тому может быть затруднителен из-за множества различных обстоятельств. Вампир никогда не отступает, пока не насытит свою страсть, высосав до капли жизненный источник желанной жертвы. Но он с утонченностью эпикурейца будет лелеять и растягивать удовольствие и умножать его, прибегая к приемам, напоминающим постепенное искусное ухаживание. В таких обстоятельствах вампир, по-видимому, стремится к чему-то вроде взаимности и согласия. Обычно же он подступает к жертве сразу, неистово на нее набрасывается и часто удушает и высасывает за одну трапезу.

Иногда вампир, как представляется, вынужден выполнять некие особые условия. В том случае, о котором я вам рассказала, Миркалла, кажется, должна была носить если не свое настоящее имя, то, по крайней мере, составленное из тех же букв, без единого изъятия или добавления, то есть анаграмму своего имени. Имя Кармилла этому условию соответствует, Милларка — тоже.

Отец рассказал Форденбургу, когда тот жил у нас в доме две или три недели после изгнания Кармиллы, историю о моравском дворянине и вампире с Карнштайнского кладбища, а потом спросил барона, как ему удалось определить точное местоположение могилы графини Миркаллы. Гротескное лицо барона сложилось в таинственную улыбку. Продолжая улыбаться, он уставился вниз, на потертый футляр от очков, повертел его в руках. Потом, подняв глаза, сказал:

— У меня имеется много дневников и других бумаг, написанных этим замечательным человеком, и в самой любопытной из них описывается то самое посещение Карнштайна, о котором вы говорите. Предание, конечно, немного все искажает. Этого человека можно назвать моравским дворянином, потому что он поменял свое место обитания, переселившись в Моравию, и был, кроме того, дворянином. Но на самом деле он был уроженцем Верхней Штирии. Достаточно сказать, что в очень ранней юности он был страстным и пользовавшимся взаимностью обожателем прекрасной Миркаллы, графини Карнштайн. Ее ранняя смерть повергла поклонника в неутешное горе. Вампирам свойственно умножаться в числе, но подчиняясь при этом определенным законам мира призраков.

Представим себе, для начала, местность, совершенно свободную от этой напасти. Как же это зло возникает и как приумножается? Сейчас расскажу. Некий человек, более или менее безнравственный, накладывает на себя руки. Самоубийца при определенных обстоятельствах становится вампиром. Этот призрак посещает живых людей во время сна. Они умирают и в могиле почти всегда превращаются в вампиров. Так случилось и с прекрасной Миркал-

лой, которую преследовал один из этих демонов. Мой предок, Форденбург, титул которого я по-прежнему ношу, вскоре это обнаружил и в ходе научных изысканий, которыми он занимался, узнал еще очень многое.

Помимо прочего, Форденбург заключил, что подозрение в вампиризме, вероятно, рано или поздно падет на покойную графиню, которая при жизни была его кумиром. Кем бы она ни была теперь, он ужаснулся при мысли, что ее останки могут подвергнуться надругательству посмертной экзекуции. Мой предок оставил любопытную бумагу, в которой доказывал, что вампир, лишенный своего двойственного существования, бывает перенесен в другую жизнь, еще более страшную. Он решил спасти свою некогда любимую Миркаллу от такой участи.

Для этого мой предок прибег к хитрости. Он приехал сюда и сделал вид, что перенес останки графини Карнштайн, а в действительности только уничтожил надгробие. Когда же он состарился и с высоты прожитых лет взглянул на прошлое и по-иному оценил свой поступок, его охватил ужас. Он оставил план и заметки, которые помогли мне найти то место, и написал признание в совершенном обмане. Возможно, Форденбург собирался еще что-то предпринять, но смерть помешала ему; и только отдаленному его потомку, для многих, увы, слишком поздно, удалось выследить это чудовище в его логове.

Мы побеседовали еще немного, и помимо прочего барон сказал следующее:

— Один из признаков вампира — сила его руки. Тонкая рука Миркаллы сомкнулась как стальные тиски на запястье генерала, когда тот занес топор для удара. Но сила вампира этим не ограни-

чивается: конечности, которые он сжимал, немеют и восстанавливают подвижность медленно и не всегда.

Следующей весной отец взял меня в путешествие по Италии. Мы пробыли там больше года. Но прошло еще много времени, прежде чем ужас от пережитого стал забываться, и теперь Кармила вспоминается мне в двух различных образах: иногда — как шаловливая, томная, красивая девушка, иногда — как корчащийся демон, которого я видела в разрушенной церкви. И часто, задумываясь, я вздрагиваю, когда мне чудятся легкие шаги Кармиллы у двери гостиной.

ГОСТЬ ДРАКУЛЫ

Когда мы собирались на прогулку, солнце ярко сияло над Мюнхеном и воздух был наполнен радостным предвкушением лета. Мы уже были готовы отправиться в путь, когда герр Дельбрюк, метрдотель гостиницы «Quatre Saisons»¹, где я остановился, подошел с непокрытой головой к нашей коляске, пожелал мне приятной прогулки и, держась за ручку дверцы, сказал кучеру:

— Не забудь, вы должны вернуться засветло. Небо кажется ясным, но ветер северный, холодный — значит, может внезапно начаться буря. Впрочем, ты не припозднишься, я уверен. — Тут он улыбнулся и добавил: — Ты ведь знаешь, что за ночь сегодня.

Иоганн ответил подчеркнуто выразительно: «Ja, mein Herr»², коснулся рукой шляпы, и коляска быстро тронулась с места. Когда мы выехали из города, я подал знак остановиться и спросил:

— Скажи, Иоганн, что сегодня за ночь?

Он перекрестился и ответил лаконично:

— Walpurgis Nacht³.

Потом он вынул свои большие серебряные часы — старомодную немецкую луковицу — и стал

¹ «Четыре времени года» (фр.).

² Да, мой господин (нем.).

³ Вальпургиева ночь (нем.).

смотреть на них, сдвинув брови и нетерпеливо держа плечами. Я понял, что таким образом он вежливо протестует против ненужной задержки, и откинулся на спинку сиденья, знаком предложив ему продолжить путь. Он погнал лошадей, словно стараясь наверстать потерянное время. Лошади время от времени вскидывали головы и, казалось, с опаской нюхали воздух. Вслед за ними и я стал осматриваться в тревоге. Путь проходил по довольно унылой местности: мы пересекали высокое, открытое ветрам плато. Сбоку я заметил дорогу, на вид мало наезженную, которая ныряла в небольшую извилистую долину. Выглядела она так заманчиво, что я, рискуя рассердить Иоганна, крикнул, чтобы он остановился. Когда он натянул вожжи, я сказал, что хочу спуститься этой дорогой. Он никак не соглашался, часто крестясь во время речи. Это подстегнуло мое любопытство, и я принялся расспрашивать его. Иоганн отвечал уклончиво и несколько раз взглядывал на часы в знак протеста. Наконец я сказал:

— Что ж, Иоганн, я хочу спуститься этой дорогой. Я не заставляю тебя туда ехать, но, по крайней мере, объясни, почему ты отказываешься, — это все, что я желаю знать.

Мне показалось, что он свалился с козел: так быстро он спрыгнул на землю. Потом он умоляюще протянул руки и стал заклинять меня отказаться от своего намерения. В его речи к немецким словам было примешано достаточно английских, чтобы понять общий смысл. Он как будто старался донести до меня какую-то мысль, которой отчаянно страшился, и потому ни разу не выговорил ее до конца и только повторил, крестясь: «Walpurgis Nacht!»

Я пытался возражать, но трудно спорить с человеком, не зная его родного языка. Преимущество, несо-

мненно, было у Иоганна, потому что, заговорив на английском, очень ломаном и примитивном, он от волнения тут же сбивался на свой родной язык. При этом он то и дело взглядывал на часы. Лошади вновь забеспокоились и принялись нюхать воздух. Иоганн сильно побледнел, испуганно оглядываясь, неожиданно прыгнул вперед, схватил лошадей под уздцы и отвел их в сторону футов на двадцать. Я пошел следом и спросил, зачем он это сделал. В ответ он осенил себя крестом, указал на место, которое мы покинули, потянул коляску в сторону поперечной дороги и произнес, сначала по-немецки, а потом по-английски:

— Здесь хоронили — кто себя убивал.

Я вспомнил старый обычай хоронить самоубийц на перекрестье дорог.

— А! Понял, это самоубийца. Любопытно.

Одного я, хоть убей, не мог понять: почему так испуганы лошади.

Во время разговора мы слышали звуки, напоминавшие то ли повизгивание, то ли лай. Они доносились издалека, но лошади очень встревожились, и Иоганну пришлось вновь и вновь их успокаивать. Он был бледен. Наконец он проговорил:

— Похоже на волка — но сейчас здесь нет волков.

— Что значит «сейчас»? — спросил я. — Ведь волки уже давно не встречаются так близко от города?

— Это когда весна и лето — давно, а когда снег — не так давно.

Пока Иоганн оглаживал лошадей, пытаясь их успокоить, по небу быстро понеслись темные облака. Солнце скрылось, и дохнуло холодом. Правда, это было всего лишь дуновение — не реальность, а скорее предупреждающий знак, потому что солнце тут же засияло снова. Иоганн из-под ладони оглядел горизонт и произнес:

— Снежная буря. Будет здесь очень скоро. — Он снова взглянул на часы и тут же, крепко удерживая поводья (ибо лошади по-прежнему беспрестанно били копытами и встряхивали головами), взобрался на козлы, словно настало время продолжить нашу поездку. Мне захотелось поупрямиться, и я не сразу сел в коляску.

— Скажи, — спросил я, — куда ведет эта дорога? — Я указал вниз.

Иоганн опять перекрестился, забормотал молитву и только после этого ответил:

— Там нечисто.

— Где?

— В деревне.

— Значит, там есть деревня?

— Нет, нет. Там никто не живет уже сотни лет. Это лишь подстегнуло мое любопытство.

— Но ты сказал, что там деревня.

— Была.

— А где она теперь?

В ответ Иоганн разразился длинной историей на такой дикой смеси немецкого и английского, что я не вполне его понимал. В общем, я сделал вывод, что очень давно, сотни лет назад, люди там умерли и были положены в могилы; но из-под земли слышались звуки, а когда вскрыли могилы, то нашли там мужчин и женщин, румяных, как живые, а их уста были красны от крови. И вот, спасая свои жизни (и души! — он перекрестился), опрометью бежали остальные в другие места, где живые живы, а мертвые мертвы, а не... не иначе. Заметно было, как он боялся произносить последние слова. Он продолжал рассказ, все более волнуясь. Казалось, воображение им полностью завладело, и в конце концов страх обратился в смертельный ужас. Бледный, взмокший, дрожащий,

Иоганн оглядывался вокруг, будто ожидая, что присутствие чего-то страшного проявится здесь, при ярком солнечном свете, на открытой равнине. Наконец он отчаянно вскричал: «Walpurgis Nacht», — и указал на коляску, чтобы я сел в нее. Моя английская кровь вскипела, и, отступив, я произнес:

— Ты трусишь, Иоганн, трусишь. Отправляйся домой — я вернусь один. Прогулка пойдет мне на пользу. — Дверца коляски была открыта. Я забрал с сиденья дубовую трость, которую всегда беру с собой во время воскресных вылазок, и захлопнул дверцу. Указывая в сторону Мюнхена, я сказал: — Отправляйся домой, Иоганн. Walpurgis Nacht к англичанам отношения не имеет.

Лошади вели себя еще беспокойнее, чем прежде, и Иоганн старался удержать их, при этом отчаянно умоляя меня не поступать так глупо. Мне было жаль беднягу, который искренне верил в то, что говорил, но в то же время я не мог удержаться от смеха. Познания в английском ему окончательно изменили. В волнении он забыл также, что я его пойму, только если он будет говорить на моем родном языке, и продолжал тараторить на немецком. Это начало меня утомлять. Я бросил ему: «Домой!» — и повернулся, собираясь спуститься поперечной дорогой в долину.

С жестом отчаяния Иоганн развернул лошадей в сторону Мюнхена. Я оперся на трость и стал смотреть ему вслед. Он медленно ехал вдоль дороги; потом на вершине холма появился какой-то высокий и тонкий человек. Это было все, что я сумел рассмотреть на таком расстоянии. Когда незнакомец приблизился к лошадям, те начали шарахаться и брыкаться, потом испуганно заржали. Иоганн не мог их удержать: они понеслись по дороге в безумной скачке.

Я следил за ними, пока они не скрылись из виду, потом поискал взглядом незнакомца, но он тоже исчез.

С легким сердцем я повернулся и начал спуск по покатому склону в долину, куда отказывался ехать Иоганн. Я не находил ни малейшего основания для его отказа. Часа два я шел пешком, ни о чем не думая, и — могу сказать определенно — не встретил по дороге ни живой души, ни жилья. Что касается окрестности, то трудно было вообразить себе место более заброшенное. Но я этого не замечал, пока, пройдя изгиб дороги, не оказался на неровной лесной опушке и только тут понял, что окружающее запустение подсознательно на меня влияло.

Я сел отдохнуть и стал оглядываться окрест. Как я отметил, с начала прогулки успело сильно похолодать. Вокруг чудились звуки, напоминавшие вздохи. Над головой время от времени раздавался приглушенный шум. Подняв глаза, я обнаружил, что высоко в небе быстро перемещаются с севера на юг большие плотные облака. В верхних слоях атмосферы замечались признаки приближавшейся бури. Я немного озяб. Объяснив это тем, что засиделся после быстрой ходьбы, я возобновил прогулку.

Теперь мой путь пролегал по гораздо более живописной местности. Взгляд не выделял ничего примечательного, но очарование присутствовало во всем. Я не следил за временем, и, только когда сгущавшиеся сумерки уже нельзя было не замечать, задумался о том, как найду дорогу домой. Яркий дневной свет померк. Воздух обжигал холодом, движение облаков над головой усилилось. Оно сопровождалось отдаленным мерным гулом, через который иногда прорывался тот таинственный крик, который кучер назвал волчьим воем. Я немного поколебался, но, согласно своему первоначальному намерению, решил все же

взглянуть на брошенную деревню, и вновь двинулся вперед. Вскоре я набрел на обширный открытый участок, со всех сторон зажатый холмами. Их склоны были одеты деревьями, которые спускались на равнину и группами усеивали попадавшиеся там небольшие косогоры и ложбины. Я проследил глазами извивы дороги и обнаружил, что она делает поворот рядом с группой деревьев, одной из самых густых, и далее теряется из виду.

Я ощутил в воздухе пульсирующий холод; начал падать снег. Подумав о милях и милях открытой местности, оставшихся позади, я поспешил укрыться в лесу. Небо темнело, снегопад становился все гуще, пока не покрыл землю блестящим белым ковром, край которого терялся в туманной мгле. Дорога здесь была в плохом состоянии. Там, где она прорезала возвышенный участок, края ее еще были заметны, но когда я достиг ровного места, то вскоре обнаружил, что, должно быть, сбился с пути. Ноги ступали по мягкой земле, все более увязая во мху и траве. Ветер задувал все сильнее, и мне пришлось бежать. Ударил мороз, и я начал мерзнуть, несмотря на то что двигался быстро. Снег теперь падал сплошной стеной и завихрялся вокруг меня, так что я почти ничего не видел. Время от времени небеса прорезала яркая вспышка молнии, и в эти моменты я различал впереди множество деревьев, главным образом тисов и кипарисов, плотно укутанных снегом.

Скоро я оказался под защитой стволов и крон. Здесь было сравнительно тихо, и я улавливал шум ветра высоко над головой. Вскоре мрак бури был поглощен темнотой ночи. Постепенно буря слабела; не утихали только свирепые порывы ветра. В такие минуты казалось, что странным звукам, напоминавшим волчий вой, вторят схожие звуки вокруг меня.

Снова и снова черную массу несущихся облаков пронизал лунный луч и освещал окрестности. Я разглядел, что нахожусь на опушке густой рощи из кипарисов и тисов. Когда снегопад прекратился, я вышел из укрытия и начал более детальную разведку. Я подумал, что, поскольку по дороге мне часто встречалось разрушенное жилье, стоило бы поискать себе временное убежище, пусть даже плохо сохранившееся. Огибая рощу, я обнаружил, что она обнесена низкой стеной, и вскоре наткнулся на проход. Кипарисы здесь образовывали аллею, которая вела к какому-то массивному сооружению квадратной формы. Но тут стремительные облака снова скрыли луну, и путь по аллее я проделал в темноте. Ветер сделался еще холоднее — по дороге меня охватила дрожь. Но я надеялся найти защиту от непогоды и продолжал вслепую двигаться вперед.

Вдруг я остановился, пораженный внезапной тишиной. Буря улеглась, и в унисон с молчанием природы мое сердце словно бы перестало биться. Но это продолжалось какое-то мгновение. Лунный свет неожиданно пробился сквозь облака, и я увидел, что нахожусь на кладбище, а квадратное сооружение впереди оказалось массивной мраморной гробницей, белой как снег, который окутывал ее и все вокруг. Одновременно раздался свирепый вздох бури: она как будто возобновилась. Этот звук походил на протяжный низкий вой стаи собак или волков. Я был потрясен и испуган; в меня все глубже проникал холод, грозя достичь самого сердца. Поток лунного света по-прежнему падал на мрамор гробницы; буря, судя по всему, разыгралась с новой силой. Словно зачарованный, я приблизился к усыпальнице, чтобы рассмотреть ее и узнать, почему она находится в столь уединенном месте. Обойдя ее кругом, я прочел

над дорическим порталом надпись, сделанную по-немецки:

ГРАФИНЯ ДОЛИНГЕН ИЗ ГРАЦА,
ШТИРИЯ
ЕЕ ИСКАЛИ И НАШЛИ МЕРТВОЙ
1801

На вершине гробницы, сложенной из нескольких громадных каменных блоков, торчала большая железная пика или стойка, казалось вбитая в мраморный монолит. Зайдя с другой стороны, я увидел надпись, высеченную крупными русскими буквами:

НЕ СТРАШНЫ МЕРТВЫМ ДАЛИ¹

Все это произвело на меня такое странное и жуткое впечатление, что я похолодел и почувствовал приближение обморока. Впервые я пожалел, что не прислушался к советам Иоганна. И тут, в этой почти мистической обстановке, меня как громом поразила мысль: нынешняя ночь — Вальпургиева!

Ночь, когда, согласно верованиям миллионов людей, по свету бродит дьявол, когда разверзаются могилы и мертвые встают из них и бродят по свету. Когда вся нечистая сила на земле, в воде и в воздухе ликует и веселится. Именно этого места мой кучер особенно опасался. Здесь была деревня, опустевшая несколько веков назад, здесь был похоронен самоубийца, и именно здесь я оказался в одиночестве, дрожа от холода; все вокруг было окутано снежным саваном, а над головой снова собиралась буря. Мне понадобились вся моя философия, вся вера, в которой я был воспитан, все мужество, чтобы не лишиться чувств от страха.

¹ Пер. В. Левика.

И вот настоящий ураган обрушился на меня. Земля дрожала, как под гулкими ударами тысяч лошадиных копыт. На этот раз буря принесла на своих ледяных крыльях не снег, а крупный град, летевший стремительно, как камни из пращи. Градины сбивали на землю листья и ветки; прятаться под кипарисами было так же бессмысленно, как под былинкой в поле. Сначала я бросился к ближайшему дереву, но вскоре понял, что единственное доступное мне убежище — это дорический портал мраморной гробницы. Там, припав к массивной бронзовой двери, я нашел хоть какую-то защиту от градин. Теперь они достигали меня только рикошетом от земли или от мраморных стен.

Когда я прислонился к двери, она подалась и открылась внутрь. Даже такое убежище, как гробница, было желанным в эту беспощадную грозу, и я уже собирался войти, когда зигзагообразная вспышка молнии осветила все пространство небес. В это мгновение, клянусь жизнью, я различил в темноте гробницы красивую женщину с округлым лицом и ярко-красными губами, которая лежала на возвышении и казалась спящей. Над моей головой раздался гром, и, как будто рукой гиганта, меня выбросило наружу. Это произошло так внезапно, что я и опомниться не успел, как обнаружил, что меня бьет градом. Одновременно у меня возникло странное, навязчивое ощущение, что я не один. Я бросил взгляд на гробницу. Тут же последовала еще одна ослепительная вспышка молнии, которая, казалось, ударила в железную пику, венчавшую сооружение, и вошла в землю, круша мрамор, точно взрывом. Мертвая женщина на мгновение приподнялась в агонии, охваченная пламенем, ее отчаянный крик боли потонул в раскатах грома. Хаос душераздирающих звуков был последним,

что я слышал. Гигантская рука опять схватила меня и потащила прочь, а град продолжал колотить по мне, и воздух как будто дрожал в унисон волчьему вою. В моей памяти запечатлелось напоследок движение какой-то белой туманной массы, словно все могилы окрест послали сюда призраки своих окутанных сава-нами мертвецов и те приближались ко мне в пелене града.

* * *

Постепенно ко мне стало возвращаться сознание, потом я ощутил ужасную усталость. Какое-то время я ничего не воспринимал, но чувства понемногу пробуждались. Ноги ломило от боли, я не мог ими пошевелить: казалось, они словно отнялись. Затылок и спина окоченели от холода; уши, как и ноги, казались чужими, но страшно болели, грудь же, напротив, ласкало восхитительное тепло. Это походило на кошмар — физически ощутимый кошмар, если можно так выразиться, потому что какой-то тяжелый груз давил мне на грудь, мешая дышать.

Это подобие летаргии показалось мне нескончаемым. Должно быть, я заснул или впал в забытие. Затем пришло что-то вроде тошноты, как при начинающейся морской болезни, и отчаянное желание от чего-то освободиться — от чего именно, я не знал. Безбрежная тишина окутывала меня, словно весь мир заснул или умер; ее нарушало только тяжелое дыхание какого-то животного. Горла касалось что-то теплое и шершавое. Потом пришло осознание чудовищной истины. Я похолодел, кровь бросилась мне в голову. Какой-то крупный зверь, взгромоздившись на меня, лизал мне горло. Я боялся пошевелиться, инстинкт самосохранения велел мне лежать неподвижно, но животное, казалось, заметило

происшедшую со мной перемену и подняло голову. Сквозь ресницы я увидел пару больших горящих глаз огромного волка. Его острые зубы светились в зияющей красной пасти, и я ощущал кожей его горячее и едкое дыхание.

И еще один отрезок времени выпал у меня из памяти. Потом я услышал низкий вой, за ним лай, повторявшийся снова и снова. Как мне почудилось, очень издалека донесся хор множества человеческих голосов, кричавших в унисон «э-ге-гей!». Осторожно подняв голову, я посмотрел в ту сторону, откуда шел звук, но мой взгляд уперся в кладбище. Волк продолжал издавать странное тьяканье, и вокруг кипарисовой рощи, будто вслед за звуком, начало перемещаться красное сияние. Голоса слышались все ближе, а волк тьякал все чаще и громче. Я не решался ни шевельнуться, ни крикнуть. Красное зарево приближалось, оно виднелось над белой пеленой, простиравшейся во тьму вокруг меня. Внезапно из-за деревьев появилась группа всадников с факелами в руках. Волк соскочил с моей груди и бросился в сторону кладбища. Один из всадников (военных, судя по фуражкам и длинным шинелям) вынул карабин и прицелился. Его товарищ толкнул руку стрелявшего, и я услышал, как пуля просвистела над моей головой. Он, очевидно, принял меня за лежащего волка. Другой прицелился в убежавшее животное, грянул выстрел. Потом одни всадники галопом двинулись ко мне, другие — вслед за волком, который исчез среди заснеженных кипарисов.

Когда они подъехали ближе, я попытался пошевелиться, но не смог, хотя видел и слышал все, что происходило вокруг. Двое или трое спрыгнули на землю и опустили на колени возле меня. Один из них приподнял мою голову и приложил руку мне к сердцу.

— Порядок, ребята! — вскричал он. — Сердце еще бьется!

Потом мне в рот влили немного бренди. Это придало мне сил, я сумел шире открыть глаза и осмотреться. Между деревьями перемещались огни и тени, перекликались голоса. Люди собирались в кучу, издавая испуганные восклицания; но вот, под вспышки факелов, все повалили, как одержимые, за кладбищенские ворота. Те, кто был рядом со мной, в волнении спрашивали подъезжавших:

— Ну, нашли его?

Те отвечали поспешно:

— Нет! Нет! Давайте быстрее убираться, нечего нам тут делать, особенно в такую ночь!

— Что это было? — Этот вопрос повторялся на множество ладов.

Ответы звучали разнообразные, однако все неопределенные, словно какой-то общий импульс подталкивал людей к разговору, но общий же страх не давал им высказать свои мысли.

— Ни... ничего себе! — бормотал один военный, которому явно отказывал рассудок.

— И волк — и не волк, — добавил другой содрогаясь.

— Что толку в него стрелять, если нет освященной пули, — заметил третий более спокойным тоном.

— Поделом нам, нечего было шлаться в такую ночь! А уж свою тысячу марок мы честно заработали! — восклицал четвертый.

— Там кровь на расколотом мраморе, — заметил другой после короткой паузы, — не молнией же ее туда занесло. А он-то цел? Посмотрите на его горло! Ребята, а ведь волк лежал на нем и согревал его кровь!

Офицер взглянул на мое горло и ответил:

— С ним все в порядке, на коже ни царапины. Что бы это значило? Нам бы ввек его не найти, если бы волк не затыкал.

— А где он сейчас? — спросил человек, державший мою голову. Он, казалось, меньше других поддавался панике, руки у него не дрожали. На его рукаве был нашит шеврон младшего офицера.

— Убрался восвояси, — ответил военный с худым бледным лицом. Он испуганно оглядывался, буквально трясаясь от страха. — Здесь достаточно могил, куда можно залечь. Прочь отсюда, ребята, прочь из этого проклятого места!

Офицер поднял и усадил меня, потом прокричал слова команды; несколько человек взгромоздили меня на лошадь. Офицер вспрыгнул в седло, обхватил меня руками, скомандовал: «Вперед!», и мы, развернувшись спиной к кипарисовой роще, по-военному быстро поскакали прочь.

Язык все еще отказывался мне повиноваться, и я был принужден молчать. Должно быть, я заснул; дальше мне вспоминается, что я стою, а солдаты поддерживают меня с двух сторон. Заря уже занялась, и на севере, на снежном полотне, лежала красная полоса отраженного солнечного света, напоминавшая кровавый след. Офицер говорил с солдатами, приказывая им молчать об увиденном и говорить только, что они подобрали незнакомого англичанина, которого охраняла большая собака.

— Собака! Как бы не так, — вмешался человек, который так отчаянно трусил, — уж волка-то я отличу с первого взгляда.

— Я сказал — собака, — невозмутимо повторил молодой офицер.

— Собака! — произнес другой с иронией. Видно было, что вместе с восходом солнца к нему возвра-

щается храбрость. Указав на меня, он добавил: — Посмотрите на его горло! Собака могла это сделать, как по-вашему, господин капитан?

Инстинктивно я схватился за горло и вскрикнул от боли. Все сгрудились вокруг и смотрели, некоторые спешились. И снова раздался спокойный голос молодого офицера:

— Собака, и нечего спорить. Если мы будем говорить иначе, нас поднимут на смех.

Меня усадили в седло позади одного из рядовых, и вскоре мы достигли окрестностей Мюнхена. Здесь нам случайно повстречалась коляска, меня посадили в нее, и она покатила к «Quatre Saisons». Молодой офицер сел со мной в коляску, а рядовой сопровождал нас верхом. Остальные отправились в казармы.

Герр Дельбрюк так стремительно бросился вниз по ступенькам мне навстречу, что я понял: он ждал меня, глядя в окно. Он бережно подхватил меня под руки и ввел в дом. Офицер отсалютовал мне и направился было к выходу, но я настойчиво стал приглашать его к себе в комнату. За стаканом вина я тепло поблагодарил гостя и его храбрых товарищей за свое спасение. Он ответил просто, что рад быть полезным и что герр Дельбрюк с самого начала предпринял все, дабы участники экспедиции были довольны. Метрдотель сопроводил это двусмысленное высказывание улыбкой. Сославшись на служебные обязанности, офицер удалился.

— Объясните, герр Дельбрюк, — спросил я, — как случилось, что вы послали солдат искать меня?

Он пожал плечами, как бы умаляя свои заслуги, и ответил:

— Я, к счастью, получил разрешение от командира полка, в котором прежде служил, нанять там добровольцев.

— Но как вы узнали, что я заблудился?
— Кучер вернулся с остатками разбитой коляски. Она опрокинулась, когда лошади понесли.

— Но вы ведь не из-за этого послали солдат на поиски?

— Нет-нет! Еще до того, как вернулся кучер, я получил эту телеграмму от дворянина, у которого вы гостили.

Он вынул из кармана телеграмму и протянул мне. Я прочел:

«Бистрица.

Позаботьтесь о моем госте: его безопасность для меня весьма драгоценна. Произойдет с ним что или пропадет он из виду — ничего не жалейте, только бы он остался цел. Он англичанин, а значит — искатель приключений. Снег, волки, ночь — все может обернуться бедой. Не теряйте ни минуты, если заподозрите неладное. Ваше усердие будет вознаграждено.

Дракула».

Я сжал в руке телеграмму, и мне показалось, что комната начала стремительно кружиться. Если бы внимательный метрдотель не подхватил меня, я рухнул бы на пол. Происшедшее представилось мне не просто странным, но столь таинственным и неподвластным уму, что я вдруг почувствовал себя игрушкой потусторонних сил, и сама эта смутная мысль парализовала мою волю. Я, несомненно, находился под чьим-то загадочным покровительством. Из отдаленной страны как раз в нужную минуту пришло послание, спасшее меня от гибели в снежном сне или в волчьей пасти.

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд

ИБО КРОВЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ

Мы обедали на закате, расположившись на верху старой башни, — там прохладнее всего даже в самые знойные летние дни, кроме того, трапезничать рядом с маленькой кухней, занимающей угол обширной квадратной площадки, удобнее, чем носить блюда вниз по крутой каменной лестнице, изъеденной временем и местами разбитой. Башня эта — одна из многих, возведенных вдоль западного побережья Калабрии императором Карлом V для отражения набегов берберийских пиратов в начале шестнадцатого века, в ту пору, когда неверные объединились с Франциском I против императора и Церкви. Ныне эти цитадели обращаются в руины, лишь немногие еще уцелели, и моя — одна из самых крупных. Каким образом она десятилетие назад перешла в мою собственность и почему я ежегодно провожу в ней часть своего времени, не имеет значения для рассказываемой ниже истории. Башня находится в одном из самых уединенных уголков на юге Италии, на краю изогнутого скалистого мыса, образующего маленькую, но надежную естественную гавань в южной оконечности залива Поликастро, чуть севернее мыса Скалеа, на котором, согласно старинной местной легенде, родился Иуда Искарот. Она одиноко высится на этой серповидной каменной шпоре; ни единого

строения не видно на расстоянии трех миль вокруг. Когда я отправляюсь туда, то беру с собой двух матросов, один из которых — превосходный кок; а во время моего отсутствия за башней присматривает гномоподобный человечек, бывший некогда горнорабочим и состоящий при мне уже очень давно.

Иногда меня в моем летнем уединении навещает друг — выходец из Скандинавии, художник по роду занятий и, в силу обстоятельств, космополит по образу жизни.

Итак, мы обедали на закате; заходящее солнце вспыхивало и снова бледнело, окрашивая в пурпурные тона протяженную горную цепь, окаймлявшую глубокий залив на востоке и становившуюся все выше и выше к югу. Становилось жарко, и мы пересели в обращенный к побережью угол площадки, ожидая, когда с низлежащих холмов подует вечерний бриз. Воздух, утратив дневные краски, на короткое время стал сумрачно-серым; из-за открытой двери кухни, где ужинали слуги, струился желтый свет лампы.

Затем над гребнем мыса неожиданно взошла луна, залившая своими лучами площадку и озарившая каждый каменный выступ и каждый травянистый бугорок внизу, вплоть до самой границы берега и недвижимой воды. Мой друг раскурил трубку и сел, устремив взгляд в некую точку на склоне холма. Я знал, куда он глядит, и давно гадал, увидит ли он там что-нибудь, способное привлечь его внимание. Сам-то я хорошо знал это место. Было заметно, что в конце концов он заинтересовался, хотя прошло немало времени, прежде чем он заговорил. Подобно большинству живописцев, мой друг полагается на собственное зрение так же, как лев полагается на свою силу или олень — на свою быстроту, и потому

всегда смущается, если не может согласовать увиденный образ с тем, что, по его мнению, он *должен был* увидеть.

— Это странно, — сказал он. — Видишь вон тот холмик по эту сторону валуна?

— Да, — ответил я и догадался о том, что последует дальше.

— Похож на могильный, — заметил Холджер.

— Совершенно верно. Он похож на могильный.

— Да, — продолжал мой друг, по-прежнему пристально глядя на пятно. — Но странно, я вижу тело, лежащее наверху. Конечно, — сказал Холджер, по обыкновению художников склонив голову набок, — это наверняка оптический обман. Прежде всего, это вообще не могила. Во-вторых, будь это могилой, тело находилось бы внутри нее, а не снаружи. Следовательно, это световой эффект, создаваемый луной. Ты не видишь тела?

— Превосходно вижу, как и в любую лунную ночь.

— Кажется, оно тебя не слишком интересует, — произнес Холджер.

— Напротив, интересует, хотя я успел привыкнуть к нему. Ты, однако, недалек от истины. Там действительно могила.

— Не может быть! — недоверчиво воскликнул Холджер. — Полагаю, сейчас ты скажешь, что наверху и в самом деле лежит труп!

— Нет, — ответил я. — Это не так. Я точно знаю, поскольку дал себе труд спуститься туда и посмотреть.

— И что же это? — спросил Холджер.

— Ничто.

— Ты хочешь сказать, что это световой эффект, так?

— Возможно. Однако в нем есть нечто, чего нельзя объяснить: этот эффект не зависит от того, восходит луна или заходит, прибывает или убывает. Если на востоке, или западе, или прямо над головой светит луна, то в ее сиянии всегда видны очертания тела на вершине холмика.

Холджер острием ножа перемешал табак в трубке и прикрыл чашу большим пальцем. Когда трубка разгорелась ярче, он встал с кресла.

— Если не возражаешь, — произнес он, — я спущусь и взгляну.

Он оставил меня, пересек площадку и скрылся в темноте лестницы. Я не двинулся, но сидел, глядя вниз, и видел, как мой друг вышел из башни. Я слышал, как он мурлыкает старую датскую песенку, пересекая в ярком свете луны открытое место и направляясь прямоиком к таинственной могиле. Оказавшись в десяти шагах от нее, Холджер на миг остановился, сделал еще пару шагов вперед, а затем три-четыре шага назад и вновь замер. Я понял, что это значит. Он достиг того места, где Нечто переставало быть видимым, где, как сказал бы мой друг, менялся световой эффект.

Затем он двинулся дальше, подошел к холмику и остановился. Я по-прежнему видел Нечто, но оно уже не лежало, как раньше, а стояло на коленях, обхватив своими белыми руками торс Холджера и обратив взор к его лицу. Легкое дуновение ветра шевельнуло мои волосы в тот момент, когда с холмов начала спускаться ночная прохлада, однако в этом движении воздуха мне почудилось дыхание иного мира.

Казалось, Нечто пытается подняться на ноги, уцепившись за Холджера, который меж тем стоял, явно не чувствуя этого и глядя на башню, выглядя-

щую особенно живописной, когда луна освещает ее с той стороны.

— Возвращайся! — крикнул я. — Не стой там всю ночь!

Мне показалось, что, отходя от холмика, он движется неохотно или с трудом. Причиной было Оно. Нечто продолжало обхватывать руками талию Холджера, но не могло ступить за край могилы. Когда мой друг медленно пошел прочь, за ним потянулось и окружило кольцом что-то вроде тумана, белого и тонкого; одновременно я отчетливо увидел, что Холджер поежился, словно от холода. В тот же миг ветер донес до моего слуха короткий возглас, полный боли, — возможно, это был крик небольшой совы, угнездившейся в скалах, — и затем кольцо тумана вокруг Холджера разорвалось, плавно заскользило обратно и расплосталось, как прежде, поверх холмика.

Холодное дуновение ветра вновь коснулось моих волос, но в этот раз я почувствовал еще и ледяной ужас, от которого у меня по спине пробежала дрожь. Я хорошо помнил, что однажды спустился туда один в свете луны; что, приблизившись к этому месту, ничего не увидел; что, как и Холджер, я подошел к холмику вплотную; и я помнил также, как возвращался, убежденный, что там ничего нет, и внезапно ощутил уверенность, что, стоит мне обернуться, я все же обнаружу нечто; я сопротивлялся этому искушению как недостойному здравомыслящего человека до тех пор, пока, стремясь избавиться от него, не поежился так же, как Холджер.

И теперь я понял, что те белые туманные руки обнимали и меня, — понял в мгновение ока и содрогнулся, вспомнив, что тогда тоже слышал крик ночной совы. Но это не было криком совы. Это кричало Оно.

Я вновь набил трубку и наполнил бокал крепким южным вином. Минуту спустя Холджер уже вновь сидел напротив меня.

— Разумеется, там ничего нет, — сказал он, — но все равно мне как-то не по себе. Ты знаешь, когда я возвращался, я настолько отчетливо ощущал позади чье-то присутствие, что хотел обернуться и посмотреть. Мне с трудом удалось одолеть этот соблазн.

Он усмехнулся, вытряхнул пепел из своей трубки и налил себе немного вина. На некоторое время воцарилось молчание; луна поднималась все выше, а мы глядели на Нечто, лежавшее поверх холмика.

— Ты мог бы сочинить об этом историю, — произнес Холджер после продолжительной паузы.

— Она уже существует, — ответил я. — Если тебе не хочется спать, я расскажу ее.

— Давай, — согласился Холджер, который был любителем занимательных историй.

Старый Аларио умирал в деревне за горой. Ты, без сомнения, помнишь его. Поговаривали, что он нажил состояние, сбывая фальшивые драгоценности в Южной Америке, и сбежал, прихватив деньги, когда мошенничество было раскрыто. Подобно всем малым такого рода, вернувшимся с деньгами, он незамедлительно занялся расширением своего дома, и, поскольку здесь не было каменщиков, послал в Палоу за двумя рабочими. Ими оказалась пара мерзавцев грубоватой наружности — одноглазый неаполитанец и сицилиец со старым шрамом в полдюйма глубиной, пересекавшим его левую щеку. Я часто видел их, так как по воскресеньям они обычно спускались сюда и рыбачили, сидя на выступавших из воды

камнях. Когда Аларио охватила лихорадка, которая затем свела его в могилу, каменщики еще были заняты работой. Поскольку было договорено, что частью причитавшейся им платы будут стол и кров, он оставлял их ночевать в доме. Аларио был вдовцом и имел единственного сына, который звался Анджело и вел много более достойную жизнь, чем его отец. Анджело предстояло жениться на дочери самого богатого жителя деревни, и, несмотря на то что брак был устроен родителями молодых, те, как ни странно, искренне полюбили друг друга.

Неудивительно, что Анджело был по сердцу всей деревне и, среди прочих, порывистому привлекательному созданию по имени Кристина, похожему на цыганку больше, чем любая другая девушка, когда-либо виденная мною в этих местах. У нее были ярко-алые губы и черные волосы, грация гончей и дьявольски острый язык. Но Анджело не обращал на нее никакого внимания. Он был простоватый малый, совершенно отличный от своего старого мошенника-отца, и в обычных обстоятельствах он, я уверен, никогда не взглянул бы на какую-либо другую девушку, кроме той милой толстушки с солидным приданым, которую отец определил ему в жены.

С другой стороны, один молодой и весьма недурной собой пастух с гор над Маратеей был влюблен в Кристину, кажется не питавшую к нему ответного чувства. Кристина не имела постоянных средств к существованию, но она была прилежной девушкой, охочей до любой работы и готовой отправиться с поручением сколь угодно далеко за буханку хлеба или чечевичную похлебку и возможность ночевать не под открытым небом. Она бывала особенно рада, когда ей доводилось делать что-либо возле дома от-

ца Анджело. В деревне не было лекаря, и когда соседи увидели, что старик Аларио при смерти, то послали Кристину в Скалеа за доктором. Это было уже в конце дня, и если они и прибегли к этой чрезвычайной мере слишком поздно, то лишь потому, что умирающий скряга отказывался от нее до тех пор, покуда не утратил речь. Пока Кристина находилась в пути, положение больного резко ухудшилось, к его изголовью был призван священник, который, прочтя отходную молитву, заявил собравшимся, что, по его мнению, старик уже мертв, и оставил дом.

Ты знаешь здешних жителей. При встрече со смертью они испытывают физический ужас. Пока священник не заговорил, комната была полна людей. Едва слова слетели с его уст, она опустела. В наступившей ночи люди торопливо спустились по темным ступеням лестницы и покинули жилище Аларио.

Анджело, как я уже говорил, отсутствовал, Кристина еще не вернулась; служанка, которая ухаживала за больным, сбежала вместе с остальными, и тело осталось одиноко лежать в мерцающем свете масляной лампы.

Пятью минутами позже два человека опасливо заглянули внутрь комнаты и затем прокрались к кровати. Это были одноглазый неаполитанский каменщик и его напарник сицилиец. Они знали, что ищут. В мгновение ока они вытащили из-под кровати окованный железом сундук, маленький, но тяжелый, и задолго до того, как кто-либо решился вернуться в комнату, где лежало тело покойного, эти двое покинули дом и деревню, растворившись во мраке. Сделать это было довольно легко, так как жилище Аларио было последним перед ущельем, которое ведет сюда, к берегу, и воры просто-напросто

вышли через черный ход, перелезли через каменную стену и оказались в безопасности — исключая разве что возможность встретить какого-нибудь запоздалого сельчанина, что было крайне маловероятно, ибо редко кто пользуется этой тропой. У них были мотыга и лопата, и они проделали свой путь без происшествий.

Я излагаю тебе эту часть событий в том виде, в каком они, вероятно, происходили, — свидетелей этому, разумеется, нет. Воры пронесли сундук через ущелье, намереваясь закопать его на берегу во влажном песке, где он мог бы долгое время покоиться в целости и сохранности. Но бумага неизбежно пришла бы в негодность, оставь они ее там надолго, поэтому они стали копать возле этого валуна. Да, как раз там, где ты видишь холмик.

Доктора Кристина в Скалеа не нашла — он был отозван в долину, в местечко на полпути к Сан-Доменико. Если бы она застала его, они могли бы добраться до деревни верхом на его муле по верхней дороге, более длинной, но не такой крутой. Однако Кристина избрала короткий путь через скалы, который проходит футах в пятидесяти над холмиком и огибает вон тот уступ. Те двое как раз рыли яму, когда она следовала мимо, и девушка услышала шум. Кристина не могла не остановиться, чтобы выяснить его источник, — она ничего на свете не боялась, а кроме того, знала, что время от времени здесь ночной порой пристают к берегу рыбаки, которые ищут подходящий камень для якоря или сухие ветки для костра. Ночь стояла темная, и, возможно, Кристина оказалась слишком близко к тем двоим, прежде чем смогла увидеть, что они делают. Она их, конечно, узнала, и они тоже узнали ее и в мгновение ока сообразили, что находятся в ее влас-

ти. Злоумышленники могли сохранить свою тайну лишь одним способом, к которому и прибегли. Они ударили девушку по голове, вырыли глубокую яму и быстро зарыли тело вместе с окованным железом сундуком. Они, вероятно, понимали, что смогут избежать подозрений, только если вернуться в деревню раньше, чем их отсутствие будет замечено; вот почему они немедленно устремились назад и полчасика спустя были найдены мирно беседующими с человеком, который изготавливал для Аларио гроб. Он был их дружкой и прежде занимался ремонтом в доме старика. Насколько я могу судить, единственными людьми, знавшими, где Аларио хранил свое сокровище, были Анджело и старая служанка, о которой я упоминал прежде.

Нетрудно понять, почему никто больше не знал, где находятся деньги. Старик держал дверь запертой, ключ, уходя, уносил с собой и не позволял служанке прибираться в комнате в его отсутствие. Вся деревня, однако, знала, что он где-то хранил деньги и что каменщики, вероятно, обнаружили местонахождение ящика, проникнув в комнату через окно, когда Аларио не было дома. Не будь старик в бреду, до того как потерял сознание, он, несомненно, трясся бы за свое богатство. Верная служанка забыла о деньгах лишь на короткое время, когда удалилась из комнаты вместе с другими, охваченная ужасом при виде смерти. Не прошло и двадцати минут, как она вернулась с двумя отвратительного вида старухами, которых всегда призывали, когда требовалось приготовить умершего к погребению. Даже тогда ей не сразу хватило духу приблизиться к постели, однако она сделала вид, будто что-то уронила, опустилась на колени и заглянула под кровать. На фоне недавно побеленной стены она сразу увидела, что сундук ис-

чез. Днем он еще находился на месте и, следовательно, был украден вскоре после того, как она покинула комнату.

В деревне нет карабинеров, нет даже сторожа, поскольку нет местного самоуправления. Полагаю, там никогда не было чего-либо подобного. Чтобы вызвать кого-нибудь из Скалеа, потребовалась бы пара часов. Старая служанка прожила в деревне всю свою жизнь, и ей ни разу не случалось обращаться за помощью к представителям власти. Она просто ударилась в плач и побежала в темноте через деревню, крича, что дом ее покойного хозяина ограблен. Многие сельчане выглядывали из своих окон, но поначалу никто не выказывал готовности прийти ей на выручку. Большинство из них, судя о ней по себе, шептались друг другу, что, вероятно, она сама и украла деньги. Наконец заговорил отец девушки, которой предстояло стать женой Анджело; собрав вокруг себя всех своих домочадцев, лично заинтересованных в богатстве, которое должно было достаться их семье, он заявил, что, по его мнению, сундук украли два пришлых каменщика, живших в доме. Он возглавил их поиски, которые, разумеется, начались с дома Аларио, а закончились в плотницкой мастерской, где воры были найдены распивающими с хозяином вино над недоделанным гробом при свете единственной глиняной лампы, наполненной маслом и жиром. Искавшие тут же обвинили каменщиков в преступлении и пригрозили запереть их в винном погребе до тех пор, пока из Скалеа не придут карабинеры. Те двое обменялись быстрыми взглядами, загасили лампу, схватили стоявший между ними гроб и, используя его в качестве тарана, ринулись в темноте на своих противников. В несколько мгновений они исчезли из виду.

Так оканчивается первая часть этой истории. Со-кровище исчезло бесследно, из чего жители деревни сделали вывод, что воры преуспели в своем пред-приятии. Старика похоронили, и, когда Анджело на-конец вернулся, он занял денег, дабы оплатить скромную заупокойную службу, что оказалось не со-всем просто. Он ясно понимал, что с потерей наслед-ства потерял и свою невесту. В этих краях браки основываются на строгих деловых принципах, и, ес-ли оговоренная сумма не вносится в назначенный день, невеста или жених, чьи родители отказались от платежа, должны быть готовы отказаться и от своих брачных притязаний. Бедный Анджело хоро-шо знал это. Его отец едва ли владел какой-либо землей, и теперь, когда деньги, вывезенные Аларио из Южной Америки, пропали, не осталось ничего, кроме долгов за строительные материалы, которые пошли на расширение и усовершенствование ста-рого дома. Анджело был на пороге нищеты, и та ми-лая толстушка, которая должна была стать его же-ной, при виде его надменно вздернула носик. Что до Кристины, прошло несколько дней, прежде чем об-наружилось ее исчезновение, — поначалу никто не вспомнил, что ее послали в Скалеа за доктором, ко-торый так и не прибыл. Она нередко отсутство-вала несколько дней кряду, если находила работу на какой-нибудь отдаленной ферме в горах. Но ко-гда ее отсутствие затянулось, сельчане стали дивить-ся этому и в конце концов заключили, что она была в сговоре с каменщиками и сбежала вместе с ними.

Я сделал паузу и осушил свой бокал.

— Такого рода вещи не могут произойти в ка-ком-либо другом месте, — заметил Холджер, снова набивая свою неизменную трубку. — Удивительно,

каким естественным очарованием окружены убийство и внезапная смерть в подобной романтической стране. События, которые выглядели бы всего-навсего жестокими и отвратительными, случись они где-нибудь еще, воспринимаются нами как драматичные и таинственные, потому что это — Италия и мы живем в настоящей башне Карла Пятого, построенной для защиты от берберийских пиратов.

— В этом что-то есть, — согласился я.

В глубине души Холджер — самая романтическая натура в мире, но всегда считает необходимым объяснить, почему он чувствует то или иное.

— Полагаю, тело несчастной девушки было обнаружено вместе с ящиком, — сказал он, помолчав.

— Кажется, ты заинтересовался этой историей, — произнес я в ответ. — Что ж, я расскажу тебе ее окончание.

Тем временем луна поднялась еще выше, и загадочный силуэт на верху холма стал еще отчетливее, чем прежде.

Очень скоро деревня вновь погрузилась в прежнюю размеренную жизнь. Никто не скучал по старому Аларио — тот провел в Южной Америке так много времени, что считался едва ли не чужаком в своем родном краю. Анджело жил в наполовину перестроенном доме, покинутый престарелой служанкой, которой он больше не мог платить; впрочем, в память о прежней службе у его отца она все же изредка приходила постирать ему рубашку. Помимо дома, он унаследовал маленький клочок земли в некотором удалении от деревни; Анджело, как мог, возделывал его, но душа юноши не лежала к сельскому труду, ибо он знал, что никогда не сможет платить налоги и за землю, и за дом, который, несомненно, будет конфис-

кован властями или арестован вследствие неуплаты долга за строительные материалы, которые поставивший их человек отказался забрать назад.

Анджело был глубоко несчастен. Когда его отец был жив и богат, каждая девушка в деревне была влюблена в него, но теперь все изменилось. В прошлом юноша с удовольствием принимал от окружающих знаки льстивого восхищения, его не раз зазывали выпить вина отцы, имевшие дочерей на выданье; ныне же он с тяжелым чувством ловил на себе неприветливые взгляды и порой слышал насмешки над тем, что потерял свое наследство. Он стряпал себе скудную еду и постепенно погружался в меланхолию и мрачное уныние.

По вечерам, когда замирали дневные заботы, он, вместо того чтобы околачиваться со своими молодыми сверстниками в окрестностях местной церкви, искал уединения на окраине деревни, где оставался вплоть до наступления темноты. Тогда он крадучись возвращался домой и ложился в постель, дабы сократить расходы на свет. Но в те одинокие сумеречные часы он начал видеть странные сны наяву. Он уже не всегда был один, ибо часто, сидя на каком-нибудь пне, там, где узкая тропка ведет в ущелье, он, без сомнения, видел женщину, бесшумно, как если бы она была босая, двигавшуюся над неровной грядой камней; она останавливалась под купой каштановых деревьев всего лишь в нескольких ярдах от Анджело и манила его к себе, не говоря, однако, ни слова. Хотя она находилась в тени, он знал, что у нее алые губы и что, когда ее рот слегка приоткрывается в улыбке, обнажаются два маленьких острых зуба. Он знал это раньше, чем увидел воочию, и знал также, что это Кристина и что она мертва. Однако он не боялся; он лишь спрашивал себя, не сон ли

это, ибо думал, что если это происходит наяву, то ему следовало бы бояться.

Кроме того, у мертвой были алые губы, а такое могло быть только во сне. Всякий раз, когда Андже-ло оказывался возле ущелья после захода солнца, она уже ожидала его там или появлялась вскоре после его прихода, и он уже почти уверился, что у нее кроваво-красный рот. Наконец все черты ее сделались отчетливо видны, и с бледного лица на него обратился глубокий взгляд голодных глаз.

Глаза-то его и манили. Мало-помалу Анджело понял, что однажды видение не исчезнет, когда он повернется, чтобы уйти домой, а поведет его в ущелье, из которого возникло. Она была ближе сейчас, когда манила его. Ее щеки были не мертвенно-бледными, какими обыкновенно бывают щеки покойника, но впалыми от голода, неистового и неуголенно-го физического голода, которым горели ее глаза. Эти глаза пожирали его, проникали в самую душу, околдовывали и в конце концов приблизились к его глазам и завладели им всецело. Он не смог бы сказать, было ее дыхание горячим как огонь или же холодным как лед, воспалялись ли его губы от прикосновения ее алых губ или замерзали, оставляли ее пальцы следы ожогов на его запястьях или поражали холодом; он не смог бы сказать, бодрствовал он или спал, живой она была или мертвой, — но он знал, что она любила его, единственная из всех земных и неземных существ, и что ее чары имеют над ним необоримую власть.

Когда луна в ту ночь поднялась высоко, призрачная тень на могильном холме внизу была уже не одна.

Анджело пробудился на рассвете, сплошь покрытый утренней росой и продрогший до самых костей.

Он открыл глаза и увидел, что в вышине еще сияют звезды. Он ощущал сильную слабость, его сердце билось так медленно, что он был едва не на грани обморока. Осторожно он повернул голову, покоившуюся на земляном возвышении, словно на подушке, но ничьего лица рядом не увидел. Внезапно его охватил страх, неведомый и невыразимый; Анджело вскочил и бегом устремился в ущелье — и не оборачивался до тех пор, пока не достиг двери первого дома на краю деревни.

В унынии он принялся за дневную работу, и томительные часы потянулись за движением солнца, пока оно, коснувшись моря, не опустилось за горизонт, а остроконечные горы над Маратеей не окрасились пурпуром на фоне сизого восточного неба. Тогда Анджело взвалил на плечо тяжелую мотыгу и покинул поле. Он чувствовал себя не таким обессиленным, как утром, когда только приступил к работе, но дал зарок, что отправится домой, не задерживаясь в ущелье, приготовит себе наилучший ужин, на который способен, и проведет всю ночь в постели, как и полагается доброму христианину. На этот раз его не совратит с пути призрак с алыми губами и ледяным дыханием и он не отдастся во власть сна, полного ужаса и наслаждения. Он уже находился вблизи деревни; прошло полчаса с того момента, как закатилось солнце, и надтреснутый голос церковного колокола отзывался расстроенным эхом над скалами и ущельями, возвещая честному люду об окончании дня. Анджело на мгновение задержался на развилке тропы, от которой налево шел путь к деревне, а направо — вниз в ущелье, там, где кроны каштановых деревьев нависали над узкой дорогой. Он постоял с минуту, сняв свою поношенную шляпу и глядя на море, стремительно темневшее на

западе; его губы беззвучно повторяли привычную вечернюю молитву. Губы шевелились, но последующие, еще не произнесенные слова молитвы постепенно утрачивали в его сознании свой смысл и обращались в другие — и наконец увенчались именем, сказанным вслух: Кристина! Когда он выдохнул это имя, напряжение, в котором пребывала его воля, неожиданно ослабло, реальность исчезла, прежний сон опять завладел им и повлек, словно лунатика, все дальше и дальше по крутой тропинке в сгущавшуюся тьму. И скользившая подле него Кристина шептала странные, нежные слова в самое ухо Андже-ло, — слова, которых он, бодрствуя, ни за что бы не понял; но сейчас они казались ему самым чудесным, что он когда-либо слышал. Затем она поцеловала его, но не в губы. Он почувствовал ее острые поцелуи на своем горле и знал, что ее рот алеет от крови. Безумный сон простерся над сумраком, темнотой, восходом луны и великолепием летней ночи. Но в рассветном холоде Анджело уже лежал, словно полумертвый, на верху могильного холмика, то приходя в себя, то вновь впадая в забытие, истекая кровью, однако странным образом желая вновь ощутить прикосновение алых губ. Затем его одолел страх, невыразимый, смертельный, панический ужас, стерегущий границы мира, которого мы не видим и о котором ничего доподлинно не знаем, но который ощущаем, когда его холод леденит все наши члены и волосы шевелятся на голове от прикосновения призрачной руки. С наступлением дня Анджело вновь прыгнул с могилы и направился через ущелье к деревне, однако теперь его шаг был менее уверенным и он задыхался, так, словно бежал. И когда он достиг прозрачного ручья, струившегося на полпути к холмам, он упал на четвереньки, окунул лицо

в воду и принялся пить так жадно, как никогда не пил прежде, — то была жажда раненого человека, который целую ночь пролежал, истекая кровью, на поле боя.

Отныне Кристина крепко держала его, он не мог от нее спастись и вынужден был приходить к ней каждый вечер на закате до тех пор, пока не лишится последней капли своей крови. Напрасны были его попытки избрать для возвращения другую дорогу и направиться домой по тропе, которая не проходит вблизи ущелья. Напрасны были обещания, которые он каждое утро давал самому себе, совершая на рассвете свой одинокий путь от побережья до деревни. Все было напрасно, ибо, как только пылающее солнце опускалось за горизонт и вечерняя прохлада являлась из своих потайных мест на радость утомленному миру, ноги сами обращали Анджело на прежний путь, к тому месту, где его ожидала она, стоя в тени каштанов; и затем все повторялось, и она прямо на ходу целовала его горло, обвив юношу одной рукой и легко скользя по тропинке. И, по мере того как кровь в его теле убывала, Кристина становилась все более голодной и с каждым днем испытывала все большую жажду, и с каждой новой зарей ему было все труднее заставить себя одолеть крутую тропу, ведущую к деревне; когда же он приступал к работе, то тяжело волочил ноги, а рукам его едва хватало сил, чтобы управляться с тяжелой мотыгой. Он теперь редко с кем-нибудь разговаривал, и люди утверждали, что он «чахнет» от любви к девушке, с которой был помолвлен перед тем, как потерял свое наследство, и, не будучи излишне романтическими натурами, от души смеялись при мысли об этом.

Тем временем Антонио, человек, который приглядывает за моей башней, вернулся из поездки к

родственникам, живущим в окрестностях Салерно. Он уехал, когда Аларио был еще жив, и ничего не знал о том, что случилось в деревне. Антонио говорил мне, что вернулся во второй половине дня и заперся в крепости, желая поесть и поспать, так как очень устал в дороге. Уже минула полночь, когда он проснулся; выглянув наружу и посмотрев в направлении насыпи, он увидел там Нечто и более уже не смыкал глаз в ту ночь. Когда утром он вновь обратил взгляд в ту сторону, то в ярком свете дня не обнаружил на холме ничего, кроме камней и песка. Тем не менее он не осмелился приблизиться к этому месту, а напрямик направился в деревню к дому старого священника.

— Я видел нечто злое этой ночью, — сказал он. — Я видел, как мертвец пил кровь живого человека, и эта кровь придала ему жизни.

— Расскажите мне, что именно вы видели, — попросил его священник.

Антонио подробно описал ему сцену, свидетелем которой стал ночью.

— Вы должны взять служебник и святую воду нынче вечером, — добавил он. — Я приду перед закатом, чтобы отправиться туда вместе с вами, и, если вашему преподобию угодно отужинать со мной, пока мы будем ждать, я все приготовлю для этой цели.

— Я пойду с вами, — отвечал священник, — ибо я читал в старинных книгах об этих странных созданиях, которые не являются ни живыми, ни мертвыми и лежат, не подвергаясь тлению, в своих могилах, выскальзывая оттуда на закате, чтобы вкусить жизни и крови.

Антонио не умел читать, но обрадовался, увидев, что священник понял суть дела; ибо книги, несо-

мненно, должны были подсказать наилучший способ навсегда утихомирить это полуживое-полумертвое существо.

Итак, Антонио вернулся к своей работе, которая, когда он не удил рыбу, забравшись с леской на какой-нибудь камень и безуспешно пытаясь что-нибудь поймать, заключалась в основном в сидении на затененной стороне башни. Но в этот день он дважды отправлялся взглянуть на пресловутый холм в ярком солнечном свете и кругами ходил вокруг него, ища какую-нибудь нору, через которую существо могло выходить наружу и вновь скрываться под землю; однако он ничего не обнаружил. Когда солнце начало садиться, а воздух в тенистых местах стал делаться все холоднее, Антонио отправился за священником, взяв с собой небольшую плетеную корзину; в нее они положили бутылку со святой водой, чашку, кропило и необходимый священнику епитрахиль; затем добрались до башни и остановились у ворот ждать наступления темноты. Но еще когда дневной свет медленно превращался в серые сумерки, они увидели нечто движущееся прямо вон там. Их взорам предстали две фигуры — бредущий мужчина и женщина, которая бесшумно скользила рядом с ним, положив голову ему на плечо и целуя его в шею. Об этом мне рассказал священник, равно как и о том, что зубы его стучали и он схватил Антонио за руку. Видение проследовало мимо и растворилось в сумерках. Тогда Антонио достал кожаную флягу с крепким ромом, которую держал для особых случаев, и сделал такой глоток, который заставил старика вновь почувствовать себя едва ли не юношей; он помог священнику надеть епитрахиль, дал ему святую воду, и они направились туда, где им предстояло свершить их дело. Антонио говорит, что, несмотря

на выпитое, его колени дрожали, а священник запи-
нался, бормоча свою латынь. Ибо когда они оказа-
лись в нескольких ярдах от могилы, мерцающий
свет фонаря упал на белое лицо Анджело, безмятеж-
ное, как если бы он пребывал во сне, и на его горло,
из которого очень тонкая красная струйка крови
сбегала на воротник; этот мерцающий свет выхватил
из темноты и другое лицо, которое оторвалось от
своего пиршества, озарил глубокие мертвые глаза,
вопреки смерти наделенные взглядом, полуоткры-
тый, неестественно алый рот и два блестящих зуба,
на которых сверкали розовые капли. Тогда священ-
ник, старый добрый человек, плотно смежил веки и
окропил перед собой святой водой, и его сорвавший-
ся голос превратился почти что в крик. Затем Ан-
тонио, который, что ни говори, все же не робкого
десятка, поднял одной рукой кирку, а другой — фо-
нарь и прыгнул вперед, не представляя, что из это-
го получится; и тотчас после он, по его уверению,
услышал женский крик, и Нечто исчезло, а Анджело
остался лежать на холме без сознания, с красной
полосой на горле и предсмертной испариной на хо-
лодном лбу. Они подняли его, полумертвого, и по-
ложили на землю неподалеку, после чего Антонио
принялся за работу, а священник помогал ему, не-
смотря на старость и слабость. Они выкопали глу-
бокую яму, и наконец Антонио, стоя на дне могилы,
наклонился, держа в руке фонарь, готовый увидеть
все, что угодно.

У него были темно-каштановые волосы с седыми
прядями у висков; прежде чем минул месяц с того
страшного дня, он поседел как лунь. В юности он был
горнорабочим; большинство этих малых во время не-
счастливых случаев сталкивается с ужасными зрели-
щами, но он никогда не видел того, что увидел в ту

ночь, — существа, которое не было ни живым, ни мертвым, ни жителем земли, ни обитателем могилы. Антонио принес с собой кое-что, чего не заметил священник, — острый кол, выточенный из старой плотной древесины. Этот кол был с ним, когда он спустился в могилу. Я не знаю такой силы, которая могла бы заставить его рассказать, что произошло потом, а священник был слишком напуган, чтобы смотреть. Он говорит, что слышал, как Антонио дышит, словно дикий зверь, и двигается в яме так, будто борется с чем-то столь же сильным, как и он сам; он слышал также некий зловеющий звук, словно что-то с трудом проходило сквозь плоть, — и затем донесся самый ужасный звук — пронзительный женский крик, потусторонний крик женщины, которая не была ни живой, ни мертвой, но погребенной много дней назад. Бедный старый священник мог только трястись от страха и, упав на колени, громко читать молитвы и выкрикивать заклинания, чтобы заглушить эти ужасающие звуки. Внезапно из ямы вылетел маленький, окованный железом сундук и, перекувырнувшись, упал к ногам священника, а спустя мгновение показался Антонио; его лицо было таким же белым, как жир в мерцающем свете фонаря, он в неистовой спешке принялся стребать песок и камни в могилу до тех пор, пока она не наполнилась до середины; по словам священника, руки и одежда Антонио были сплошь покрыты свежей кровью.

Я окончил рассказ. Холджер допил вино и откинулся на спинку кресла.

— Стало быть, Анджело получил свое наследство назад, — сказал он. — А женился ли он на той полненькой жеманной особе, с которой был обручен?

— Нет; случившееся вселило в него глубокий страх перед женщинами. Он перебрался в Южную Америку, и с тех пор о нем ничего не известно.

— А тело несчастного создания все еще находится там, я полагаю, — произнес Холджер. — Интересно, оно теперь в самом деле мертво?

Меня это тоже интересовало. Но, будь это создание живым или мертвым, мне не хотелось бы его *увидеть* — даже при ярком дневном свете. Антонию, повстречавшись с ним, поседел как лунь и сделался после той ночи другим человеком.

КОММЕНТАРИИ

Джон Уильям Полидори
(*John William Polidori, 1795–1821*)

ВАМПИР (THE VAMPYRE)

Положившая начало вампирической теме в европейской беллетристике повесть Полидори была задумана в июне и написана в августе 1816 г. под впечатлением от устного рассказа Дж. Г. Байрона. Впервые напечатана в апреле 1819 г. в «Нью мансли мэгэзин» под именем Байрона; в том же году вышла в свет двумя отдельными изданиями — в Лондоне и Париже. Об истории создания повести и ее связи с неоконченным байроновским рассказом, публикуемым далее, см.: *Вацуро В.* Ненастное лето в Женеве, или История одной мистификации // Бездна: «Я» на границе страха и абсурда. (АРС: Российский журнал искусств. Темат. вып.). СПб., 1992. С. 36–48, а также вступительную статью в наст. книге. На русский язык «Вампир» впервые был переведен (вместе с байроновским отрывком) в 1828 г. П. В. Киреевским (републикацию обоих переводов см.: Бездна. С. 49–63). Из более поздних переводов этих произведений отметим также переводы С. Лихачевой, опубликованные в сб.: *Английская готическая проза: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 57–84; Английская готика: XIX век. Вампир. М.; СПб., 2002. С. 98–125, и А. Лещинского, включенные в кн.: Три старинные английские повести о вампирах. СПб., 2005. С. 78–109. (См. также: Полидори Дж. Вампир // Они появляются в полночь: Антология редкой литературы*

о вампирах. М., 1993. С. 21—45. — *Пер. А. В. Чикина.*) В настоящей антологии впервые публикуются новые переводы обоих сочинений, сделанные по текстам издания: «The Vampyre» and Other Tales of the Macabre / Ed. with an Introduction and Notes by R. Morrison and Ch. Baldick. Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 1997. Материалы комментария к этому изданию использованы в нижеследующих примечаниях.

С. 90. *Леди Мерсер... воспользовалась случаем и разве что не облачилась в шутовской наряд, дабы оказаться замеченной им... Даже ее беспримерное бесстыдство было посрамлено, и ей пришлось покинуть поле битвы.* — Подразумеваются леди Каролина Лэм (1785—1828), с 1805 г. жена Уильяма Лэма, виконта Мельбурна, и ее короткий, но бурный роман с Байроном весной—осенью 1812 г., за которым с ее стороны последовала череда скандальных домогательств и попыток вернуть именитого любовника. Полидори намекает на известный эпизод этой истории, имевший место 29 июля 1812 г., когда Каролина, почувствовав охлаждение Байрона, проникла к нему в дом, переодевшись пажом, и, получив отказ в приеме, попыталась заколоть себя, но в конце концов стараниями байроновских друзей и слуг была выдворена из покоев. В мае 1816 г. она выпустила в свет имевший шумный успех роман «Гленарвон», в главном герое которого — Кларенсе де Рутвене, лорде Гленарвоне — легко угадывались черты Байрона, а в одной из сюжетных линий — перипетии его любовной связи с Каролиной. Именно из этого романа Полидори заимствовал фамилию Рутвен, наделив ею главного героя своей повести, также имеющего явное портретное сходство с Байроном. В более поздних изданиях «Вампира» эта фамилия заменена на Стронгмор — очевидно, стремясь подчеркнуть свое авторство, Полидори старался сделать «байронические» ассоциации повести менее явными.

С. 92. *...дела лорда Рутвена расстроены, и... тот собирается отправиться в путешествие.* — Очевидный намек на тяжелое материальное положение Байрона в первые месяцы 1816 г. и последовавший в конце апреля отъезд за границу.

С. 96. *...воздаяние, обещанное правоверным в магометанском раю...* — Подразумеваются гурии — фантастические девы, согласно мусульманской мифологии, усаждающие праведников в раю.

Ианфа. — Это же имя (означающее цветок нарцисса) фигурирует в посвящении к «Паломничеству Чайльд-Гарольда» Байрона, адресованном 11-летней дочери графа Оксфорда Мери Харли и опубликованном в 7-м издании поэмы в феврале 1814 г.

С. 97. *Павсаний* (ок. 143—176) — древнегреческий географ, путешественник, историк, автор «Описания Эллады» в 10 книгах.

С. 106. *Смирна* (совр. Измир) — крупный торговый порт на западе Турции.

Отранто — портовый город на юго-востоке Италии, на побережье одноименного пролива, разделяющего Апеннинский и Балканский полуострова.

Ятаган — длинный турецкий кинжал.

С. 108. *...«этот суетный мир».* — Распространенное в то время обозначение светского общества.

Джордж Гордон Байрон
(George Gordon Byron, 1788—1824)

<ОГАСТ ДАРВЕЛЛ>
(<AUGUSTUS DARVELL>)

Этот неоконченный рассказ, послуживший сюжетным источником повести Полидори, был опубликован Байроном (под заглавием «Фрагмент» и с датировкой «17 июня 1816 года») под одной обложкой с поэмой

«Мазепа» и «Одой Венеции» 28 июня 1819 г. На русский язык впервые был переведен в 1821 г. О. М. Сомовым под названием «Отрывок (Из лорда Байрона)», однако перевод не был допущен к печати цензором А. С. Бируковым; первую публикацию текста этого перевода см. в кн.: *Васуццо В. Э. Готический роман в России*. М., 2002. С. 507—512. О других русских переводах «Фрагмента» см. выше в примечаниях к «Вампиру» Полидори. Условное название «Огаст Дарвелл», подразумевающее главного героя истории, присвоено безымянному байроновскому рассказу составителями и комментаторами книги «„The Vampire“ and Other Tales of the Macabre»; составитель настоящей антологии счел возможным последовать этому публикаторскому решению.

С. 117. *Эфес, Сарды* — как и упоминавшаяся выше Смирна, малоазиатские (ныне турецкие) города.

С. 118. *Янычары* — солдаты турецкой привилегированной регулярной пехоты, сформированной в XIV в., — в описываемые времена нередко использовались в качестве вооруженного сопровождения богатых европейских туристов. В 1826 г. янычарский корпус был упразднен султаном Махмудом II.

...к *разрушенному храму Дианы*. — Древнегреческий храм Дианы (чаще именуемый храмом Артемиды Эфесской, или Артемисионом), построенный неподалеку от Эфеса в середине VI в. до н. э. по проекту зодчего Херсифрона, был сожжен в 356 г. до н. э. Геростратом, но спустя четверть века восстановлен под руководством архитектора Александра Македонского Дейнократа и прослыл одним из семи чудес света. Позднее, в 263 г., был разграблен готами, вторгшимися в Малую Азию, а через три столетия вследствие землетрясения окончательно обратился в руины. Раскопки на месте святилища были начаты лишь во второй половине XIX в. Байрон упоминает храм Артемиды также в 4-й песни (1817—1818, опубл. 1818, строфа 153) «Паломничества

Чайльд-Гарольда»: «Святилище Эфеса я видал — / Бурьяном зарастающий портал, / Где рыщут вокруг шакалы и гиены» (*Байрон Дж. Г. Собр. соч.: В 4 т. М., 1981. Т. 2. С. 280. — Пер. В. Левики*).

С. 120. *Элевсинская бухта* — бухта в Эгейском море, расположенная к северу от Саламинского пролива возле г. Элевсин (северо-западная Аттика), знаменитого своим *храмом Цереры* (*греч.* Деметра), который с древних времен был центром культа Деметры и ее дочери Персефоны, олицетворявших плодородие, и местом проведения в их честь так называемых Элевсинских мистерий.

Эрнст Теодор Амадей Гофман
(*Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776—1822*)

<ВАМПИРИЗМ> (<VAMPIRISMUS>)

Этот рассказ знаменитого немецкого писателя-романтика, написанный предположительно в начале 1821 г., был опубликован в составе 4-го тома гофмановского прозаического цикла «Серапионовы братья» (1813—1821, опубл. 1819—1821). Как и некоторые другие произведения этого цикла, рассказ (изначально вложенный в уста одного из членов «Серапионова братства», склонного к фантастическим и зловещим сюжетам Киприана) не имеет авторского названия; «Вампиризм» — условное заглавие, данное немецкими издателями Гофмана и, подобно другим заглавиям такого рода, традиционно заключаемое в угловые скобки. Условным это название можно считать еще и потому, что в рассказе, строго говоря, описан случай не вампиризма, а некрофагии (поедания падали), при этом, как уже отмечалось комментаторами, Гофман в общих чертах повторяет сюжет «Истории Сиди Нумана», входящей в псевдоарабскую сказку «Ночные приключения халифа». Эта сказка, в

начале XVIII в. включенная в состав знаменитой «Книги тысячи и одной ночи» ее французским переводчиком, ориенталистом, путешественником и дипломатом Жаном Антуаном Галланом, заимствована им — наряду с некоторыми другими сказками — не из арабской рукописи XIV—XV вв., а из устного рассказа маронита из Алеппо по имени Ханна Диаб, с которым Галлан познакомился в Париже в 1709 г. См. об этом: *Герхардт М.* Искусство повествования. Литературное исследование «1001 ночи». М., 1984. С. 16—17; об «Истории Сиди Нумана» специально см. с. 280—282, 386—388. (Заметим, что в осуществленном М. Салье русском переводе «Книги тысячи и одной ночи», отличающемся по репертуару текстов от галлановской версии сборника, «Ночные приключения халифа» и, соответственно, «История Сиди Нумана» — отсутствуют.) Во времена Гофмана существовало два различных немецких перевода «Тысячи и одной ночи» — перевод Таландера (Августа Бозе), изданный в 1710—1719 гг., и более поздний перевод И. Г. Фосса, впервые опубликованный в 1781—1785 гг.

На русский язык «<Вампиризм>» был впервые переведен (в составе «Серапионовых братьев») И. Безсомыкиным в 1836 г. В 1873—1874 гг. прозаический цикл Гофмана вышел в свет в переводе А. Л. Соколовского, впоследствии неоднократно переиздававшемся (см. сравнительно недавнюю републикацию: *Гофман Э. Т. А.* Серапионовы братья: Сочинения: В 2 т. Мн., 1994; интересующий нас рассказ помещен — без заголовка — на с. 146—155 второго тома этого издания). Перевод С. И. Шлапоберской, публикуемый в настоящей антологии, печатается по изд.: *Гофман Э. Т. А.* Собр. соч.: В 6 т. М., 1999. Т. 4, кн. 2. С. 401—411. В примечаниях к рассказу учтены материалы наиболее авторитетного немецкого критического издания прозы Гофмана: *Hoffmann E. T. A.* Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Bd. 5: Die Serapionsbrüder / Textrevision und Anmerkungen von H.-J. Kruse. Redaktion R. Mingau. Berlin und Weimar, 1978.

С. 123. *...перестройка замка и закладка обширного парка в изысканном стиле, так что даже церковь, кладбище и дом священника оказались внутри ограды и выглядели частью этого искусственного леса.* — Речь идет об английском «пейзажном» парке, вошедшем в моду в европейских странах в последней трети XVIII в.; иррегулярное устройство подобного парка, где строения по видимости хаотично вписаны в пейзаж, призвано убедить посетителя в нерукотворности и естественности планировки и открыть его взору множество живописных видов, как бы созданных самой природой. Практическая реализация принципов «пейзажного» садоводства связана с деятельностью англичан Уильяма Кента (1684—1748), Ланселота «Капабилити» Брауна (1715—1783) и нек. др. Гофман, судя по всему, относился к этой моде иронически: насмешливые отзывы о декоративных излишествах «пейзажных» парков встречаются, в частности, в его романе «Эликсиры сатаны» (1814—1815, опубл. 1815—1816, ч. 1, гл. 4) и в новелле «Каменное сердце» (1817), где говорится о «дурацкой мешанине наших так называемых английских парков с их речушками и мосточками, храмиками и гротиками» (Гофман Э. Т. А. Каменное сердце // Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. С. 143. — *Пер. Е. Маркович*).

С. 125. *Аврелия.* — Это же имя носит одна из главных героинь романа «Эликсиры сатаны».

С. 136. *«...у жены одного кузнеца было столь необходимое влечение к мясу ее мужа, что она... однажды... бросилась на него с большим ножом и так чудовищно... искромсала, что через несколько часов он испустил дух».* — Пример, взятый автором из книги немецкого врача-психотерапевта Иоганна Кристиана Райля (1759—1813) «Рапсодии о применении психических методов лечения умственных расстройств» (1803), которую Гофман неоднократно цитирует либо упоминает в своих произведениях.

Проспер Мериме
(Prosper Mérimé, 1803—1870)

**О ВАМПИРИЗМЕ /ИЗ «ГУЗЛЫ»/
(SUR LE VAMPIRISME /DE «LA GUZLA»/)**

Знаменитая книга-мистификация французского писателя-романтика Проспера Мериме «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине», в которую входит публикуемый в настоящей антологии очерк «О вампиризме», впервые вышла в свет анонимно в июле 1827 г. в Париже; помимо этого очерка, темы вампиризма так или иначе касаются семь из тридцати стилизаций Мериме. В 1835 г. А. С. Пушкиным был опубликован поэтический цикл «Песни западных славян» (1833—1834), одиннадцать из шестнадцати песен которого являются вольными переложениями баллад из «Гузлы» (при этом три повествуют о вампирах). Очерк «О вампиризме» в пушкинском цикле отсутствует, однако еще до появления «Песен западных славян» его анонимный русский перевод был напечатан в журнале «Атеней» (1828. Ч. 6, № 24). Современный перевод очерка, сделанный Н. Я. Рыковой, публикуется по изд.: *Мериме П.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 1. С. 67—74. В нижеследующих примечаниях учтены комментарии А. Д. Михайлова и О. В. Смолицкой к тексту Мериме, приведенные в издании: Мериме — Пушкин: Сб. М., 1987.

С. 140. *Иллирия* — восточное побережье Адриатического моря.

...по-иллирийски — вудкодлак... — В данном случае под «иллирийским» понимается сербохорватский язык, в котором это слово, как и родственные ему слова в других славянских языках, обозначало человека-оборотня, способного превращаться в волка или медведя, а после смерти становящегося вурдалаком.

С. 141. ...несколько рассказов о вампирах, приведенных домом Кальме в его «Трактате о явлениях духов,

о вампирах и т. д.». — Об этом трактате, из которого далее следует обширная цитата, и его авторе см. вступит. статью в наст. изд. Дом — сокращение от лат. *dominus* — господин.

В начале сентября в деревне Кизилова... умер старик шестидесяти двух лет. — Здесь и ниже речь идет о деле сербского крестьянина Петера Плохойовица, умершего осенью 1725 г. и, согласно сохранившимся отчетам (на которые и опирается в своем рассказе дом Кальме), обнаружившего по смерти вампирическую активность.

С. 142. *Около пяти лет тому назад...* — Это временное указание — как и последующие упоминания «прошлого года», «января этого года» и т. п. — попало в текст трактата дома Кальме (а затем и очерка Мери́ме) из отчетов о деле Арнольда Паоля, относящихся к 1732 г. (сам сербский крестьянин, после смерти прославившийся вампиром, действительно погиб пятью годами ранее — в 1727 г.). Официальный отчет о расследовании событий в деревне Медвежья был составлен армейскими хирургами Иоганном Флюкингером, Исааком Зиделем и Иоганном Фридрихом Баумгартнером и удостоверен военными чинами в Белграде в январе 1732 г., а весной того же года попал в европейскую прессу: 3 марта подробное описание дела Паоля помещает на своих страницах франко-голландский журнал «Ле Гланёр», а 11 марта — «Лондон джорнал». В дальнейшем эта история неизменно воспроизводится в трактатах о вампиризме, предшествующих труду Кальме.

...на границах турецкой Сербии его мучил вампир... — Во времена, к которым относится дело Арнольда Паоля, территория Сербии была поделена (согласно Пожаревацкому мирному договору 1718 г.) между австрийскими Габсбургами и Османской империей. В отчетах о деле Паоля упоминается также, что он подвергся нападению вампира в окрестностях Костар-

цы — деревни в греческой области Этолия, находившейся в то время под властью турков (см.: *Summers M. The Vampire in Europe* [1929]. New Hyde Park, N. Y., 1961. P. 152).

С. 144. *В 1816 году я предпринял экскурсию пешком в Воргораз...* — Утверждение автора, что он путешествовал в Иллирию, равно как и следующий далее рассказ о жертве вампира, являются мистификацией.

С. 148. *Я знал наизусть несколько французских стихов из Расина; я прочел их громким голосом перед бедной девушкой, которой казалось, что она слышит язык дьявола.* — Комментаторами отмечена зафиксированная в этом замечании рассказчика любопытная инверсия ценностей: стихи французского драматурга-классициста Жана Расина (1639—1699) для девушки-сербки звучат столь же варварски-экзотично, сколь и славянские истории о вампирах — для западноевропейского путешественника.

С. 149. *...от всей души посылая к чертям вампиров, призраков и всех тех, кто о них рассказывает.* — Возможно, скрытая полемика Мериме с утверждавшейся в ту пору во Франции (в частности, в творчестве Шарля Нодье) литературно-романтической трактовкой вампиризма, которой автор «Гузлы» противопоставляет «фольклорное» понимание темы. Подробнее см. вступит. статью в наст. изд.

Теофиль Готье
(Théophile Gautier, 1811—1872)

ЛЮБОВЬ МЕРТВОЙ КРАСАВИЦЫ
(LA MORTE AMOUREUSE)

Новелла французского писателя и поэта-романтика Теофиля Готье была впервые опубликована в газете «Кроник де Пари» в июне 1836 г. В произведении от-

четливо различимы переклички — сюжетные (страстная любовь героя-монаха, мечтающего вырваться из монастыря) и тематические (двойное существование человека) — с романом Гофмана «Эликсиры сатаны» и с повлиявшим на него «готическим» романом «Монах» (1796, фр. пер. 1797 и 1798) английского писателя Метью Грегори Льюиса; кроме того, отдельные мотивы новеллы неявно или очевидно отсылают к гофмановскому рассказу «<Вампиризм>» и повести Жака Казота (1719—1792) «Влюбленный дьявол» (1772). Первый русский перевод «Любви мертвой красавицы», который перепечатывается в настоящей антологии, был опубликован в изд.: *Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIX веков*. М., 1999. С. 401—422. В нижеследующих примечаниях учтены комментарии С. Н. Зенкина к этому изданию.

С. 150. *Сарданапал* — легендарный последний царь древней Ассирии, согласно античным источникам славившийся своим гедонизмом и любовью к роскоши и сжегший себя в собственном дворце вместе с домочадцами и сокровищами, чтобы не дать живым в руки мидян и вавилонян, осаждавших ассирийскую столицу Ниневию. Исторически этот образ отчасти соотносится с личностью ассирийского царя Ашшурбанипала, правившего в 669—633 гг. до н. э., отчасти с его сыном Синшаришкуном, действительно являвшимся последним царем Ассирии, с биографией которого и связан эпизод самосожжения. Легендарный Сарданапал стал героем одноименной трагедии (1821) Байрона.

С. 152. *О, сколь же прав был Иов, и как неосторожен тот, кто не положил завета с глазами своими!* — Ср. в Книге Иова: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице» (31:1).

С. 154. *...столь идеально прозрачны, что пропускали свет, подобно перстам Авроры.* — Вероятная отсылка

к гомеровским поэмам, в которых богиня утренней зари Эос (в римской традиции — Аврора) названа «розовоперстой»; у Готье этот эпитет перетолкован как оптический эффект.

С. 157. *...почувствовал в своей груди больше мечей, чем скорбящая Божия Матерь на иконе.* — В позднекатолической иконографии существовала традиция изображать Богоматерь с пронзенным мечами (одним или семью) сердцем.

С. 158. *Кончини.* — Эту фамилию Готье позаимствовал у Кончино Кончини (1575—1617), итальянского авантюриста, фаворита королевы Франции Марии Медичи, являвшегося фактическим правителем страны в первые годы царствования несовершеннолетнего короля Людовика XIII, с согласия которого он впоследствии был арестован и убит.

С. 160. *Серапион.* — Очевидная отсылка к «Серапионовым братьям» Гофмана; святым Серапионом — египетским аскетом и великомучеником IV в. — именует себя безумный граф П., герой первой новеллы гофмановской книги. Между тем сам образ аббата Серапиона в новелле Готье соотносим с фигурой приора Леонарда из «Эликсиров сатаны», призывающего Медарда отказаться от греховных мирских соблазнов.

С. 164. *Нервюра*, или гурт, — арка из тесаных клинчатых камней, укрепляющая ребра соборного свода, главным образом в готической архитектуре.

С. 173. *...пиршеств Валтасара...* — Отсылка к ветхозаветному рассказу о пире во дворце вавилонского царя Валтасара (VI в. до н.э.), во время которого на стене пиршественного чертога появилась грозная огненная надпись, гласившая: «Мене, текел, фарес» (халд. «Исчислено, взвешено и разделено») и предвещавшая скорую гибель правителя и раздел его царства завоевателями-персами (см.: Кн. пророка Даниила, 5:1—28).

С. 174. *...это был сам Вельзевул во плоти.* — Очевидная отсылка к «Влюбленному дьяволу» Казота, главному герою которого — молодому знатному испанцу дону Альвару Маравильясу — в облике обольстительной красавицы Бьондетты является Вельзевул.

С. 176. *«...ибо любовь сильнее смерти...»* — Ветхозаветная аллюзия; ср. в Песни Песней: «...крепка, как смерть, любовь...» (8:6)

С. 177. *«Ах, как я завидую Богу, которого ты любил и любишь еще больше, чем меня!»* — Ср. слова Матильды, суккуба, искушающего капуцина Амбросию, в «Монахе» Льюиса: «Религия, а не красота будит в нем восхищение, и не перед женщиной, но перед Божественностью преклоняет он колена. <...> О, если бы услышать от него, что он, не будь уже обручен с Церковью, не презрел бы Матильды!» (Льюис М.Г. Монах. М., 1993. С. 76. — Пер. И. Гуровой.)

С. 179. *«Не хочешь ли взять меня к себе на службу в качестве камердинера?»* — Реминисценция ситуации из «Влюбленного дьявола», где Бьондетта поступает на службу к Альвару под видом пажа по имени Бьондетто.

С. 180. *...рожденные от коней, оплодотворенных Зефиром...* — Согласно древнегреческому мифу, гарпия Подарга родила от Зефира, бога западного ветра (по другой версии, от Борея — бога северного ветра), волшебных коней Ксанфа и Баия, доставшихся Ахиллесу.

С. 180—181. *С этой ночи мое естество как бы раскололось надвое: во мне жили два человека, не знавшие друг друга. <...> Две спирали, переплетаясь друг с другом, запутывались и никогда не соприкасались — так можно изобразить эту двойную жизнь, которой я жил.* — Ср. у Гофмана: «Мое собственное „я“, игральные жестоких и прихотливых случайностей, распавшись на два чуждых друг другу образа, безудержно неслось по морю событий, когочо бушующие волны грозили меня поглотить... Я никак не мог обрести себя вновь!.. <...>

Я тот, кем я кажусь, а кажусь я вовсе не тем, кто я на деле, и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся „я“» (*Гофман Э.Т.А. Эликсиры сатаны. Л., 1984. С. 46. — Пер. Н.А. Славятинского*).

С. 182. *Я посещал Ридотто и предавался азарту игры...* — Ридотто — знаменитый аристократический игровой дом, открытый в Венеции в 1638 г. в здании палаццо Дандоло и просуществовавший до 1774 г., когда постановлением Сената он был закрыт и впоследствии превращен в дворец для балов-маскарадов. Упоминание Ридотто — по-видимому, очередная аллюзия на «Влюбленного дьявола», герой которого, находясь в Венеции, «был введен в самое избранное общество и принят в казино, где играла знать» (*Казот Ж. Влюбленный дьявол // Infernaliana: Французская готическая проза XVIII—XIX веков. С. 42. — Пер. Н. Сигал*).

Совет Десяти — учрежденный в 1310 г. орган верховной власти Венецианской республики, надзиравший за безопасностью государства, правонарушениями, ведавший финансовыми и дипломатическими вопросами.

Фоскари. — Фамилия, позаимствованная у венецианского дожа Франческо Фоскари (1373—1457), героя драмы Байрона «Двое Фоскари» (1821).

С. 188. *Лидо* — остров, отделяющий воды Венецианской лагуны от Адриатического моря, один из самых модных итальянских курортов.

Фузина — континентальный пригород Венеции.

Эдгар Аллан По
(Edgar Allan Poe, 1809—1849)

БЕРЕНИКА (BERENICE)

Новелла знаменитого американского романтика была впервые опубликована в ричмондском журнале «Сатерн литерари мессенджер» в марте 1935 г.; спустя де-

сятилетие, в апреле 1845 г., в редактировавшемся По Нью-Йоркском журнале «Бродвей джорнал» появилось последнее прижизненное издание «Береники», для которого текст новеллы был существенно переработан. Первый русский перевод был напечатан в журнале «Дело» в мае 1874 г. Перевод В. А. Неделина, помещенный в настоящей антологии, публикуется по изд.: По Э.А. Полн. собр. рассказов. М., 1970. С. 65—72. В нижеследующих примечаниях частично использованы примечания А. Н. Николюкина к этому изданию. О литературных источниках новеллы см. вступит. статью в наст. антологии.

С. 190. *Dicebant mihi sodales... fore levatas.* — В эпиграфе к рассказу — латинский перевод фрагмента элегии, которую составитель известной «Восточной библиотеки» (опубл. 1687) Бартеlemi д'Эрбело (1625—1695) атрибутировал багдадскому поэту и политическому деятелю, визирю халифа Мутасима Абу Джаффару ибн Абдулмалику ибн Абану аль-Зайату (ум. 847). В словаре д'Эрбело, где автор элегии назван Бен-Зайатом, приведен арабский оригинал и французский перевод цитируемых в «Беренике» строк; перевод на латынь предположительно принадлежит самому Э. По. См.: *Beard M. The Epigraph to Poe's «Berenice» // American Literature. 1978. Vol. 49, № 4. P. 611—613.*

С. 192. *...сильф в чащах Арнгейма!* — Арнгейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окрестного ландшафта. См. также новеллу По «Поместье Арнгейм» (1842/1847) с описанием прекрасного декоративного сада.

С. 195. «*De amplitudine beati regni Dei*» («О величии блаженного царства Божия», 1554) — трактат итальянского гуманиста Целия Секунда Куриона (1503—1569).

«*О Граде Божием*» (413—426) — знаменитый богословский трактат христианского теолога и философа,

одного из отцов Церкви, Аврелия *Августина* (354—430), признанного в католичестве святым.

«*De carne Christi*» («О пресуществлении Христа») — трактат христианского апологета, видного представителя латинской патристики Квинта Септимия Флоренса *Тертуллиана* (ок. 160 — после 220), содержащий знаменитую максиму «*credibile est quia ineptum est*» («заслуживает доверия, ибо нелепо»), которую ниже цитирует По.

С. 196. ...упоминаемым у *Птолемея Гефестиона* океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется *асфоделью*. — Отсылка к «Новой истории» греческого мифографа *Птолемея Гефестиона* (II в.), подробный пересказ которой содержится в «*Мириобиблионе*» («Библиотеке») знаменитого византийского эрудита и библиофила патриарха *Фотия* (810/820? — 891/897?). *Асфодель* — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами; в античности считался цветком смерти.

С. 197. ...в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица *Гальциона*... — *Гальциона* (*Альциона*, *Алкиона*) — в греческой мифологии дочь бога ветров *Эола*. Была превращена в зимородка, который, по легенде, выводит птенцов в гнезде, плавающем по морю, в период зимнего солнцестояния, когда морские воды совершенно спокойны; согласно мифу, в это время *Эол* велит утихнуть ветрам, чтобы его дочь могла завести потомство. Именно к этому мифу отсылает цитируемое По стихотворение древнегреческого поэта-лирика *Симонида Кеосского* (556—468 до н. э.).

С. 199. *Мадемуазель Салле* — *Мари Салле* (1707—1756), французская балерина, прославившаяся в 1720—1730-е гг. в лондонских и парижских театрах.

Джозеф Шеридан Ле Фаню
(Joseph Sheridan Le Fanu, 1814–1873)

КАРМИЛЛА (CARMILLA)

Знаменитая повесть «Кармилла» ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню, выдающегося мастера английской «готической» прозы, была впервые опубликована в альманахе «Темно-синий» в 1871–1872 гг.; в 1872 г. была включена в авторский сборник рассказов «В зеркале отуманенном». Прототипом главной героини — загадочной Миркаллы/Милларки/Кармиллы — исследователи нередко называют печально известную венгерскую «кровавую графиню» Эржбет (Элизабет) Батори (1560–1614); в свою очередь «Кармилла» Ле Фаню, несомненно, оказала влияние на роман Б. Стокера «Дракула» (1890–1897, опубл. 1897). Повесть неоднократно переводилась на русский язык (см., в частности: *Ле Фаню Ш. Кармилла // Шедевры викторианской готической прозы: В 2 т. М., 1993. Т. 2: Любовник-фантом. С. 5–51. — Пер. В. Муравьева; Ле Фаню Дж. Ш. Кармилла // Ле Фаню Дж. Ш. Лучшие истории о привидениях. М., 1998. С. 415–474. — Пер. Е. Токаревой*). Перевод Л. Ю. Бриловой, публикуемый в настоящей антологии, был впервые напечатан в кн.: *Ле Фаню Дж. Ш. Дядя Сайлас. В зеркале отуманенном. М., 2004. С. 484–534*. В нижеследующих примечаниях учтены примечания Н. М. Падалко, Е. П. Зыковой и Е. С. Ряковской к этому изданию, а также материалы комментария Р. Трейси, приведенного в кн.: *Le Fanu Sh. In a Glass Darkly / Ed. with an Introduction and Notes by R. Tracy. Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 1999*.

С. 203. *Доктор Гесселиус* — сквозной «рамочный» персонаж сборника «В зеркале отуманенном» врач-психиатр Мартин Гесселиус, из чьей практики якобы и заимствованы все загадочные случаи, описанные в рас-

сказах; их перелагает для читателя безымянный ученик и секретарь Гесселиуса. Латинизированная, согласно западноевропейской научной моде XVI–XIX вв., фамилия отсылает к личности Андреаса Гесселиуса — двоюродного брата знаменитого шведского естествоиспытателя и философа-мистика Эмануэля Сведенборга (1688–1772) — и призвана подчеркнуть идейное родство персонажа с великим духовидцем и визионером, теософские труды которого заинтересованно изучал Ле Фаню.

...«затрагивает, вероятно, сокровеннейшие тайны нашего двойственного существования и его промежуточных форм». — Несомненная отсылка к теософским построениям Сведенборга, гласящим, что человеческое существование протекает одновременно в двух мирах — духовном и материальном, между которыми существует строгая система Божественно предустановленных соответствий. Под «промежуточными формами» подразумеваются посмертные состояния человека в мире духов, который, по Сведенборгу, есть «место среднее между небесами и адом и среднее состояние человека после смерти его. <...> До перехода в небеса или преисподнюю человек после смерти своей должен пройти через три состояния: первое — состояние внешности его, или внешнее; второе — состояние внутренности его, или внутреннее; третье — приуготовительное» (Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде // Зигстедт О. Эмануэль Сведенборг: Жизнь и труды; Сведенборг Э. Избранное. М., 2003. С. 556, 609. — Пер. А. Н. Аксакова).

С. 204. *Штирия* — австрийская провинция на границе с Венгрией.

С. 205. *Перед воротами замка лес отступает, образуя живописную, неправильных очертаний поляну, а направо крутой готический мост переносит дорогу через речной поток, петляющий в густой тени леса.* — Неправильность (иррегулярность) как основной принцип

живописного ландшафта разрабатывали в качестве особой эстетической категории английские теоретики искусства конца XVIII в. — Уильям Гилпин, Юведейл Прайс, Ричард Пенн Найт и др. Этот принцип, столетием раньше воплощенный в живописи С. Розы, Н. Пуссена, К. Лоррена, лег в основу композиции английского «пейзажного» парка (см. выше прим. к с. 123) и нашел отражение в сентиментально-«готических» романах Анны Радклиф, чрезвычайно популярных на рубеже XVIII—XIX вв. Во времена Ле Фаню подобные описания природы — изобразительный штамп, и, скорее всего, они вводятся в текст как знак «радклифианской» традиции, маркирующий «готичность» повествования.

С. 206. *Вавилон* — здесь: смешение языков.

Лига — старинная мера длины, составляющая 3 английские мили (4,83 км).

С. 210. *Райнфельдт*. — Этой фамилией, изменив ее на английский лад (Ренфилд), впоследствии наделил одного из героев «Дракулы» Б. Стокер.

С. 214. *Луна этой ночью исполнена одилической и магнетической сил...* — Согласно представлениям натурфилософов первой половины XIX в., од — гипотетическая всепроникающая сила, проявляющая себя в таких явлениях, как магнетизм, гипноз, медиумизм и т. п. Впервые описана в трудах немецкого естествоиспытателя барона Карла фон Райхенбаха (1788—1869).

Не знаю, отчего я так печален. <...> Но где я грусть поймал, нашел... — Цитата из комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596, опубл. 1600; I, 1, 1—3).

С. 219. *А матушка, где она?* — В оригинале использовано слово «Matska» — принятое обращение к чешской или польской служанке.

С. 223. *...мрачный гобелен, изображавший Клеопатру со змеей на груди...* — Мотив самоубийства Клеопатры встречается у Ле Фаню и в романе «Роза и ключ» (1871), в 87-й главе которого упоминается картина с

изображением этой сцены, висящая на стене погруженной во мрак комнаты.

С. 238—239. *Какой создатель! Природа! <...> Все, что есть и в небесах, и на земле, и под землей, живет и действует по законам природы.* — Ср. прямо противоположное словам Кармиллы утверждение Сведенборга: «...все, что есть в природе, от самого малого предмета и до самого большого, есть соответствие, потому что мир природный, со всеми своими принадлежностями заимствует свое бытие и существование... от мира духовного, а тот и другой — от Божественного». В определениях Сведенборга Кармилла может быть охарактеризована как одна из тех, «кто мироздание приписывает природе и потому, если не словами, то сердцем отрицает Божественное начало», которое «есть для них все та же природа в своих первоначалах» (Сведенборг Э. Указ. соч. С. 357, 620, 311).

С. 239—240. *Девушки — это гусеницы, которые живут в этом мире, чтобы в конце концов стать бабочками, когда придет лето; но в промежутке они бывают личинками и куколками... каждая форма с присущими ей особенностями, потребностями и строением. Так утверждает месье Бюффон в своей большой книге...* — Речь идет о 44-томной «Общей и частной естественной истории» (опубл. 1749—1804) знаменитого французского естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка, граф де Бюффона (1707—1788), в которой высказывается идея о единстве строения органического мира.

С. 240. *Гиппогрифы* — мифические существа, полукони-полугрифоны.

Грац — университетский город, столица Штирии.

С. 242. *Миркалла* — очевидная анаграмма имени Кармилла, задающая мотив реинкарнации некогда умершей героини.

С. 254. *...нисхождение в бездну Аверна, или в преисподнюю.* — Авернское озеро в окрестностях Неаполя,

расположенное в кратере потухшего вулкана и выделяющее сернистые испарения, с античных времен считалось одним из входов в царство мертвых, местом, где сходятся устья рек преисподней.

С. 257. *Мирмидоняне* (от греч. мирмекс — муравей) — согласно древнегреческому мифу, жители о. Эгина, по воле Зевса превращенные в людей из муравьев после того, как мор, насланный Герой, истребил прежнее население острова. В «Илиаде» Гомера рассказывается о сражениях мирмидонского войска, руководимого Ахиллом, под стенами Трои. Здесь: подчиненные, верные слуги.

С. 264, 270. *Дранфельд, Друншталь* — вымышленные топонимы.

С. 286. *Моравия* — историческая область в Чехии; в описываемое время австрийская провинция.

С. 286—287. *...случилось одному знатному господину из Моравии проезжать по здешним местам. <...> ... народ вбил в вампира кол, а после сжег, как заведено.* — Рассказ лесника в слегка измененном виде повторяет историю, приведенную в книге Огюстена Кальме (см. вступит. статью в наст. изд.), которую Ле Фаню, вероятно, знал в сокращенном английском переводе (1850) Г. Кристмаса, озаглавленном «Призрачный мир». См. русский перевод версии Кальме в изд.: *Саммерс М.* История вампиров. М., 2002. С. 235—236. (Пер. Р. Ш. Ахунова.)

С. 297. *Ее кожа... была окрашена в теплые живые тона, глаза открыты... <...> Тело и голову положили затем на костер и сожгли, а пепел бросили в реку.* — Описание истребления вампириши у Ле Фаню чрезвычайно близко к аналогичным эпизодам трактата дома Кальме, в частности к описаниям дел Петера Плохойовица и Арнольда Паоля (см. очерк П. Мериме «О вампиризме» в наст. изд.).

С. 298. «*Magia Posthuma*» («Посмертная магия», 1706) — трактат о призраках и оживших мертвецах ав-

стрийского адвоката Карла Фердинанда де Шертца. «*De Mirabilibus*» («О чудесном») — латинская версия греческого парадоксографического сборника Флегона Траллийского (II в.), вольноотпущенника императора Адриана, одна из историй которого стала сюжетным источником «вампирской» баллады Гете «Коринфская невеста» (1797, опубл. 1798). «*De cura pro Mortuis gerenda*» («О почитании усопших» 421/424?) — трактат Аврелия Августина (см. выше прим. к с. 195), рассматривающий верования, связанные с воскрешающими покойниками. «*Philosophicae et Christianae Cogitationes de Vampires*» («Философские и христианские рассуждения о вампирах», 1739) — вампирологический трактат Иоганна Кристиана Харенберга (у Ле Фаню ошибочно — Иоганн Кристофер). Все эти сочинения упоминаются в книге Кальме.

Брэм Стокер
(*Bram Stoker, 1847–1912*)

ГОСТЬ ДРАКУЛЫ
(**DRACULA'S GUEST**)

Этот рассказ, сюжетно предвещающий события «Дракулы» и являвшийся изначально одной из глав романа, был исключен Брэмом Стокером из текста книги при первой публикации — по-видимому, по композиционным соображениям; опубликован вдовой писателя в 1914 г. в составе одноименного авторского сборника рассказов. Неоднократно переводился на русский язык (см., в частности: *Стокер Б. В гостях у Дракулы* // Стокер Б. В гостях у Дракулы: Сб. новелл. М., 1998. С. 7–32. — *Пер. В. Смирнова*; *Стокер Б. Гость Дракулы* // Стокер Б. Дракула. М., 2005. С. 57–70. — *Пер. Т. Красавченко*). В настоящей антологии впервые публикуется новый перевод рассказа, сделанный по

тексту издания: *A Century of Ghost Stories*. L., [1936]. P. 199—412.

С. 303. *Walpurgis Nacht* (Вальпургиева ночь) — ночь с 30 апреля на 1 мая, праздник начала весны у древних германцев, канун дня св. Вальпурги, девонширской святой, предположительно скончавшейся в Германии 1 мая 777 г. Согласно старинному поверью, в эту ночь на горе Брокен (Блоксбург) в Гарцских горах в Германии происходит «великий шабаш», во время которого ведьмы пытаются помешать приходу весны и насылают порчу на людей и скот.

С. 311. *Грац* — см. выше прим. к с. 240.

Штирия — см. выше прим. к с. 204.

НЕ СТРАШНЫ МЕРТВЫМ ДАЛИ — цитата из популярной «страшной» баллады немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера (1747—1794) «Ленора» (1773), приводимая также в гл. 1 романа «Дракула».

С. 318. *Бистрица* — почтовый городок на северо-востоке Трансильвании.

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд
(*Francis Marion Crawford, 1854—1909*)

ИБО КРОВЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ
(**FOR THE BLOOD IS THE LIFE**)

Рассказ Фрэнсиса Мэриона Кроуфорда — американского прозаика, родившегося и прожившего значительную часть жизни в Италии, — был впервые опубликован в журнале «Кольерс» в декабре 1905 г.; переиздан в авторском собрании мистических рассказов «Странствующие призраки», опубликованном посмертно в 1911 г., и впоследствии неоднократно включался в различные антологии «готических» и вампирских историй. Название «Ибо кровь есть жизнь» представляет

собой точную цитату из Второзакония (12:23)¹, которая имеет соответствия в других ветхозаветных книгах: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша...» (Быт 9:4), «...ибо душа всякого тела есть кровь его...» (Лев 17:14). Кроме того, тематика рассказа заставляет предполагать, что толчком к выбору заглавия явился опубликованный восемью годами ранее роман Брэма Стокера «Дракула», в 11-й главе которого эту фразу повторяет, полностью извращая ее смысл, безумный Ренфилд. На русский язык рассказ Кроуфорда переводится впервые. Перевод осуществлен по тексту изд.: Blood Thirst: 100 Years of Vampire Fiction / Ed. L. Wolf. N. Y.: Oxford University Press, 1997. P. 28–40.

С. 319. *Калабрия* — полуостров и историческая область на юге Италии.

Император Карл V (1500–1559) — император Священной Римской империи в 1519–1556 гг. и одновременно испанский король (Карлос I) в 1516–1556 гг., из династии Габсбургов. Пытался под знаменем католицизма осуществить план создания «мировой христианской державы».

...для отражения набегов берберийских пиратов в начале шестнадцатого века, в ту пору, когда неверные объединились с Франциском I против императора и Церкви. — Берберия — общее географическое обозначение Северо-Западной Африки от Средиземного моря до Сахары, т.е. территории Алжира, Марокко, Туниса; другое название — Варварский Берег. В начале XVI в. на берберийских землях возникло мощное протурецкое пиратское государство, ставшее вскоре серьезной угро-

¹ Заметим, что в английском переводе Библии это место выглядит следующим образом: «Only be sure that thou eat not the blood: for the blood is the life...» — что несколько отличается от Синодального перевода, где сказано: «...только строго наблюдай, чтобы не есть крови, *потому что кровь есть душа...*» (Курсив наш. — С.А.)

зой для владений Карла V на Пиренейском и Апеннинском полуостровах и сыгравшее существенную роль в серии франко-габсбургских войн первой половины XVI в. Упомянутый в рассказе военно-политический союз турецкого султаната и французского короля Франциска I (1494—1547, годы правления 1515—1547) был заключен в 1536 г. и подтвержден во время кампании 1542—1544 гг.

Поликастро — залив в Тирренском море, близ границы итальянских областей Кампания и Базиликата.

С. 324. *Паола* — город в Калабрии, в провинции Козенца, недалеко от побережья Тирренского моря.

С. 325. *Маратея* — город в Базиликате, в провинции Потенца, у побережья залива Поликастро.

С. 326. *Скалеа* — городок в Калабрии, в 100 км от г. Козенца, недалеко от одноименного мыса на побережье Тирренского моря.

С. 337. *Салерно* — город в Кампании (Центральная Италия) на побережье одноименного залива.

С. А. Антонов

СОДЕРЖАНИЕ

ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ. Заметки о вампирической парадигме в западной литературе и культуре. С.А. Антонов	5
--	---

«ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» И ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ВАМПИРАХ

Джон Уильям Полидори ВАМПИР Перевод с английского С. Шик	89
Джордж Гордон Байрон <ОГАСТ ДАРВЕЛЛ> Перевод с английского С. Шик	115
Эрнст Теодор Амадей Гофман <ВАМПИРИЗМ> Перевод с немецкого С. Шлапоберской	123
Проспер Мери́ме О ВАМПИРИЗМЕ Перевод с французского Н. Рыковой	140
Теофиль Готье ЛЮБОВЬ МЕРТВОЙ КРАСАВИЦЫ Перевод с французского Н. Лоховой	150
Эдгар Аллан По БЕРЕНИКА Перевод с английского В. Неделина	190
Дж. Ш. Ле Фаню КАРМИЛЛА Перевод с английского Л. Бриловой	203
Брэм Стокер ГОСТЬ ДРАКУЛЫ Перевод с английского Л. Бриловой	303
Фрэнсис Мэрион Кроуфорд ИБО КРОВЬ ЕСТЬ ЖИЗНЬ Перевод с английского С. Антонова	319
Комментарии. С. А. Антонов	342

Литературно-художественное издание

**«ГОСТЬ ДРАКУЛЫ»
И ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ВАМПИРАХ**

Редакторы Сергей Антонов, Александр Гузман
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Ольга Иванова
Корректоры Ирина Щенсяк, Татьяна Никонова
Верстка Алексея Соколова

Директор издательства Максим Крютченко

Подписано в печать 07.09.2007. Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Гарнитура «Петербург». Тираж 7000 экз.
Усл. печ. л. 16,2. Изд. № 2214. Заказ № 743.

Издательство «Азбука-классика».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192. www.azbooka.ru

Отпечатано по технологии СТР в ОАО «ЧПК»
142300, г. Чехов Московской области.
Сайт: www.chpk.ru E-mail: marketing@chpk.ru
факс 8(49672)6-25-36, факс 8(499)270-73-00
отдел продаж услуг многоканальный: 8(499)270-73-59

АЗБУКА
КЛАССИКА



Гость Дракулы

и другие истории
о вампирах

Гость Дракулы и другие истории о вампирах

АЗБУКА-КЛАССИКА

Они избегают дневного света и выходят из своих укрытий лишь с наступлением сумерек. Они осторожны, хитры и коварны; они не отражаются в зеркалах, могут как тень скользить мимо глаз смертного и легко менять свой облик — например, оборачиваться летучей мышью или каким-либо хищным животным. Они испытывают регулярную потребность в свежей крови, посредством которой продлевают свое необычное существование. Их можно узнать по гипертрофированным клыкам. Их можно остановить с помощью распятия или связки чеснока. Их можно убить, вбив им в грудь осиновый кол. Они — вампиры, истинные мифологические герои Нового времени, постоянные персонажи современной литературы и кинематографа. В настоящую антологию включены классические произведения о вампиризме, созданные в XIX — начале XX века английскими, французскими, немецкими и американскими писателями (от Джорджа Гордона Байрона до Брэма Стокера). Ряд текстов публикуется на русском языке впервые или же представлен в новых переводах. Издание сопровождается развернутым предисловием и комментариями, раскрывающими историко-литературные, социокультурные и философские аспекты вампирической темы.

ISBN 978-5-352-02214-6



9 785352 022146



В оформлении обложки
использованы кадры из фильмов
«Дракула» (1931) и «Носферату —
призрак ночи» (1979).

www.azbooka.ru